М. А. АЛДАНОВ

ИСТОКИ

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

М. А. АЛДАНОВ

ИСТОКИ

ТОМ I

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

Часть первая

I.

В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергеевич Мамонтов, как многие жители поздно встававшего Петербурга, проснулся гораздо раньше обычного времени. Он растерянно поднялся на постели, щурясь от заливавшего комнату света, низко опустив голову, и прислушался: «Что за чорт? Что такое случилось?»

Гул выстрелов был очень силен; номер гостиницы выходил окнами на Исаакиевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом выругался, зевнул и опять опустил голову на подушки, лениво считая выстрелы. «Ну, хорошо, не довольно ли? Я решительно ничего не имею против их свадьбы, но зачем они мешают людям спать? Семь... восемь... Я думал, началась революция... Кажется, что-то о революции и снилось... Довольно... Право, довольно!.. Не хочу, чтобы больше стреляли»... Мускулы на его худом, приятно-некрасивом лице обозначились сильнее, точно от физического усилия. Но попытка подавить салют усилием воли не удалась. «Значит, завтра «новая жизнь»... Но и старая была очень, очень недурна... Стоит ли уезжать?...»

Яркий свет резал глаза: одно из окон было против кровати, Николай Сергеевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас делать?» — зевая спросил себя он. Все скучные дела уже были кончены. «Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня, и то, и дру-

гое недурно, и в *этой* свободе есть для меня большая прелесть. Что, если она мне нужнее политической?» — неожиданно подумал он и поморщился: «Мысль довольно мещанская, Бакунину и Марксу я об этом не скажу. И о Кате не скажу»... На него как будто беспричинно нашла радость. Выстрелы, наконец, прекратились с последним глухим, долго замиравшим раскатом. «Не поработать ли? Жаль, все в ящике. В солнечный день совестно поздно вставать...» Он вскочил и надел туфли, как всегда забившиеся под кровать дальше, чем было нужно.

Вид у комнаты был неуютный. Почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири: и то, и другое Мамонтов оставлял в гостинице. Вместо этого мольберта был накануне куплен складной и уложен в ореховый ящик, с отделениями для палитры, для кистей, для красок. Старые краски, еще какие-то измазанные баночки, скляночки, трубочки, тряпочки были свалены в углу. В гостинице из-за этих баночек и скляночек к Николаю Сергеевичу относились без уважения, а Черняков, входя, морщился: «Почему твоя комната всегда имеет такой неряшливый вид? Неужели тебе нравится богемный жанр? Посмотрѣл бы на мой кабинет: ни соринки», на что Николай Сергеевич неизменно отвечал: «Молчи. Мастерские Тициана и Леонардо имели точно такой же вид». Черняков обычно оставлял за собой послѣднее слово: «Так то Тициан и Леонардо».

«Стенька Разин», не свернутый, на подрамнике, лежал в другом, большом, низеньком ящике. Мамонтов поднял крышку и ахнул: столь новой, при взгляде сверху вниз, показалась ему уложенная накануне вечером картина. «Точно и не я писал!» — думал он, прищурив глаз. «Кажется, хорошо... Посмотрим, что теперь скажут люди... А Стенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом деле он был среднего роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполне искренняя. Неправда, будто я так люблю *русскую удаль*. Эту любовь я взял из чужих ма-

стерских, да и туда она попала из газет. Чем мне по настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Василиев». — Два художника, которые ему нравились в Академии, Перов и Суриков, оба назывались Василиями. — «Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты». — Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу «Отечественных Записок» и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся: из-за наплыва иностранцев прислуга гостиницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третий раз. Наконец, кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар.

— Не забудьте, пожалуйства, принести льду, — добавил он. Всегда говорил прислуге вы, что приводило ее в растерянность. Николай Сергеевич улегся поудобнее на трех подушках и открыл на закладке книгу; накануне начал читать роман какой-то дамы: «Попечитель Учебного Округа». «Ох, что-то уж очень скучно»... Он с вечера не верил ни в религиозный экстаз одной героина, ни в то, что в другой героине «все было бархат, начиная от кроткого блеска ее глаз до ласкающего шелеста ее платья». С утра в романе появился «молодой надменный князь, с нахально-ленивым выражением лица и с несколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдельные фразы, фразы, ценившиеся в Петербурге на вес золота». — «Как, однако, скверно пишет эта баба! И какое мне дело до князя с лошадиными зубами?» — подумал Мамонтов и из под одеяла наудачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в левой: вдруг откроется на интересном месте? Критик жаловался на полный упадок литературы: не только нет Шекспиров и Дантов, но некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, даже с Львом Толстым и Крестовским-псевдонимом. «Критик еще глупее романистки», — сказал себе Николай Сергеевич, обидевшийся за Льва Толстого: он недавно с тем же восторгом прочел во второй раз «Войну и Мир» этого писателя, входившего в большую моду.

Мамонтов встал окончательно и занялся гимнастикой. «Заграницей можно будет купить гири фунта на три потяжелее. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро». Тусклое зеркало отражало бицепсы, — «сделали бы честь атлету, ну не профессионалу, как Карло, а сильному любителю... Кажется, во мне начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознание человеком своих сил. Что же мне собственно дает уверенность в своих силах? Комплименты профессоров и товарищей в университете, в Академии? Комплименты были большие. Однако это плохой признак, если человек чувствует себя способным ко всему. Катя восторгается мною искренне, но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все же не в меня, а скорее всего в Карло, и ничего у меня с ней не будет, и слава Богу: была бы грубая мещанская «интрижка», — неуверенно сказал он себе. В дверь постучали. Мамонтов поспешно опустил гири. Ему всегда было неловко перед прислугой гостиницы и за гири, и за живопись, и за то, что он вставал часа на четыре позже слуг. Вместо лакея, самовар принесла молодая горничная. Николай Сергеевич, бывший в ночной рубашке, поспешно сорвал с кресла халат, рукава как нарочно были вывернуты наизнанку.

— Виноват... Я думал, это Степан. Пожалуйста, поставьте сюда. Нет, я заварю сам... Что, кажется, очень холодно?

— Лютый мороз, барин, — ответила, улыбаясь, горничная. — Лед в ванной комнате. Неужто будете обтираться?

— Да. Я привык. — Он хотел было игриво пошутить и не пошутил. Горничная сказала, что газета на подносе, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергеевич с досадой швырнул на кресло халат, сердито посмотрел на свои голые ноги, и подумал, что ночная рубашка идиотская вещь, фабрикантам давно следовало бы придумать что-нибудь получше.

Он заварил чай, срезал полукруг еще горячего, с осыпавшейся мучной пылью, калача, густо намазал маслом обе половины рога и с наслаждением выпил два стакана чаю. Масла больше не оставалось. Николай Сергеевич налил себе третий стакан и съел весь калач, макая куски его в сладкий чай, — «просто неловко, надо было бы для приличия оставить хоть что-нибудь на подносе»... Он думал немного о миловидной горничной, немного о Кате, думал, что следовало бы заглянуть в газету, хоть в ней наверное ничего нет, кроме этих придворных торжеств. Однако, не развернул газеты, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. «Ах, как хорошо!... Особенно вон то: золото и снег. И то второе пятно кареты с красным, на розоватом снѣгу!...»

Крест, фронтоны, купол Исаакиевского Собора были покрыты снегом. Дома были разукрашены русскими и английскими флагами. По площади неслись сани, запряженные парой вороных рысаков под сеткой, За ними, сильно отставая, тяжело меся снег, проехала придворная карета с людьми в красных ливреях. Верх кареты, цилиндр лакея были покрыты снегом. В разреженном тумане слабо видны были громады дворцов. «Уж не остаться ли?» — нерешительно спросил себя Николай Сергеевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это: «Этот великолепный, барский, самый барский в мире, город, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундире на невозможном коне. Да, красота!... Философствующий граф-помещик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей. Но что же мне делать, если я о смерти не хочу думать!... Не остаться ли?... Живописью можно заниматься здесь. Бакунин, Маркс не уйдут... И что же собственно я скажу Бакунину и Марксу? Ведь это все-таки будет книжный разговор, в котором я распущу перья: буду показывать свой ум, образование, револю-

ционные чувства, а они будут стараться заполучить лишнего сторонника — если они вообще будут со мной разговаривать... Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себе, о том, что я не знаю, что с собой делать, что я хочу жить, и не знаю как и для чего, не знаю, зачем вообще живут люди. Для них это скучное «само собой», о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Кате? Об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег?... Конечно, я сейчас несу вздор, но во мнѣ, быть может, то единственное и хорошо, что я себе врать не могу. Другим могу... И сколько я ни убеждал себя, что «Капитал» доставил мне великое наслаждение, — не убедил. «Капитал» доставил только такую же умеренную радость, как в гимназии «Пифагоровы штаны» — «слава Богу, главное все-таки прочел, понял и заучил: ловкая штука»... И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может всю жизнь, «Войну и Мир» этого помещика, о котором в Европе, верно, никто никогда не слышал, а в «Капитал» больше в жизни не загляну, разве только нужно будет (хоть едва ли) написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой»...

В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое... Во мне сказываются и черты «parvenu». Это более чем естественно: дед крепостной», — как всегда с мучительным чувством ненависти подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом, с ростом состояния отца, перешел на желтые и теперь впервые купил место в синем вагоне. «Завтра еду, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде: «П-п-пер-рвый звонок»... «Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!», ненужно: торопливую покупку газеты или папирос, ненужно-

торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — «теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего наверное ненужный звук рожка, нерешительно-тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространстве и во времени, — «кончилась глава!» — мысли о даме, сидящей в углу купэ, о том, что будет к обеду, торжественное появление кондуктора с фонарем, с каким-то странным инструментом в руке, сообщение о близости большой станции, новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски.

В знаменитой гостинице были две ванные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы: русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой. На пороге Николай Сергеевич вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата бумажник. В нем были две тысячи рублей наличными, и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилия, разумеется, в письме названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращении. Вместо «Михаил Александрович» было написано «Mon vieux Michel», хотя старик земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. — «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу: ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию», — сказал старый земец. — «Вот тебе раз! Они лютые враги», — возразил Николай Сергеевич. — «Лютые враги?» —

недоверчиво переспросил земец, — «я думал, это одна компания». — Мамонтову показалось, что он хотел сказать: «одна шайка». Он рассердился, но сдержал себя.— «Ну-с, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. — «О каком событии?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы сочетаются узами брака (он шутливо подчеркнул интонацией оффициальное выраженье) с английским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственные влияния имеют у них значение. Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории». — «Отчего же только в европейской? В мировой, в мировой», — сказал Николай Сергеевич. — «Не шутите, молодой человек, не шутите. Да, да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай! Вот вы не верите, а Гладстон верит! Ведь этот брак состоялся не без него, он как его в Палате приветствовал! К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину»...

11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы, в Петербург приехали высокие особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем Дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах, в hall'ѣ, в ресторане ему беспрестанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах

столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, **балах.**

Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие»... Он таким образом закалял волю. «Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар», — опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно, наследство все еще не было приведено в ясность: состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много: в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившиеся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у купца процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самого начала. «Велено потчевать, а неволить грех. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергеевич», — говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александринского театра, — только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал было, уж не взять ли в таком случае меньше: тысяч шесть? Решил все же взять десять, так как совершенно не знал, насколько времени уезжает заграницу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода (имение он любил и хотел оставить за собою).

Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло, — он каждый день ждал, — вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о походе, в котором

можно было бы принять участие. Унылая непонятная гражданская война шла в Испании: маршал Серрано кого-то разбил на голову, — хотя как будто не очень на голову, — и требовал от французского правительства выдачи членов Хунты, так как они не политические, а уголовные преступники. «Нет, в этой войне я участия не приму», — думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над Хунтой (его смешило это слово), — «вот и в этой тоже нет»: столь же унылая непонятная революция происходила в Сан-Доминго; кто-то свергнул президента Баэца, президент поспешно бежал, а впрочем как будто не бежал: по крайней мере его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бежал, но не поспешно». Я думаю, самому Бакунину такие революции не интересны». Дизраэли вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило, после жарких прений, довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи, — умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшемуся в этот день обеду и балу в Зимнем Дворце. «...При питии за здравие играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крепости пальба: за здравие Их Императорских Величеств и Ее Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрел; за здравие Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел; за здравие Всего Императорского дома и Августейших гостей — 31 выстрел; за здравие духовных лиц и всех верноподданных — 31 выстрел...» Ему нравилась пышность петербургскаго двора, хотя он

при случае говорил, что это грабят русский народ. «Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье»...

II

Черняков, приглашенный Николаем Сергеевичем к завтраку «часов в одиннадцать», явился в одиннадцать часов. Аккуратность шла к его представительной, степенной, довольно грузной фигуре. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или, по крайней мере, любил проводить с ним время. От Чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием, основанным на прекрасном здоровье, на прекрасном аппетите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лет он был видным приват-доцентом петербургского университета, писал в журналах солидныя статьи, гдѣ что-то разбиралось «в общем и целом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре». — «Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но как отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя впрочем никогда не было и не будет, лучше, право, обратись ко мне», — сказал Мамонтов. — «Ты глуп», — ответил Михаил Яковлевич, — «Юрий Павлович, если хочешь, столп ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».

— Так ты еще не уехал? — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая снежинки с низкой котиковой шапки. — Хорошая вещь печь! Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором помешались мои коллеги-физики. Так ты еще не уехал?

— Нет, я еще не уехал, — ответил Николай Сергеевич покорно и даже с некоторым сознанием своей вины; знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос; он уже простился в Петербурге с теми, с кем ему полагалось прощаться, и считал глупым положение человека, прощающегося во второй раз: «У людей всегда при этом неприятно-разочарованный вид: «как? вы еще не уехали?» — Задержался только на один день и завтра уезжаю наверное, твердо тебе обещаю, не сердись... Постой, не снимай шубы: мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?

Михаил Яковлевич так же неторопливо снял перчатки, вынул из кармана своего хорошо сшитого двубортного сюртука модный фиолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и английский сюртук, и батистовый платочек, и холеная черная бородка; Мамонтов ему советовал отпустить окладистую русскую бороду: «С ней ты будешь еще национал-прогрессивнее, и какой же лидер партии без бороды?»

— Мой друг, от добра добра не ищут, — сказал Черняков. У него был приятный, звучный баритон с внушительными уверенными интонациями, очень подходивший для лекций по государственному праву, для ссылок на основные законы Российской империи или на прецеденты в конституционной истории Англии. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекций можно было бы печатать без всякой правки: они в стилистическом отношении были ничем не хуже его статей. Первую свою лекцию он обычно отводил философским вопросам; бывший на открытии его курса Мамонтов после лекции сказал ему, что за трогательные интонации в словах о Спинозе

его мало повесить: «Я тебе раз навсегда запрещаю говорить о Спинозе, говори об основных законах»... Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь. — Я готов, разумеется, идти за тобой в огонь и в воду и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообедать в сией гостинице? Сюда ведь люди приезжают из заграницы, чтобы поесть как следует. Особенно немцы.

— Именно. Здесь сейчас слишком много немцев. Вся гостиница заполнена германскими адъютантами, лейтенантами и чорт знает кем еще. Русская великая княжна выходит замуж за английского герцога, — казалось бы, при чем тут немцы?

— Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенция, ты германофоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты, разумеется, сейчас себе говоришь: «Какая свинья этот Черняков! Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан»... Постой, не смейся и не кричи, а слушай. По случаю твоего таинственного, бессмысленного и решительно ни для чего ненужного отъезда заграницу, мы, конечно, должны выпить шампанского. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уезжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самого начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет?

— Не идет. Я буду ломаться: ты у меня в гостях. И, разумеется, я ставлю бутылку шампанского.

— Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а две. Мне очень хочется с тобой выпить как следует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня ненавидишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор — по крайней мере in spe — и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, гениальный диллетант и Леонардо да Винчи — тоже in spe.

Смеясь, они спустились вниз. Несмотря на ранний час, ресторан уже был почти полон; они заняли последний стол у окна. Всюду слышалась немецкая речь, реже

английская и французская, еще реже русская.

— ...В Париже, — сказал Черняков, закусывая икрой рюмку водки, — я тебе советую, благо ты богат как сорок тысяч Крезов, завтракать в Café Anglais, а обедать в La Tour d'Argent. Мне, скромному приват-доценту и — в полное отличие от тебя — буржуа больше по духу, чем по кошельку, оба сии богоугодных заведения были недоступны. Но, к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрий Павлович, с коими я вместе путешествовал. Говорю «вместе», но, под разными предлогами, я, со свойственным мне тактом, деликатно отставал на один день, чтобы не смущать их великолепия своим вторым классом. Они в Париже, разумеется, жили в Гранд-Отеле, а я в маленькой гостинице на rue des Saints-Pères. Однако к обеду и к завтраку бывал их Высокопревосходительствами приглашаем неоднократно, вследствие чего с оными заведеньями имею знакомство основательное... Чтоб не забыть: сестра очень просила еще раз тебе кланяться.

— Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером, в семь часов.

— У Юрия Павловича?

— Не у Юрия Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны.

— Хочешь на прощанье вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она, конечно, возьмет, если ты завезешь.

— Нет, у меня к ней серьезное дело. — Черняков смотрел на него с любопытством. — Впрочем, это не секрет, по крайней мере от тебя. Я из за этого дела и остался на лишний день в Петербурге. Ты знаешь Перовскую?

— Какую Перовскую?

— Соня Перовская, молоденькая, очень милая девушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в Третье Отделение, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но...

— Постой. За что арестовали и посадили?

— Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, т. е. опять-таки ни за что. — Черняков пожал плечами. — И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нее, говорят, большие связи.

— Связи у нее действительно громадные, особенно с той поры, как ее посетил государь, — сказал Михаил Яковлевич равнодушным тоном. Мамонтов знал, что его товарищ очень дорожит и гордится свойством с фон-Дюммлером. «Это, разумеется, самая выгодная позиция: оппозиционные, передовые взгляды при влиятельной консервативной родне», — раздраженно подумал Николай Сергеевич. — Связи у сестры громадные. Но сделает ли она, я не знаю. Юрий Павлович не очень это любит.

— Ах, Юрий Павлович не очень это любит?.. Странная женщина твоя сестра! — сказал Мамонтов. — Она построила свою жизнь вроде как Бисмарк построил германскую империю: шаг за шагом, от войны к войне, от победы к победе. Первая победа: брак с твоим очаровательным Дюммлером. Победа вторая: первое письмо от Тургенева. Победа третья: знакомство с первым великим князем. И наконец, победа четвертая, полный триумф: государь побывал у нее в доме! Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего делать после создания германской империи... Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ее поклонник. Всегда держал аллебарду! Скажу больше, я, пожалуй, не встречал женщины с более ярким сочетанием даров судьбы. Она умница, красавица, добрая, внимательная. Просто даже непонятно, зачем одной женщине дано так много. И как глупо, что при такой натуре она думает о вздоре и только о вздоре!

— Это совершенно неверно... Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю за что и почему, так как ты болван... И вообще, мы говорим не о моей сестре, а о тебе. Сестра меня спрашивала, зачем ты

едешь в Швейцарию. Я ответил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам... Ну, если ты имеешь смелость утверждать, что ты не болван, то объясни мне, зачем ты едешь в Локарно. На какого чорта тебе нужен Бакунин? — спросил Черняков, сильно понизив голос.

— Что-ж это не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена...

— Я говорю не о котлетах, а о Бакунине, и я утверждаю, что тебе совершенно не нужен Бакунин.

— Ах, да, нужна национально-прогрессивная партия, которую ты хочешь создать.

— Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партия, в отличие от всяких Бакуниных, явление органическое. И, будь уверен, в ней будут работать все порядочные люди. Здесь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится.

— К тебе, значит?

— Разумеется, не ко мне, а к партии. И поверь, это не только мое мнение. Могу тебя уверить, наши ретрограды очень боятся ,что государь станет на этот путь. Я это знаю из самого достоверного источника... От Юрия Павловича, — добавил он весьма значительным тоном. — Что ты на это скажешь?

— Ничего не скажу. Это мне просто неинтересно. Вы хотите создать при государе какой-то совещательный или полу-совещательный орган. Ты что-то такое нашел в истории, земский собор или боярскую думу...

— Я нашел!... Земский собор или... Какое невежество!

— Да все равно! Я знаю, что не ты это нашел и что земский собор и боярская дума не одно и то же, но мы спорим не о словах. По существу, вы все хотите, чтобы при царе были какие-то представители, от дворянства ли или от купечества или от духовенства, — само собой, чтобы «лидерами» — вы ведь так выражаетесь: «лидеры» — были вы, профессора. А нас все это вообще не интересует. Мы принципиально никак

не можем считать нормальным положением, чтобы какой-то генерал bon vivant, может быть даже хороший человек, правил восьмидесятимиллионным народом.

— Извини меня, это не разговор, — сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам. — «Какой-то генерал»!... Это дешевая демагогия. За «каким-то генералом» тысячелетняя историческая традиция. Кому же править Россией? Твоему Стеньке, что ли? Или Бакунину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуважение к истории, столь характерное для всех наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на верный прогрессивный путь. И нашей будущей партии в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснование. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. Внимательно ли ты прочел мою работу о вечевых собраниях и земских соборах? Я тебе ее послал.

— Да, я прочел, — солгал Николай Сергеевич.

— Кстати, по поводу этой моей работы. Ты, кажется, хорошо знаком с Клембинским?

— Не так уж хорошо, но знаком.

— Не могу понять, в чем дело. Я ему давно послал и эту свою работу, и заметку о некоторых своих планах для помещения в его хронике «Книги и писатели», но прошло больше месяца и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему напомнить?

— Когда же? Ведь я завтра уезжаю.

— Конечно, тебе будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать. Чтобы не утруждать ни тебя, ни его, я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось. — Он вынул из кармана листок. — Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким препроводительным письмом. Можно?

— Постараюсь.

— Извини меня, «постараюсь» это не разговор. Если тебе трудно, я могу это устроить через кого-либо другого.

— Хорошо, я пошлю.

— Спасибо. Вот, возьми. Теперь вернемся к делу. Итак, зачем ты едешь к Бакунину и к Марксу?

— Я не еду к Бакунину и к Марксу. Я еду заграницу, где надеюсь повидать Бакунина и Маркса, — раздраженно сказал Мамонтов. — Не в обиду будь сказано тебе и Юрию Павловичу, то, что делается в России, меня не удовлетворяет. Готов, конечно, сделать исключение для твоей работы о вечевых собраниях и земских соборах...

— Почему ты сердишься?

— И мне хочется узнать, о чем думают умные люди заграницей.

— Однако ты умных людей хочешь искать только в революционном лагере.

— Кто же есть еще? Не прикажешь ли обратиться к Бисмарку? Я, пожалуй, и не прочь, да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость Бисмарков!.. Нет, брат, нас Эльзас-Лотарингиями не прельстишь. — Он налил себе и выпил залпом третью рюмку водки. — Монтэнь говорил: «Tous les maux de ce monde viennent de l'ânerie». Все эти Эльзас Лотарингии от «ânerie» и происходят, что бы там ни говорили о гении Бисмарка и ему подобных! Нет, у них уму-разуму не научишься! А у революционеров — может быть... Видишь ли, я твердо решил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю вечный, но долговременный смысл. Да вот, недавно умер мой отец. Ты его знал. Он был недурной человек, не злой и умный, хоть без образования. Но умер — и никто слезы не проронил. Больше того, — зачем слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть многим ему обязан, — но его навсегда все забыли ровно через десять минут после того, как опустили гроб в могилу. И я не хотел бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то...

— Постой. А у тебя есть?

— Ты отлично знаешь, что нет! То остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело. Я такого дела и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партия и когда государь к тебе обратится, тогда поговорим. До того я здесь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невежестве, вижу, что ни за что ни про что в ссылке Чернышевский. Я не большой поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразия! Так именно создают в стране революционное движение.

— Так ты хочешь примкнуть к революционному движению? — с недоуменьем спросил Черняков, опять понижая голос.

— Еслиб хотел, то не говорил бы об этом... в ресторане гостиницы. — Он хотел было сказать: «то не говорил бы об этом тебе». — Нет, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь: «Du weisst, o Gott, dass ich kein Talent — zum Martyrtume habe»... У меня тоже нет таланта к мученичеству. Впрочем, не знаю. Ничего не знаю. Я еду осмотреться.

— И отлично. Осмотрись, приезжай назад и прими участие в работе прогрессивно мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нет, все остальное бред и утопия... Какой у нас царь ни есть, он умнее и образованнее, скажем, королевы Виктории. Между тем Англия процветает.

— В Англии, насколько мне известно, Виктория никакой власти не имеет. А у нас... Да брось ты восхвалять царя! Он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть и порода деда. Вспомни с какой жестокостью было подавлено польское восстание.

— Я так и знал! Восстание индусов было подавлено с меньшей жестокостью? Но англичанам можно, а? Пойми, я не одобряю жестокостей, едва ли мне это нужно объяснять тебе, — прибавил он, взглянув на хмурое лицо Мамонтова. — Думаю также, что с поляками

можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок...

— Даю, даю. Бери срок и жди пока за тобой пришлют из Зимнего Дворца. А я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебе, что силы у меня небольшие. В конце концов, и это неизвестно.

— Я знаю, что ты горд как Люцифер.

— Какой там чорт Люцифер!.. Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не уверен. Вот главная цель моей поездки заграницу. Кроме того, мне просто хочется повидать Европу, пока есть здоровье и деньги. В Локарно к Бакунину я заеду разве на один или два дня, а жить буду в Париже. Если там знатоки признают, что у меня большой талант, я уйду в живопись. При малом таланте не стоит и незачем.

— А если большого таланта не окажется?

— Не знаю что тогда буду делать... Планы у меня разные. Была и такая мысль... Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалел для моего образования. Не стать ли мне журналистом? Теперь в мире появились международные журналисты. Вот, наконец, наши котлеты... Почему ты смеешься как идиот?

— Так... Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что-ж, желаю тебе успеха во всех, кроме одного: революционного.

— Этот, быть может, самый лучший. Я тебе тоже желаю больших успехов. Женись на миловидной национал-прогрессивной девице с хорошим приданым, купи себе дом неподалеку от Юрия Павловича и устрой, на зло его ретроградному салону, другой салон, с хорошим либорально-консервативным направлением и с явно выраженным национальным духом. На больших обедах у тебя будут подаваться национально-прогрессивные суточные щи с н я н е й и тосты будут произносить известнейшие профессора и писатели. Может быть, самого полоумного Достоевского запо-

лучишь? И непременно, чтоб было несколько национал-прогрессивных князей и графов.

— Международный журналист, ты глупеешь не по дням, а по часам. Особенно когда без причины сердишься и стараешься это скрыть, — благодушно сказал Черняков, кладя на тарелку телячью котлету.

После шампанского стало веселее, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александре II, и о Бакунине, и о Марксе, и о положении России, и о положении Европы, и о швейцарских гостиницах, и о парижских ресторанах.

— Почему твоя сестра назначила мне свиданье в семь часов? Самое необычное время, — сказал Мамонтов.

— Разве ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обед у государя. Они вернутся, верно, только на полчаса: вечером в Зимнем Дворце бал.

— Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя более получаса?

— Нельзя, брат. По их положению они должны быть и на обеде и на бале... А ты что делаешь вечером?

— Я? Я не у государя.

— Ты, конечно, в цирке? У твоей Катилины или как ее? Шутовское имя.

— Почему «конечно» и почему она «моя»? Что за вздор!

— Ну, хорошо, не буду... Значит, ты едешь завтра? Если только будет какая-нибудь возможность, я приеду на вокзал.

— Ну, вот! Зачем тебе беспокоиться, ты человек занятой. Меня никто никогда не провожает.

— Нет, нет, я приеду, если только будет малейшая возможность, — с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дела большой важности.

Мамонтов смотрел на него и думал, что это очень

милый, благожелательный, услужливый человек, начиненный честолюбием до пределов возможного, не очень интересующийся женщинами, деньгами, наукой, интересующийся только своей карьерой. «Вероятно, его идеал: чтобы каждый день в каждой русской газете были слова: «профессор М. Я. Черняков». А позднее, когда их «прогрессивная партия» создаст парламент, чтобы всюду было: «как нам сказал член Палаты М. Я. Черняков», «интервью с проф. М. Я. Черняковым», «по мнению лидера прогрессивной партии М. Я. Чернякова»... И вместе с тем он человек неглупый и хороший, я не могу этого отрицать»...

— А то, может, разопьем еще бутылку? — спросил он. Михаил Яковлевич взглянул на часы, и не успел ответить. За соседним столом произошло смятение. Немцы повскакали с мест и бросились к окнам. Послышались голоса: «Der Kaiser!..» «Alexander der Zweite!..» Черняков и Мамонтов тоже поднялись По площади проезжали верхом два человека. Один из них был царь. Слева ехал человек, гораздо более молодой, в иностранном мундире. «Эдуард! Принц Уэльский!» — восторженно прошептал немец, — «принц Уэльский!». Сзади, на довольно большом расстоянии, ехали два казака. Александр II, чуть наклонившись в седле, что-то с улыбкой рассказывал своему спутнику. «Наверное, они разговаривают о женщинах», — почему-то подумал Мамонтов, — «тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно»... Об успехах молодого принца Уэльского у дам уже ходили по Европе всевозможные рассказы. «И как смотрит на царя, с каким восторгом. Учится, должно быть. Вот только ему наружностью до нашего далеко. Правду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человек в России», — с завистью думал Николай Сергеевич, вглядываясь в лицо Александра II. Немец объяснял, что этих лошадей подарил царю турецкий султан. «Кровные арабские жеребцы, таких нет нигде в мире!»

III

В Петербурге говорили, что дед госпожи фон Дюммлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По другим сведеньям, отец Софьи Яковлевны, был армянским стряпчим в Баку. Говорили и то, что она внучка выкреста из евреев. По богатству ее муж не мог соперничать со старыми и новыми миллионерами. Тем не менее их дом считался одним из первых в столице. Почти все признавали, что этим Дюммлер обязан своей жене: «не она сделала блестящую партию, а он». Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлевны и, назначая за него скромную плату, пояснил, что работа была для него «большой честью и еще большей радостью». Тургенев писал ей длинные письма с черновиками и копией. Шопотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосветском романе Болеслава Маркевича или князя Мещерского, и выйдет скандал на всю Россию. Но этой зимой слух оборвался: в декабре в доме Дюммлеров побывал царь, не баловавший посещеньями рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, ни Болеславом Маркевичем.

В этот вечер особняк на набережной был ярко освещен огромными огненными вензелями императора и императрицы. У подъезда стояли парные извозчичьи сани. «Если у нее гости, то как же говорить о таком деле?» — подумал Николай Сергеевич с досадой, поднимаясь по освещенной карселевыми лампами, выстланной мягким ковром лестнице. Он был в дурном настроении духа. «Верно будут разные господа в сюртуках и мундирах, с аксельбантами и звездами, изо всех сил старающиеся походить на царя и до смешного на него непохожие».

Расставшись с Черняковым, Мамонтов от скуки поехал в клуб, и часа четыре играл в карты. Этот клуб

помещался недалеко от Литовского Замка, что имело свои основания. В Литовском Замке, по слухам, жил палач, тот самый, который повесил Каракозова. Согласно вековому международному поверью игроков, близость палача приносит счастье. Хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, очевидно, должно распределяться между всеми игроками поровну, в клубе чуть ли не день и ночь напролет шла игра. Николай Сергеевич недурно играл в коммерческие игры, не зарывался в азартных, но ему в последнее время не шла карта. Так и на этот раз он заплатил к вечеру сто семьдесят рублей, выслушав игривые соображения партнеров о счастьи в любви и более деловитые о «полосе невезения». Существование «полосы невезения» ни у кого из игроков сомнения не вызывало; о ней говорили, как о бесспорном явлении природы: некоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить.

Мамонтов не обедал в клубе, заказал только чай, рассчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поездку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. — «Уж не скупость ли? Тут и наследственности быть не может: отец был щедр и сыпал пожертвованьями, особенно до получения Владимира. Я не скуп, но и не расточителен»... Расплачиваясь с лакеем, он нашел в кармане листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким почерком заметку: «Приват-доцент Санкт-Петербургского университета М. Я. Черняков закончил большой труд: «Этапы и вехи истории идеи самоуправления. Вечевые собрания и земские соборы на Руси». Исследование русского ученого вызвало оживленный интерес в западно-европейской научно-политической литературе. Возможно, что оно будет переведено, целиком или в извлечении, на немецкий язык. В настоящее время М. Я. Черняков готовит новый курс государственного права и ряд специальных работ». — «Как все-таки ему не совестно?» — подумал Мамонтов. — «А может быть у них так принято? Иначе Клембинский и не мог бы

вести хронику «Книги и писатели».Николай Сергеевич хотел было выбросить записку ,но, вспомнив о данном слове, вздохнул, тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб. — «Лихача прикажете?» — почтительно спросил внизу швейцар. На это нельзя было ответить иначе, как «да, позовите лихача». — «Чем не времяпрепровождение для купчика?» — Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бонбоньерку в самой дорогой кондитерской. «У Дюммлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чем его барин... Впрочем, их к аристократии, кажется, никто и не причисляет», — подумал Николай Сергеевич, очень недолюбливавший аристократов. Он с некоторым удовлетворением вспомнил разговор, слышанный им в итальянской опере: рядом с ним какой-то ф р а н т, восхищаясь красотой сидевшей в ложе госпожи фон Дюммлер, сказал, что по рождению она «deux fois rien». — «Trois fois rien», — поправил другой франт.

Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обеих руках ее руку, что-то говорила ей по французски. На лице Софьи Яковлевны сияла улыбка. «Кажется, и место у нее рассчитано: вот тут под лампой. При этом освещении она действительно красавица», — подумал Николай Сергеевич. — «Недурно было бы написать ее портрет»... Увидев его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в меховом капоте. Мамонтов вспыхнул.

— Разрешите представить вам моего друга, — сказала, улыбаясь, Софья Яковлевна, видимо довольная эффектом. — Мосье Мамонтов, один из лучших художников России. Маркиза де Ко... Впрочем, вас не называют, — весело сказала она даме. — Это должно быть странное ощущение: знать, что твое лицо известно каждому человеку на земле. Как вы думаете? — обратилась она к Николаю Сергеевичу. Действительно называть даму не требовалось. Он вперные слышал имя

маркизы де Ко, но эти темные глаза с густыми бровями, это бледное «неземное» и вместе детское лицо были известны всему миру: перед ним была Аделина Патти.

На площадку лестницы выбежал мальчик лет одиннадцати в матросском костюме. Софья Яковлевна его подозвала.

— Это мой сын Коля, — сказала она. — У меня к вам просьба: поцелуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его целовала Патти!

Гостья засмеялась и поцеловала упиравшегося мальчика. Как она ни привыкла к таким и сходным просьбам, — как раз в этот день императрица, в точно тех же выражениях, просила ее поцеловать другого Колю, старшего внука государя, — они видимо доставляли ей удовольствие. Николай Сергеевич молча вглядывался в ее лицо, чтобы навсегда запомнить. «Да глаза удивительные.... «Les noires étincelles», «La Junon bébé», — вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лице Патти. «А смеется Катя лучше»... Гостья видимо не знала что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь.

— Его зовут Коля, это уменьшительное от «Николай»... Мой ангел, — обратилась она по русски к сыну, — отведи твоего тезку в серую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам приду, — смеясь, сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся. В гостиной было все то, что считалось обязательным: мебель Булля или подделка под нее, камин серого мрамора, бесчисленные ящички из китайского лака и слоновой кости, картины Виллевальде и Айвазовского. Только не было фамильных портретов — «et pour cause», — подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стен висел фамильный генерал в александровском мундире, дядя или дед фон-Дюммлера; но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил: «а все-таки и я предок»...

— Очень рад, что познакомила вас с Патти, —

сказала, входя, Софья Яковлевна. — И не удивляйтесь рекламе, которую я вам сделала...

— Да уж можно сказать!

— Мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я ей еще о вас наговорила. Вы уезжаете, но вы можете встретиться с ней заграницей. Еслибы Патти заказала вам свой портрет, вы на следующий день стали бы знаменитостью... Я не предлагаю вам чаю: поздно. Хотите портвейна? Нет? Нет так нет. Как же она вам понравилась? Она очень спешила: ей еще нынче петь в опере... Ах, как она сегодня пела!

— Сегодня? Где же это?

— Во дворце, разумеется... Вы, может быть, не слышали? — смеясь, спросила Софья Яковлевна, — сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эдинбургского.

— Un mariage très discret, — сказал Мамонтов, — целый день гремели колокола и палили пушки. Утром мне спать не дали.

— Бедный!.. Так вот по этому случаю государь дал обед. И за обедом пели Патти, Альбани и Николини. Но тех просто никто не слушал. На Альбани мне было жаль смотреть. Патти затмила всех и все. Она спела что-то из Россини с верхним ге, потом, в честь новобрачных, английскую песенку «Home, sweet home»... Я не могла себе представить подобную овацию в Зимнем Дворце! Люди забыли о присутствии государя и государыни! Впрочем ,государь сам апплодировал, как студент на галерке Большого Театра. Он осыпал ее подарками: подарил ей веер, кольцо, браслет, не знаю что еще. Вообще она вывезет из России целое состояние.

— Ей, я думаю, не нужно.

— Боюсь, что нужно. Вы знаете, ее муж — она с ним не живет — наложил арест на ее имущество. По законам передовой французской республики это можно. Там женщины совершенно бесправны, не то что в отсталой России. C'est un pauvre sire, Monsieur le marquis de Caux. Она поэтому больше не поет во Франции, так как ее гонорары пошли бы ему. Зачем

великие артистки выходят замуж? Все они неизменно несчастны в браке и скоро расходятся с мужьями: Тальони, Малибран, Бозио, Гризи, Патти... Да, она несчастное существо. И какая это мука выступать каждый день! Я после обеда во дворце захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем, — сказала Софья Яковлевна таким тоном, точно без нее Патти оказалась бы на улице голодной. — Так вы не уехали? Когда вы уезжаете?

— Завтра.

— Ах, какое было великолепие! — продолжала она, не слушая его ответа и видимо еще не в силах справиться с впечатлениями дня. — Мы были во дворце чуть не с утра. Сначала венчание по православному обряду, потом по английскому обряду. Потом обед в самое необычное время: в четыре тридцать. А вечером надо опять туда ехать на бал. Лорд Лофтус, английский посол, сказал мне, что по великолепию ничего не видел похожего на наш двор. Особенно эти bals des palmiers.

— Это еще что такое?

— Не «еще что такое», а это сказка из Тысячи и Одной Ночи. Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительные пальмы, каких нет, кажется, в Африке. Николаевский зал превращается в Альгамбру. На крыше аршин снега, а под ней тропический сад. Между пальмами столы, каждый человек на десять. Перед обедом государь подходит к каждому столу, говорит несколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он съел ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять... Ну, я вас слушаю, рассказывайте в чем дело.

Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно.

— Какая это Перовская? Есть графы Перовские. Неужели из семьи министра?

— Кажется. Но они не графы. Это бедная ветвь семьи.

— Ведь Перовские были незаконные дети Разумовского? Значит, они в родстве с царской фамилией?

— Не знаю. Они, кажется, не от Алексея Разумовского, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нет. Если вы можете что-либо сделать, ради Бога, сделайте.

Софья Яковлевна задумалась.

— Конечно, я могу это сделать, — сказала она. — Ее грехи, повидимому, пустяковые? Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мне отказал. Но... Ручаетесь ли вы, что, если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положении я тогда окажусь!

— Поручиться я не могу, — сказал, немного подумав, Николай Сергеевич. Он вспомнил Перовскую, ее круглое личико, крутой лоб под светлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившиеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался «бабником», внезапное раздражение, пробегавшее по ее лицу, если в ее чистенькую комнату входили в мокрых, грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, ее за ворчливость дружески прозвали «Захаром», по имени какого-то дворника или городового. — Нет, я не могу поручиться, — твердо повторил он. Софья Яковлевна вздохнула.

— Тогда я не могу просить, — так же твердо сказала она. — Посудите сами. Что если она полезет к Каракозовым! Только этого мне не хватало бы! Да, правду сказать, и вам! Не могу. Пусть лучше они действуют через родных, можно возобновить родственные связи. Борис Александрович Перовский очень влиятельный человек За родственницу хлопотать естественно... Вы сердитесь?

— Не сержусь, конечно, но огорчен. Пока во всяком случае ее дело совершенно несерьезно.

— Тогда, быть может, ее скоро выпустят... Объясните мне, что такое происходит с нашей молодежью. Ка-

кое дело этой Перовской до политики? Она хорошенькая?

— Нет. Довольно миловидное лицо, но не красивое.

— В этом, верно, и причина. — Она смягчила улыбкой это свое замечание. — Сколько ей лет?

— Не знаю. Лет девятнадцать, должно быть.

— Бог знает что такое! — сказала с негодованием Софья Яковлевна. — Дети занимаются государственными делами! — «Чем же надо заниматься? Как ты, придворными сплетнями?» — подумал Мамонтов. — Но об этом я не хочу говорить. Тем более, что вы начинаете на меня сердиться, между тем я вас очень люблю и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно: ведь ни вы, ни ваша Перовская, вероятно, не предполагаете, что в России будет республика, как во Франции? Оечнь, кстати сказать, она хороша, эта французская республика!.. Ну, а если так, то лучше государя, чем Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны?

— Извините меня, это дамский подход к политическим вопросам, — сердито сказал Николай Сергеевич, спрашивая себя, брат ли влияет на сестру или сестра на брата. «Конечно, она на него»...

— Не думаю. А если и дамский, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встречала более очаровательного человека. Начать с того, что он такой красавец! По моему, он еще красивее отца. Я ребенком видела Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он видимо это в себе культивировал. Тут ничего хорошего нет. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит зверем человек, который может их казнить. Александр II величествен, добр и прост. Все послы говорят, что не видели такого величественного монарха. Еще сегодня Лофтус сказал мне: «Every inch a king»... Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр! Как умен!

— Вы говорите как влюбленная.

— Да я и в самом деле влюблена в государя. Вы

читали «Войну и Мир» графа Льва Толстого? Хороший роман, хотя и очень растянутый .У него там офицер Ростов влюбляется в Александра I. Так и я влюблена в Александра II.

— Полагаю, что это не совсем то же самое... Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посещением? Как же это было?

— И вы? — спросила она и опять вздохнула. — Все меня спрашивают: как же это было? Подразумевается: «как ты, интриганка, этого добилась?» Не протестуйте, это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заехал, не могла же я его выгнать, правда? И даже не заехал, а зашел пешком. Нашего швейцара Василия чуть не разбил удар. Да и меня тоже... Вы совсем не любите государя?

Он засмеялся.

— В день освобождения крестьян, — мне тогда было пятнадцать лет, — я хотел отдать за него жизнь... Быть может, потому, что мой дед был крепостной, — добавил Николай Сергеевич. Она с любопытством на него смотрела.

— Я сама не аристократка, — сказала она.

— В их положении чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звери, это уже очаровательно. А если у них вдобавок человеческое лицо и человеческая улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума.

— Не думаю, чтобы вы были правы... Что же касается влюбленности в настоящем смысле слова, то для государя сейчас другие женщины не существуют: он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую, — пояснила Софья Яковлевна. Лицо ее засветилось. Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней и впервые в жизни оставшись с ней наедине, неожиданно попросил ее пригласить к себе княжну Долгорукую, которую многие в обществе бойкотировали. Эта просьба вызвала у нее, потом у ее мужа, растерянность и восторг. Приглашение княжне

было послано на следующее утро только потому, что нельзя было послать ночью. — Скажу вам одно: все, что в России есть хорошего, держится на одном государе. Если, не дай Бог, его не станет, вы будете иметь дело с... Аничковым дворцом (она не сказала: с наследником). Посмотрим, что тогда запоет ваша Перовская... Хотите маленький пример. В России, вы знаете, не любят евреев. Так вот недавно в Петербурге побывал сэр Мозес Монтефиоре... Вы слышали о нем?

— Понятия не имею. Что это за гусь?

— Не гусь, а очень почтенный человек. Ему девяносто с лишним лет. Он приехал из Англии просить государя о даровании евреям полного равноправия. Государь совершенно его очаровал, я слышала это и от самого Монтефиоре, и от Лофтуса. Государь проводил его до лестницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не делает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокий старец совершил далекое путешествие в интересах своих единоверцев.

— И что же? даровано ли евреям равноправие? — спросил насмешливо Николай Сергеевич.

— Будет понемногу дано. Государь уже сделал для них много. Это вы, молодежь, думаете, что все можно сделать в один день. Да еще при существовании Аничкова дворца и его людей... Да... А кроме всего прочего, зачем лезть на рожон? Этих Перовских горсть, и ничего они сделать не могут, и слава Богу! Только себя губят. И если многое у нас плохо, то революция сделает все в сто раз хуже. Вспомните ужасы Парижской Коммуны.

— Ужасы ужасами, но, может быть, новая эпоха пойдет именно от этой Коммуны, которую вы так ненавидите.

Софья Яковлевна посмотрела на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся.

— Нет, еще есть время, — сказала она. — Вы говорите, новая эпоха. Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По моему, скорее всего от той поры, как люди

стали мыться как следует. От Людовика XVI и от Дантона, должно быть, одинаково дурно пахло... Вы хотите уходить? Во всяком случае, не сердитесь на меня из за вашей Сонечки. Еслиб вы за нее поручились, я попросила бы государя.

— А кто-ж тогда поручился бы за меня?

— За вас? — Она с недоуменьем на него взглянула. — Да, в самом деле, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти уверена, что вы ни к какому революционному движению не примкнете, если такое движение действительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь. Как и я... У нас вообще немало общего, — неожиданно прибавила она. — Я была бы очень огорчена, еслиб ошиблась. Потому что я искренно вас люблю. Мне нравится, например, что вы «внук крепостного», и так прекрасно говорите по французски, по английски... Вы надолго уезжаете заграницу?

— Может-быть и надолго.

— Вдруг там встретимся. Юрий Павлович хочет посоветоваться с врачами. Кстати, вы его извините: он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть... Когда вернетесь, тотчас дайте о себе знать. Я вас сведу с Патти, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чем цирковая артистка. — Она засмеялась. — Извините меня, брат что-то сказал, проговорился, а я обожаю сплетни... Мне нравится в вас и то, что вы легко краснеете, да, да... Ну, счастливого пути, и, ради Бога, держитесь подальше от революционеров. Уж о вас-то я должна буду хлопотать... Что еще? — спросила она с досадой ливрейного лакея, принесшего на подносе карточку. — Вот его только не хватало! Просите. И скажите Юрию Павловичу, что я прошу его выйти.

— Вы не очень спешите? — обратилась она к Мамонтову. — Останьтесь еще на несколько минут. Вам надо видеть людей и заводить полезные знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь... Да, да,

я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю... Это восточный принц. Он шут гороховый, но у него несметное богатство и огромные связи... Вот он... Только не смейтесь.

Она встала. В комнату вошел невысокий, толстый человек в фантастическом костюме, залитом драгоценными камнями. Он остановился на пороге и прикрыл глаза рукой, точно ослепленный сильным светом.

— Your beauty is more precious ta my eyes than a casquet of rubies. Your voice is more delightful to my ears than the song of ten thousand nightingales, — сказал он нараспев, с восхищением поднял к потолку обе руки и тотчас их опустил.

— Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня, — ответила Софья Яковлевна. — Могу ли я представить вашей светлости моего лучшего друга, мосье д е Мамонтова. Это один из величайших художников мира. Он уезжает заграницу по приглашению австрийского императора и горит желанием побывать в великолепных дворцах вашей светлости.

Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергеевичу и благосклонно кивнул ему головой.

— Please leave your glorious palace of crystal and pass one unworthy evening in the pestilential shanty I inhabit,— сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смеха.

IV

Он ездил в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Диабелли. Это нелепое имя носила русская акробатка Екатерина Дьяконова. Сходство между ея фамилией и псевдонимом было впрочем случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой традиции цирковых артистов, вошла в с е м ь ю акробатов-клоунов, которая, тоже по обычаю, приняла

итальянскую фамилию. На самом деле в семье ни одного итальянца не было. Белый клоун был русский, а глава семьи, универсальный акробат Карло, — финн. Ни в каком родстве они между собой не состояли.

На арене, под все ростущий гогот публики, с криками катался коверный клоун: рыжий. Мамонтов, только заглянув в зал, направился к уборным артистов. Его в цирке уже все знали, ценили за щедрость и всюду пропускали беспрепятственно. Служитель поспешно раздвинул перед ним красную занавес. Запах конюшни и зверей, заполнявший весь цирк, еще усилился.

— Что сейчас? — спросил Мамонтов, протягивая служителю полтинник.

— Покорнейше благодарю, барин. Минут через пять «Венгерская почта». Пожалуйте: прямо и налево, — весело сказал служитель, и в его тоне, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергеевичу показалась игривость.

За кулисами проходили мрачные люди с густо выбеленными лицами, со страшными ярко-красными глазами, тяжело ступавшие, неестественно высокие, жирафообразные фигуры в скрывавших ходули длинных мантиях. Уборная семьи Диабелли была довольно далеко, за пустой огромной клеткой, на которой была надпись: «Кровожадные и травоядные звери. Бенгальский королевский тигръ. Просятъ не раздражать», и за общей цирковой конюшней. Дальше, за невысоким барьером, служители держали под уздцы шесть великолепных, бѣлых лошадей. На них были стеганые плоские замшевые седла и странно-длинные собранные у седла красные поводья. Карло, высокий, худой, стройный человек лет тридцати, в красной венгерке, в белых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мелом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидев Мамонтова, он не обнаружил ни удивления, ни неудовольствия и даже не спросил: «Так вы не уехали?»

— Вы к Каталина? — почти без вопроса в инто-

нации, неприятно-равнодушно сказал он. — Прошу оставаться у нее не более ри минуты. Она не должна волновать себя, — пояснилъ акробат. Он говорил по русски довольно бегло, но с ошибками, с финским акцентом (и, вместо «три», произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг).

— Я не пробуду и трех минут. А вы волнуетесь?

Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что «Венгерская Почта» совершенно не интересует акробата: он сам говорил, что, еслиб напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном виде. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальто-мортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтою жизни Карло было тройное сальто-мортале, до сих пор удававшееся лишь нѣскольким акробатам на земле: остальные разбивались на смерть.

Николай Сергеевич неопределенно махнул рукой и пошел дальше. «Нет, кажется, он не ревнует. Да и нет причины»... Мамонтов до сих пор не знал, какие отношения существуют между Карло и Катей. Иногда ему казалось, что Карло ее любовник, иногда — что они просто друзья. Знающие люди говорили ему о чистоте цирковых нравов: артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно рыжий должен был проделать пятьдесят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывавшую свинью «Амурчика». — «Это вам не театр!» — говорили пренебрежительно цирковые артисты.

Белый клоун Альфредо Диабелли, он же Алексей Иванович Рыжков, уже проделал свой номер и теперь, в отгороженном отделении уборной, стоя вверх ногами, заканчивал тренировку: у него было правилом — после выступления, даже очень утомительного, еще пять минут упражняться у себя до вечернего чаю; он был немолод и боялся потерять мускульную гибкость. Пот градом катился с его еще замазанного белилами лица; он уже снял мушку с но-

са и нашлепку со лба. Под расстегнутой странной шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидев сквозь расставленные руки Мамонтова, клоун, в знак приветствия, помахал ногой в огромной шутовской туфле, в белом чулке до колена, затем вскочил и сел на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергеевич уже знал штуки Альфредо, это зрелище всегда повергало его в изумление.

— Господи, зачем вы это делаете? Прямо смотреть больно!.. Что у васъ сегодня было? Бутылки?

—Да, бутылочки. Публика любит, — скромно ответил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бегу с хриплым криком н е ч а я н н о наступал на первую из расставленных длинным рядом бутылок; бутылка падала, он перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд; затем, с аханьем, с криками ужаса, с беспомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движениями туфли и ставя на прежнее место одну за другой все упавшие бутылки. Только знатоки могли оценить, какой изумительной ловкости, какой точности в движениях, какого гимнастического совершенства требовал этот номер программы, шедший подъ бурный хохот зрителей. — Публика любит, — повторил он, опустил правую ногу, заложил за шею левую ногу и, наконец, сел по человечески, тяжело дыша. — Другие после номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно.

Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, где у него было пришито крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и белила. Мамонтов положил на освободившийся табурет бонбоньерку и прикрыл ее своей высокой меховой шапкой. Ему всегда неловко было наедине с Рышковым. Алексей

Иванович был очень почтенный, степенный и неглупый человек. Он и говорил всегда рассудительно, серьезно, порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и его костюмом, его штучками, особенно его криками на сцене. В начале их знакомства Мамонтову после представления бывало совестно смотреть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Карло или с Катей.

— А вы бы сели, Николай Сергеевич. Катя сейчас выйдет. Вот ей будет сюрприз, она, бедненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору.

— Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородке распахнулась, из своей уборной вдруг вылетела Катя, в одном трико телесного цвета и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбега на шею Николаю Сергеевичу. Он крепко ее поцеловал, затем, вспыхнув, оглянулся на Алексея Ивановича. Клоун, впрочем, даже не повернул к ним головы: поцелуи у Кати не имели никакого значения; они просто были условной формой приветствия, вроде рукопожатья.

— У-у, какой холодный!.. Так вы не уехали?! Ах, как я рада!

— Я должен был задержаться на один день. Завтра уезжаю... Я хотел... Я думал, что вы, быть может, нынче свободны? — начал Николай Сергеевич, еще не совсем пришедший в себя. Рыжков отнял полотенце от лица.

— Катя, поди, надень мантию. Так не выходят к публике.

— Какой же он публика? Он публика! — Она вдруг залилась смехом. «Да, где Патти так смеяться!» — с восторгом подумал Николай Сергеевич. — Вы публика? Или вы наш друг? Мой друг?

— Я ваш друг, большой друг! Больше, чем могу выразить, — неожиданно сказал Мамонтов гораздо

более торжественными словами, чем следовало по разговору. — Впрочем, вы это знаете... Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карло не велел вас беспокоить. Вот что: хотите поужинать сегодня со мной после спектакля? Я и вас прошу, Алексей Иванович. И, разумеется, Карло («почему «разумеется»?»).

— Господи, как я рада!.. Так жаль, что вчера мы не могли, я плакала полчаса! Выходит, у нас все-таки будет отъездной ужин!.. Господи, как я рада!

«Значит, плакала она из за ужина, а не из за меня», — отметил Николай Сергеевич, только теперь ясно сознавший, что, если он охотно остался в Петербурге на лишний день, то отчасти из за надежды на «отъездной ужин». Накануне семья Диабелли была, к крайнему его огорчению, неожиданно приглашена вечером на чай к директору.

— Тогда я зайду за вами тотчас после выстрела. Идет, Алексей Иванович?

Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой.

— Нельзя, Катенька.

— Почему нельзя? Это еще что? — Она ахнула. — Что такое? Что случилось?

Рыжков, немного поколебавшись, объяснилъ, что на вечере у директора Катя сильно запачкала вареньем платье, его утром пришлось отдать в чистку.

— Такъ в чем же дело? — начал было удивленно Николай Сергеевич и осекся, вспомнив, что всегда видел Катю в одном и том же сером платье. — «Это моя вина!» — с досадой подумал он. — «Не бонбоньерки ей надо было приносить. Экий я осел, не догадался...» — Так знаете что? Если у вас нет другого платья, то мы устроим ужин у вас в фургоне, а? Я съезжу и привезу все, что нужно. Мне и то рестораций смертельно надоели. Что вы об этом скажете?

— Разве что так? Это другое дело, — сказал клоун.

— Господи! Конечно, у нас! Какой вы умный! И Карло будет страшно рад... Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер. Он каждый третий день после представленья ходит пешком на острова! Гимнастическим шагом туда и назад, без шубы! Сумасшедший! Но он к часу ночи возвращается... Так вы все привезете, милый? Я вас так люблю! Страшно!.. Голубчик, привезите свежей икры! Немножечко! Я ее обожаю!

— Катя! — строго сказал Рыжков. Николай Сергеевич засмеялся и обещал привезти и икры.

— А пока позвольте поднести вам это, — сказал он, вынимая из под шапки бонбоньерку и заранее наслаждаясь эффектом. Эффектъ превзошел его надежды: от визга Кати минуты две нельзя было сказать ни слова.

— ...Потом, когда мы съедим все конфеты... Тут три фунта, да? Когда мы съедим все конфеты, я сделаю из этого шкатулочку... Зеркальце приклею, — говорила она, глотая одну конфету за другой; она их, повидимому, и не разжевывала. — Алешенька, вы все умеете, вы мне устроите перегородочку: тут, где ананас. Это можно?

— Можно. Все можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артистке нельзя, потому что... — начал Рыжков. Она тотчас его перебила.

— Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно! А я только сегодня! Ах, какая чудная бонбоньерка! — сказала она, видимо, наслаждаясь не только вещью, но и ее названьем. — Просто прелесть! Я уверена, вы дали пятнадцать рублей, правда? Вы не скажете, потому что вы такой светский. Но я страшно вас люблю, вы милый, милый! — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. От нее пахло шоколадом, одеколоном. — Все еще холодный!..

— А теперь, Николай Сергеевич, извините, вам

надо уходить, — сказал Рышков. Издали уже доносились трубные звуки.

— Ах, да. У Карло сегодня двойное сальтомортале? — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотелось. В этом трико вблизи он еще никогда ее не видел.

— Избави Бог! — испуганно сказала она. — Позавчера было последнее. Нет, сегодня только «Венгерская Почта», потом мой выстрел, а потом пантомима «Сон Фараона».

— Вы волнуетесь?

Она опять залилась смехом. «Это плохие писатели говорят: «серебристый смех», а ведь, действительно, точно серебро звенит»...

— Какой вы глупый!

— Катя! — еще строже сказал клоун.

— Он не обидится. Он знает, что он умен. Вы страшно умный, в сто раз умнее меня, но в цирке вы, милый, не смыслите ничего. Выстрел это пустяки, никакой опасности, падаешь на сетку, как на постель. Это мы в России выдумали, говорят, заграницей они еще выстрела не знают, такие дураки!.. А вот, когда у Карло проклятое двойное, я дрожу, как осиновый лист: нет ничего проще убиться. А тут он еще себе вбил в голову тройное сальтомортале! Он сумасшедший, Карло!..

«Из за чужого она верно не дрожала бы как осиновый лист... Еслиб Карло разбился, она наверное досталась бы мне», — неожиданно подумал Николай Сергеевич. «О т б и в а т ь» ее у другого было, по его понятиям, недостойно. — А может быть, я б о ю с ь его?» — с еще более неприятным чувством спросил он себя. — «Нет, не боюсь, хотя он страшный человек»... Мамонтов опять поцеловал руку Кате и простился.

— Значит, через полчаса после выстрела в фургоне, — сказал он. — Да, я найду, я помню, гдѣ ваш фургон.

Когда он занял свое место, Карло Диабелли уже стоял на арене с длинным бичем в руке. Музыканты на балконе играли старенький, милый общеизвестностью галоп. Первая лошадь из белой шестерки перескочила через низкий барьер и размеренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно поворачиваясь на каблуках, Карло следил за ней взглядом. Когда она поровнялась с ним, он без заметного публике разбега вскочил на седло и нашел равновесие, наклонивши к центру арены свое сжатое, точно ставшее более коротким тело. Это была единственная трудная часть «Венгерской Почты». Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поровнялась с первой и пошла рядом с ней. Карло перенес одну ногу на ее седло. Третья лошадь прошла между двумя первыми, под его ногами; он на ходу подхватил и развернул ее поводья. Через несколько минут Карло, стоя на двух лошадях, правил всей шестеркой, скакавшей цугом по краю арены и все ускорявшей ход. Продѣлав последний тур, он спрыгнул на песок, побежал наперерез шестерке и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя, почти страша, точно невиданные звери, зрителей своей громадной величиной и мощью. Держась на задних ногах, перебирая в воздухе передними, оне медленно попятились к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карло. Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканиями публики. Этот номер программы всегда имел огромный успех, но Карло им не гордился. Двойное сальтомортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно оваций не вызывало.

Шесть служителей в красных ливреях с позументами, изображая величайшее напряжение, выкатили на арену громадную пушку из выкрашенного под бронзу дерева, затем закрепили против нее на столбах сетку. Карло внимательно проверил столбы и попросил

публику соблюдать полную тишину. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил, почти без акцента, мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантией, выбежала Каталина Диабелли. Ее встретили рукоплесканьями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантию, побежала навстречу Карло. Он высоко поднял ее. Затем, держа над головой ее ставшее прямым как палка тело, понес Каталину к пушке. Ее сапожки вошли в дуло, — кто-то ахнул, — она исчезла в дуле с головой. По залу пронесся восторженный гул. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой, незаметно положил руку на пугач, приделанный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины, и стал очень медленно считать: «Раз!»... «Два!»... «Р-ри!»... Отпустив пружину, он выстрѣлил. Каталина вылетела из пушки, пронеслась над ареной и упала в сетку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с ревевшей публикой.

Часть вторая

I

— Locarno! Piazza Grande! — прокричал кондуктор. Мамонтов встал и взвалил себе на плечи купленный в Цюрихе дорожный мешок. На нем был костюм альпиниста, придававший ему, по его мнению, несерьезный вид. «Эти идиотские чулки — просто второе детство. А альпеншток на ровном месте совершенно не нужен и делает человека смешным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это по крайней мере было занятие»... Николай Сергеевич был в хорошем настроении духа, несмотря на то, что ноги у него горели, а плечи были натерты ремнями мешка. Он вышел и остановился в восторге, окинув взглядом площадь. «Да ведь это Италия! Точно в другую страну переехал!»

День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас делать?» — нерешительно спросил себя Мамонтов. Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы Бароната, но лучше было сначала устроиться, умыться, отдохнуть. «Конечно, теперь ехать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доеду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут слипаться глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человеку в обеденное время. Городок крошечный, но, верно, и тут найдется какой-нибудь Отель Бориваж или Вилла д-Англетэрр. Сегодня я имею право на хороший обед. Говорят, в итальянской Швейца-

рии есть недурные вина, и кормят будто бы гораздо лучше, чем в немецкой»... Он вспомнил о петербургских обедах, о водкѣ, об икре, но тут же решительно себе подтвердил, что нисколько не сожалеет о своей поездке. «Когда, постранствуя, воротишься домой, — И дым отечества»... Всѣ у нас кстати думают, что дым отечества это из Грибоедова. А Грибоедов это взял у Гомера как нечто общеизвестное... Месяца три-четыре можно провести и без дыма отечества и даже без отечества»...

В Цюрихе Мамонтов узнал, что Бакунин живет в Вилле Бароната, расположенной на Лаго Маджоре, по близости от Локарно. Николай Сергеевич доехал до Флюэлена на пароходе, там переночевал и на заре отправился по Локарнской дороге пешком. В мешке были туалетные принадлежности, перемена белья, мольберт, кисти, краски. Были еще съестные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра: на первом же привале он съел все, что взял с собой в дорогу. Хотел было после завтрака поработать, но так и не вынул кистей из мешка. Дорога была на редкость живописна, один грандиозный пейзаж следовал за другим и не было оснований предпочесть один другому. «Может быть, дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присест не мог бы ничего набросать. Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков»... Затем его нагнал дилижанс, в котором оказалось свободное место, и только теперь в Локарно Николай Сергеевич почувствовал, что ему очень наскучили красоты природы и что его начинает утомлять Швейцария, по крайней мере немецкая, с ея Швейцергофами, Бориважами, Бельведерами, Эспланадами. «Право, люди творят не хуже природы! Как хороши эти линии аркад! А эта церковь на горе! Колокольня немного высока для фасада... Вот где бы поселиться до конца дней!» — подумал он без уверенности: вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и

колокольня, и весь этот городок, по ошибке попавший сюда из Италии.

Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинице. Аптекарь, живой, бойкий старичек, свободно говорил по-французски, с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрел Мамонтова, очевидно расценивая его финансовые возможности. «Кажется, расценил их весьма низко», — подумал Николай Сергеевич.

— Наш городок мало посещается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов, — сказал аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортам.— Больших гостиниц у нас нет. Рекомендую вам **Albergo del Gallo**, очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?

— Я завтра думаю уехать, — ответил Мамонтов. «Что, если его и спросить? Еще, пожалуй, в гостинице ни по-французски, ни по-немецки не понимают. Мы в свободной стране, конспирация тут и вправду не нужна». Не можете ли вы мне сказать, где находится вилла Бароната? Я знаю, что это на озере и близко, но как туда проехать?

Аптекарь вышел из за прилавка и, к удивлению Николая Сергеевича, протянул ему руку.

— Вы друг Микеле Бакунина? — спросил он. — Я тоже его друг и поклонник. Когда он приезжает в Локарно, то всегда заходит ко мне. Разумеется, я могу вам объяснить, я сам там бывал много раз. Туда можно проехать на лодке, это чудесная прогулка: одна из самых прекрасных частей Лаго Маджоре, — опять строго сказал он, точно Мамонтов это оспаривал. — Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти и пешком. Так вы друг Микеле? — снова спросил он, радостно улыбаясь. — Это великий человек! Мы все его обожаем. Мы ему немного и помогали, кто как мог, когда

ему приходилось совсем плохо. Теперь его дѣла поправились, и он купил эту виллу.

— Разве это его вилла? — удивленно спросил Николай Сергеевич. «Кто же это мы? Аптекари? Локарнцы? Анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?»

— Его и Каффіеро. Это тоже мой друг. Когда вы хотите ехать к Микеле?

— Сегодня уже поздно. Я хотел бы завтра, скажем, часов в девять?

— Еслиб сегодня вечером, я, пожалуй, поехал бы с вами, — с сожалением сказал аптекарь. — Завтра утром не могу: я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов, я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас не дорого, а, может быть, даже отвезет бесплатно: он тоже друг и ученик Микеле. И хозяин **Albergo del Gallo** сдѣлает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле: хозяин тоже анархист. — Николай Сергеевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас вспомнил, что здесь такие слова можно произносить совершенно безопасно.

Они простились как добрые знакомые. Аптекарь сделал скидку на мыле, сообщив, что с в о и м продает без всякого заработка. «Я даже не сказал ему, что я с в о й», — с недоумением подумал Николай Сергеевич. — «Что, если бы я был полицейским агентом?»

Гостиница была живописная, — тоже такая, какой полагалось бы быть в Италии, а не в Швейцарии. «Живописность это конечно, но пообедаю я где-нибудь в другом месте», — подумал Мамонтов, поднимаясь вслед за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лестнице. Комната, впрочем, была хорошая: большая, с двумя окнами, с камином, в котором, над газетной бумагой и щепками, лежали дрова. Она стоила так дешево, что Николай Сергеевич не счел нужным ссылаться на Микеле. Он попросил затопить камин. Хозяин сказал, что обед будет готов часа через

полтора и что он стоит полтора франка: два блюда с сыром и вином.

— Если вам угодно, вам подадут обед сюда, — предложил хозяин. — Без всякой надбавки.

— О нет, я спущусь вниз, как только умоюсь, — ответил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсем довольный. Николай Сергеевич подошел окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад, с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висело белье. В садике была беседка со столиком и двумя стульями, и в этой беседке было что-то необыкновенно уютное и даже умилительное. «Вот бы что писать, а не Сен-Готард!» — сказал себе в восторге Мамонтов. — «Кажется, во мне пропадает «второстепенный фламандец семнадцатого века»... Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умилительные, чуть ли не средневековые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бельем на веревках. Николай Сергеевич сел в кресло, стоявшее у окна под старинным Распятием. К окну на уровне спинки кресла было на подвижном стержне прикреплено зеркальце. «Это зачем?» — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу, с обоими тротуарами. «Какая прелесть! Очевидно, местные кумушки так проводят время: шьют или вяжут в кресле и видят все, что делается на улице, а их самих не видно»... В зеркальце показалась тележка, запряженная клячей. Ею правил старик в сером балахоне и в странной фуражке. «Право, это русский стиль», — с удивлением подумал Мамонтов, — «чем не Рязань!» Действительно, в крупном, необычайно массивном облике, в широком лице старика, в его бороде, в фуражке и в балахоне, даже в том, как он сидел в тележке и правил лошадью, было что-то необыкновенно напоминавшее Россию, что-то старозаветное, барское, помещичье, даже степное. «А вдруг это Бакунин!» Сердце у Мамонтова немного забилось. Тележка подъехала к гостинице и останови-

лась, из гостиницы выбежал юноша. Старик в балахонѣ, с видимым усилием, вылез из тележки и оказался человеком исполинского роста. «Помнится, кто-то говорил, что Бакунин гигант? Или это Маркс гигант? Или они оба гиганты? Нет, не может быть, чтобы это был Бакунин»... Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему тележку, вошел в дом.

В дверь постучали. Немолодая, изсиня черная, служанка принесла два кувшина воды и полотенце. Она опустилась на колени перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрел на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тех случаях, когда на него работали женщины.

— Могу ли я вам помочь? — нерешительно спросил он. Но служанка по-французски не понимала. Николай Сергеевич подошел к ней и стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых, пожелтевших, газетах были названия: «Equaglianza»... «Fratellanza»...

— Как называется та церковь на горе? — спросил он как умел по-итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянскаго языка служанка тоже не поняла, но, быть может, по жестам, означавшим гору, или потому, что об этом спрашивали все, догадалась и радостно ответила, что церковь называется Madonna del Sasso. Николай Сергеевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не решился спросить, как зовут только что приехавшего великана. Дрова загорелись Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волнению.

Николай Сергеевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплесканья. «Это еще что такое?» — изумленно спросил себя он. Рукоплесканья продолжались довольно долго. Затем оттуда же стал доноситься мужской звучный, низкий голос. Разобрать слова было невозможно. «Конечно, это не разговор, а лекция или

речь... Да тогда, верно, это тот старик! Неужели в самом деле Бакунин!..»

Мамонтов поспешно оделся и, ориентируясь по голосу, пошел по уже полутемному коридору. На лестнице голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробежал на цыпочках тот самый юноша, с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свечами. Речь доносилась из комнаты, бывшей в конце другого коридора. Николай Сергеевич отправился туда. «Если спросят, почему я лезу куда не звали, скажу, что ищу столовую»... Но его никто ни о чем не спрашивал. Он, тоже на цыпочках, подошел к двери.

В узкой, довольно длинной, полутемной комнате за столом, положив на него огромные руки, сидел, уже без балахона и фуражки, бородатый великан. При слабом свете кончавшегося дня Николай Сергеевич не мог разглядеть его как следует. В комнате на стульях, на табуретах, на скамейке, принесенной, очевидно, изъ сада, разместилось человек двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейке и сел. Никто и здесь не обратил на него внимания.

Старик говорил что-то по-итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепетывал, повидимому, по недостатку зубов. Тем не менее, в каждом его звуке, в жестах, в необыкновенной внушительности речи, чувствовался замечательный оратор. Говорил он гладко, не заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, и лишь очень редко, в поисках нужного выражения, нетерпеливо морщась, щелкая пальцами правой руки, переходил на французский язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно подсказывали перевод французского слова. Слушали его все с благоговейным вниманием. Николай Сергеевич не понимал речи, но теперь уже не могло быть сомнений в том, что это Бакунин. «Какая сила! Да, это очень большой революционный оратор, не чета петербургским студентам! Что же это

за сборище? Неужели тут все анархисты? На вид мастеровые»... Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробежало по залу. «... Creare una minoranza dirigente e communicarre la scintilla rivoluzionara: le masse sarebbero venute poi!» — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присел на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. «Какая замѣчательная голова! Лев!» — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнате, впрочем, почти не стало светлее. При свете свечей лицо старика изменилось и теперь казалось грозным.

Николай Сергеевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудаче испанской революции. Повидимому, он приписывал ее провал тому, что революционеры слишком церемонились. «Что же надо было делать?» — с недоумением спросил себя Мамонтов. «О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачем жечь бумаги? Верно, я не так понял...» Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил бледный, измученный человек и принялся что-то разъяснять. На него неодобрительно зашикали. «Кажется, этот говорит по-испански... Да, х-х это испанский звук»... Старик тотчас тоже перешел на испанский язык, но на нем ему было говорить не так легко. — «Не понимаем», «не понимаем», — послышались жалобные голоса. Испанец, немного владевший французским языком, повторил свое объяснение по-французски. — «Свобода, равенство, братство», говорите вы?» — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябре что-то сильно зазвенело. Испанец испуганно замолчал и сел.

— Liberté, égalité, fraternité, — сопя, повторил старик и сердито засмеялся. — Liberté, égalité, fraternité! — Быть может, по рассеянности, он продолжал говорить по-французски. «Говорит совершенно, как француз, только р твердое. Как будто чуть

старомодно, так, верно, говорила русская аристократия в начале столетия. Может быть, царь так говорит», — думал, улыбаясь, Николай Сергеевич. Теперь он слушал очень внимательно. Старик издевался над республиканским девизом. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контрреволюция, что оно непременно будет использовано эксплоататорами против трудящихся. «В современном обществе работник — раб!» — закричал он так, что его наверное было слышно на противоположном конце дома. Юноша рядом с Мамонтовым вскочил и зааплодировал, за ним зааплодировали все другие. Старик, сказал более спокойно.

— Il faut avoir vraiment l'esprit mensonger de Messieurs les bourgeois pour oser parler de la liberté des ouvriers! Belle liberté qui les enchaîne par la faim à la volonté du capitaliste!.. Et la fraternité! Encore un mensonge! Je vous demande si la fraternité est possible entre les exploiteurs et les exploités, entre les oppresseurs et les opprimés? Comment? Je vous ferai suer et souffrir tout un jour et le soir, ayant recueilli le fruit de vos souffrances et de votre sueur, le soir, je vous dirai: «Embrassons nous, mes amis, nous sommes des frères!..»

Послышался смех. Старик, однако, даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. «Игра ли это?» — спросил себя Мамонтов. — «Нет, едва ли... С ним, очевидно, по душам не разговоришься. Но как же мнѣ быть? Подойти после окончания и передать ему письмо? Лучше это сделать через хозяина. И потом все-таки, вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революционер? Надо для верности спросить»...

— ...Мы, сторонники великой социальной революции, мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великие слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жиз-

ни! И для этого мы не остановимся ни перед чем! Сейчас перед нами великая задача разрушения! Многое погибнет! Гнилое должно погибнуть! Много крови будет пролито! — прокричал он. — Но я скажу, как один деятель Французской Революции: «Разве так была чиста та кровь, которая пролилась?»

Опять послышались рукоплесканья. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по-итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лице старика вдруг выступила детская, веселая и вместе чуть жалостная, улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергеевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнате не обратил внимания, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил в театральный зал. «Это, быть может, верно даже в настоящем смысле: ведь в самом деле тут за вход, должно быть, платят. Да, это новый, совсем новый мир», — думал Николай Сергеевич. — «Конечно, в Швейцарии революционеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотел, чтобы я обедал внизу. Верно, столовая тут где-нибудь рядом, а его голос слышен за версту... Вот он, хозяин»... Из отворенной хозяином двери донесся запах жареного мяса и лука. Николай Сергеевич только теперь почувствовал, как он голоден. «Ничего не поделаешь, придется отложить обед, но, разумеется, теперь я пообедаю здесь»... Он вынул из кармана письмо земского деятеля и, скрывая смущение особенно непринужденным тоном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд.

— Скажите, пожалуйста... — Он на мгновенье запнулся: слово «мосье» показалось ему неподходящим. — Это Бакунин? Если это Бакунин, то я хотел бы передать ему одно письмо из России. Я к нему и приехал... Не будете ли вы любезны сказать ему после его лекции? Ведь это Микеле Бакунин?

— Да, это сам Микеле Бакунин. Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?

— Нет, вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из России. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуста, скажите мне, я тотчас спущусь.

— Очень хорошо, — недоверчиво ответил хозяин без обращения. «Не знает теперь, кто я «мосье» или... Как анархисты называют друг друга?» — Николай Сергеевич, шагая через две ступени, поднялся в свою комнату, где теперь ярко горели в камине дрова, и зажег свечу на столе. Он очень волновался. Походив немного по комнате, Мамонтов, больше от нервности, снова вышел в еле освещенный далекой свечой коридор. Снизу снова донеслись рукоплесканья, на этот раз особенно долгие. «Кажется, он кончил. Сейчас разговор»... Николай Сергеевич безсознательно преобразился, стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человеком, страстно желающим освобождения мира. Он заметил это не сразу, но заметил. «Еще новый Мамонтов! Нет, нет, я ломаться не согласен! Буду вообще говорить возможно меньше. Постараюсь, чтобы говорил он», — подумал Николай Сергеевич, нагнувшись над перилами лестницы. Под лампой стоял тот же юноша. «Кажется, и он его ждет»... Через минуту донесся низкий баритон старика, теперь, впрочем, совершенно иной по тону: «Компатриот? Какой еще компатриот?» Внизу показался хозяин с зажженной лампой в руке. За ним следовал, окруженный слушателями, Бакунин. Они на ходу восторженно ему аплодировали. В эту минуту юноша выбежал вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее.

Николай Сергеевич вернулся в свою комнату. «Кажется, я тоже ошалел, как этот мальчик!..» Он бросил в мешок валявшееся на полу белье, зачем-то передвинул на столе свечу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смеясь, шел к его комнате тяжелой, грузной походкой. За ним, почти-

тельно улыбаясь, следовал хозяин с лампой. Увидев Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину.

— Михаил Александрович Бакунин? — спросил Мамонтов. — Очень счастлив познакомиться с вами.

Старик взглядéлся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу.

— Это вы компатриот? — спросил Бакунин, насмешливо-благодушно повторяя по-русски только что им употребленное французское слово. — Я тоже очень счастлив... А как, компатриот, ваша фамилия? Мамонтов? Ну, отлично, ведите меня к себе. Вы мне привезли письмо? От моих братьев? Может, и еще что-нибудь кроме письма?

— Я не имею чести знать ваших братьев. Письмо от... — Николай Сергеевич назвал имя-отчество земского деятеля.

— Кто такой? У меня на крещеные имена стала слаба память... А-а, — разочарованно протянул он, услышав фамилию, — он жив еще?.. Ну, хорошо, я с ним посижу, Джакомо, — обратился он по-французски к хозяину и взял у него лампу. — Это ваша комната? И камин горит, отлично! — сказал он, входя.

— Ради Бога, садитесь, Михаил Александрович, — растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал спиной к камину, заложив назад руки, осмотрелся в комнате и затем с любопытством уставился глазами в Мамонтова. Повидимому, впечатление у него было благоприятное. «Экий, однако, гигант! Я, кажется, не встречал человека крупнее»... Только теперь Мамонтов разглядел старика как следует. Все в нем было нечеловечески-огромно: рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее седоватыми волосами. От носа косо спускались резко обозначившиеся складки. Николая Сергеевича поразили его глаза, глубоко засевшие под густыми седоватыми бровями. «Как у хищного зверя? Впрочем, нет. Прекрасные глаза, но определить их трудно... Да, именно лев! Вот

бы его написать! И в этом рубище!» Бакунин был в самом деле одет очень плохо. На нем было что-то вроде плисового сюртука, — таких больше не носили, — и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах фланелевой рубашки и на брюках виднелась бахрома.

— Ну-с, давайте письмо, — сказал, сопя, старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампе и принялся читать, недобрительно покачивая головой. — «... Mon jeune ami Nicolas Mamontoff», — бормотал он. Прочитав короткое письмо, он при свете лампы еще раз вгляделся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную. — Ну-с, ладно, прочел и восчувствовал.

— Михаил Александрович, ч а й к у позволите? — спросил Николай Сергеевич и решительно на себя разсердился за это слово, показавшееся ему развязным. — Ведь здесь, верно, есть чай?

— Чай у них скверный, сколь я ни учил Джакомо. Но какой-же теперь чай? Вот что, друг мой, мы с вами тут пообедаем. Ежели у вас нет денег, это не беда. Я нынче богат. У меня есть десять франков, а обед у них стоит только полтора. Так что я вас, к о м п а т р и о т, угощаю. — Мамонтов так растерялся, что не сразу мог ответить. Очевидно, объяснив себе его смущение по своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мешок, на грязные башмаки и добавил: — А ежели у вас нечем заплатить за комнату, то я вам дам три франка. Три оставлю себе на табачек и на франкировку писем. У меня тут, впрочем, кредит, да и у аптекаря я могу взять, так что вы, компатриот, не тужите.

— Ради Бога!.. Напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете.

— Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту

честь, — благодушно ответил Бакунин. Он произносил «чешть». — Разве вы тоже при деньгах?

— У меня есть деньги... Я свои вещи оставил в Цюрихе, — невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика. — Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка... Значит, мы спустимся вниз?

— А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмигранты, простые люди, лучшие мои друзья. Один мальчуган мне нынче руку поцеловал! — смеясь, сказал он, — дурачек этакий!.. Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате... Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул. — У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.

— Ради Бога! — в третий раз сказал Мамонтов. — Позвольте мне... Вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!..

— «Живого Бакунина», — насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный. — Ну, и что-же из этого следует?

— Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?

Бакунин весело засмеялся.

— Отчего-же нет? Хотя, должно быть, здесь с сотворения мира никто шампанского не спрашивал!.. Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет. — Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас н а в е р н о е есть деньги, Мамонтов? У меня тут, правда, неограниченный кредит... Неограниченный так франков до двадцати. Однако, шампанское мне не по карману... Значит, два обеда и бутылку шампанского.

— А нельзя ли получить что-нибудь à la carte?

— Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего à la carte, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо... Два обеда, Джакомо, ему обыкновенную человеческую порцию, а мне м о ю. И пойди поторопись, мой друг, я голоден, как зверь... Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы?

— Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крепостного, — сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из под бровей, радостно ахнул и оживился.

— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он. — Как вы счастливы, что вы внук крепостного! (Зачем о н мне это говорит?» — с неприятным чувством подумал Николай Сергеевич). — Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше, действительно, насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного!

— Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт, — сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает.

— Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные к жизни и к смелому знанию теперь только внизу: работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними... В этом проклятый Маркс прав... Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали, — смеясь, вставил он. — Его почти никто не читал, кроме его немецко-еврейской своры, да еще меня, но вы, верно, слышали о нем? Он немец из евреев, самая скверная

из всех возможных национальных комбинаций... Вы не еврей? Нет? А то есть евреи с русскими фамилиями, вроде Утина. Слышали? Об этом индивиде можно бы целый меморий написать, и даже должно, да неохота и времени нет. Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик: ему всего лет семнадцать. Способный парнишка! Немцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев! Не во многом я сходился с покойным Герценом, а в этом сходился. Он тоже немцев не выносил... У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («хорошо бы, еслиб он перестал заниматься моим происхождением!» — с досадой подумал Мамонтов). — Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцем... Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл...

— Вы что-то хотели сказать о Марксе.

— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю! Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно.

— Однако, вы сами дворянин.

— К несчастью! — сказал Бакунин. — И даже столбовой: пятнадцатого века. Поэтому верно и накопилось во мне столько всякого дрянца! — Он засопел и тяжело вздохнул.

— И среди немцев, должно быть, есть прекрас-

ные, подлинные революционеры, — сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью.

— Немцы?.. Подлинные революционеры?.. Да где вы это видели?..

— Уж будто нет? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения.

— Клянусь, ни одного!.. Я ни одного не встречал!.. Ни единой живой души... Ведь я их всех знаю!.. Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. — Немцы революционеры!.. Ох, уморил!.. Молода — в Саксонии не была... А вот я в Саксонии б ы л а. Даже была там приговорена к смертной казни!.. Нет, брат, немец и революция это идеи невместные. Ежели у них когда произойдет революция, то это будет одна уморушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают... Разве только чуть-чуть подозреваютъ? Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Ну, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их Фатерланд, тысячу раз воспетый их собственными поэтами, — какой же чужой поэт будет их Фатерланд воспевать? Хотя нет: едва ли подозревают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?.. Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауер. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочинения Шопенгауэра и сделайте из них livre de chevet... Как это по- русски, я свой язык стал позабывать.

— Настольная книга. Шопенгауэр меня не интересует. А вот этот Маркс?

Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.

— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?

— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал, да не совсем кончил, что-то помешало, последних глав не прочел.

— И напрасно, — сказал Бакунин, опять засопев. — «Капитал» замечательная книга. Я ведь ее переводил... Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история... Конечно,вы слышали?

— Нет, не слышал. В чем дело?

— Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, все его лакеи, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и чорт знает кто еще. Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет? И на мне много, ох, как много! — сказал он, сопя. — Но этакие подленькие штучки это их специальность. Это их система политической борьбы... Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают: делают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нет! Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ! — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник. — Хотя и грех то, что я говорю... Нет, нет, надо быть справедливым... Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замечательная голова. Я не встречал человека ученее, чем Маркс, и я многому у него научился. Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист... Вы не удивляйтесь: это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с кото-

рым он, кстати, во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству.

— Но он хоть революционер. Вы не отрицаете?

— Не отрицаю. Ведь Маркс все-таки не совсем немец, как мой Рабинович не совсем русский. Да, да, я признаю, он предан классу работников, он имеет большие заслуги, все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедлив. А все-таки душа у него маленькая. И хотя он предан классу работников, а в 1870 году он всей своей маленькой душой желал победы своему проклятому фатерланду... Ведь мы, международные революционеры, все в одном котле варимся и все друг о друге знаем. Я знаю наверное, что Маркс был в восторге от поражения Франции. Он это тоже как-то объяснял интересами работников: в фатерланде, мол, работники сознательнее. Да еще объяснял своей ненавистью к «Баденгэ»... Заметьте, кстати, ни один немецкий революционер в разговоре ни за что не скажет «Наполеон III», а непременно «Баденгэ», потому что такова у Наполеона была кличка в Париже, а ежели так говорят в Париже, то так и надо говорить, чтобы быть echt Pariser. Только произносят они не по парижски, а как-то необыкновенно мерзко: «П-пат-тенкэ», — старик очень похоже воспроизвел немецкий говор. — Маркс и ссылался на «Баденгэ», но я доподлинно знаю, что желал он поражения Франции не поэтому, а ради гегемонии его немецкого племени: гегемонии военной, политической и особливо культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели немцы разобьют французов, то его теория восторжествует над теориями Прудона. Что, кстати, и оказалось верно. Протестовать же против политики Бисмарка он стал только после Седана...

— Может быть, именно потому, что после Седана «Баденгэ» пал и война уже шла с республикой?

— Так марксиды говорят, — сердито сказал старикъ. — В действительности же, после Седана стало совершенно ясно, что Германия победила, что ге-

гемония германскому племени обеспечена и что, стало, уже можно протестовать. А Энгельс — чистокровный немец, человек туповатый, хоть ученый, — Энгельс после Седана просто именинником ходил, не хуже любого немецкого офицера. Приличнее других держался Либкнехт. Этот тоже чистокровный и уж совсем кретин, но он юго-западный немец, не то из Гессена, не то из Пфальца, чорт их разберет, и с детства помнит, что для его юго-западного фатерланда внешний враг не столь француз, сколь пруссак... Ну, а ежели Бисмарк объявит войну России, то все они распоясаются и совершенно потеряют стыд: Маркс хоть запрется на ключ у себя в кабинете, чтобы никто не видел, и там помолится Богу или чорту о победе Бисмарка. А чистокровные и запираться на ключ не станут: в солдаты добровольцами пойдут! И, разумеется, объяснят очень подробно, почему интересы Фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работников. Книги об этом напишут: глупые, бездарные книги о том, как они с первого дня все предсказали! С тех пор, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказывают, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказание сбылось. Но Боже избави им об этом сказать! Ежели что не сбылось, то вот по каким причинам, а то непременно, ей Богу, случилось бы именно так, как они сказали! Сам Маркс, впрочем, отлично знает им цену. В душе и Энгельсу знает, да не скажет, всегда его хвалит. Энгельс богатый человек и кормит его... Это тоже может быть только у немцев: глава партии работников — промышленник и был членом Манчестерского биржевого комитета! Английские биржевики очень его любят, и он их очень любит, и в их кругу прожил лет двадцать, пил, ел, то он у биржевиков, то биржевики у него! А тайная, великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дело. Он убежден, что он великий стратег и тактик, вроде как Мольтке, только, по воле злой судьбы, попал не в генеральный штаб, а в Интернационал

и на Манчестерскую биржу: не повезло. Одно в нем хорошо. Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поит, и даже, кажется, этим не попрекает. Маркс, разумеется, другого полета птица. Этот не биржевик, нет! Не сомневаюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всех других членов Санхедерина. Но, в благодарность за кров и стол, он подарил Энгельсу половину паев в своем учении. Впрочем, не половину, а, скажем, сорок процентов. И, разумеется, тут с его стороны риска мало: потому всякий, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот немец не мог написать «Коммунистический манифест», произведение весьма замечательное. Он в их акционерской фирме имеет, по существу, разве каких-нибудь десять процентов. А других Маркс держит по той же причине, по какой когда-то Рашель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человек никогда с Марксом ужиться не мог бы и не мог. Вот, Лассаль был крупный человек, и, верьте слову, Маркс ненавидел Лассаля гораздо искренней, чем ненавидел «Баденгэ». Не могу это доказать, но голову на отсечение дам, что тот день, когда убили Лассаля, был одним из счастливейших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сегодня. Да что, кстати, его не несут? Джакомо! — опять закричал он так, что Николай Сергеевич содрогнулся.

— Все-таки, в Германии Либкнехт и тот другой, Бебель, очень ругают Бисмарка.

— Ругают, пока Бисмарк не объявил России войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время. А когда война, то забудем все и объединимся для фатерланда, интересы которого всегда так чудесно совпадают с интересами международного класса работников. Они, впрочем, и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью: социализм социализмом, а очень хорошо, что у Фатерланда есть дурхлаухт фон Бисмарк и эксцелленц фон Мольтке... Вы думаете, я все это говорю оттого, что они мои враги? Да вот

возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колония в Цюрихе поделилась на лавристов и бакунистов, даже до мордобоя дошло в «бремершлюсселе». А разве я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели вы хотите знать, просто ...., — неожиданно произнес он не принятое слово. Николай Сергеевич засмеялся. — Ну да!.. Очень исправный был полковник, полковником бы ему всю жизнь и оставаться: командовать дивизией Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов позитивистический поп, и больше ничего. Но ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкие низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихии, я, разумеется, отвечу: нет, не способен, нет, не купается... Вот несут обед! Благодарите судьбу, а то я вас заговорил! Я и Герцену, и Маццини, и Прудону, и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они все были мастера поговорить.

Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил. Знал и как ее зовут, и кто ее родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Девушка радостно вспыхнула. Николай Сергеевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампе.

— Неважная марка.

— А вы знаете толк?

— Когда-то знал... Ну, вот что: мы должны выпить на ты! Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Nicolas, а ты меня зови Michel. Меня все бакунисты зовут Мишелем. А за глаза, подлые, говорят: «старик». Число же мое в шифре: 30... Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мной на ты?

— Помилуйте, такая честь! — ответил Николай Сергеевич, действительно, не ожидавший, что будет на ты с Бакуниным.

— Да что ты все так странно говоришь: «честь», «удовольствие»! Что за вздоры! Ты человек и я человек, ты революционер и я революционер.

— Почему же вам известно, что я революционер? — с улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергеевич, впрочем, уже понимал, что Бакунин один из тех людей, которым физиологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина.

— Ежели бы ты не был революционером, то зачем бы ты ко мне пожаловал? Зачем ты бы мне сделал «честь»? Ты тогда запасся бы рекомендациями в какую-нибудь амбассаду, а не ко мне. Мне все буржуа давно изрекли анафему, чему я сердечно рад. Ну, твое здоровье, Nicolas. — Он чокнулся с Мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился. — Дрянное шампанское!.. Вот макароны у них первый сорт.

Он поднял крышку огромного блюда. Николай Сергеевич ахнул, увидев гору облитых томатовым соусом макарон.

— Господи!

— Не поминай всуе имени Господня... Что, много? Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну, ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ешь, но за едой рассказывай о себе все: кто ты, откуда, что за человек, какие твои убеждения, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все.

— Да как же все это рассказать?

— Так просто и рассказать, — сказал Бакунин, навалив себе в несколько приемов на тарелку нечеловеческую порцию макарон. — Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычек... Вот так... Ну, будем здоровы. Теперь ешь и рассказывай.

Николай Сергеевич ел с аппетитом и, к собственному удивлению, действительно принялся рассказывать «все». Рассказал о своих родителях, о своем детстве, о гимназии, об университете, о смерти отца. «Потом будет совестно... Или вправду у меня от вина развязался

язык? Вздор, от нескольких бокалов! Должно быть, в самом деле он так действует на людей»... Он изредка вставлял замечания вроде: «Не надоело еще? Ведь это совершенно не интересно»... — «Рассказывай, рассказывай, нечего», — сердито-ласково отвечал Бакунин, слушавший очень внимательно, иногда даже задававший вопросы с любопытством, очень лестным Мамонтову. Николай Сергеевич почти дошел до встречи с цирком, — «неужели и об этом рассказать?» — когда кончились и вино, и макароны. Горничная как раз принесла две тарелки с буфштексами, из которых один был тоже невиданных размеров.

— Да что ты удивляешься? — благодушне спросил Бакунин. — Ведь во мне без малого три аршина, восемь пудов живого веса. Надо же мне есть. Я редко ем мясо, а вина почти никогда не пью: финансы не дозволяют. Зато, когда заказываю бифштекс, то свою порцию: они считают по божески, тольке за две порции, потому что хозяин меня любит. Ему кормить меня чистый убыток, а тебе тем паче... Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще... Ты жженку любишь?

— Люблю.

— Вот и отлично. Я не то, что люблю, но она мне напоминает Россию и молодость. Впрочем, здесь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами: уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скверного рома.

Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал Мамонтов, заказал ей все необходимое для жженки. Горничная слушала его с восторгом; она видимо его обожала, как все в этой гостинице. Когда она ушла, Бакунин с тем же аппетитом принялся за бифштекс.

— Герцен тоже всегда изумлялся моим порциям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!.. Он думал кстати, что он гастроном. А на самом деле аппетит у него был как у старушки, и он все заливал мерзким

английским соусом, так что настоящие гастрономы на него смотрели с отвращением, а на меня изумленно. Вот, например, Вырубов, тот самый, Контовский поп, — пояснил он видимо довольный своим определением. — Ну, хорошо, ешь и продолжай. Ты очень хорошо рассказываешь.

«Сказать о Кате или нет?» — спросил себя Мамонтов и решил не говорить.

— Да что же все я и я? Мне вас слушать хочется.

— Не ври. И не «вас», а «тебя». Я поговорю потом, когда поем как следует. Тогда тебе слова не дам сказать... Ты начал об отце, я знавал таких людей как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, рассказывай.

Узнав, что Николай Сергеевичу досталось от отца наследство, Бакунин по детски наивно раскрыл рот.

— Так, значит, ты богатый человек?!

— Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наследство под запретом и тяжба, — ответил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состояния на революционные цели. — Наличных денег у меня немного, да и те я взял у купца-процентщика под вексель.

— Ну, хорошо. И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергеевич засмеялся.

— Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину... Я знаю, вы не любите искусства. Правду мне говорили, будто вы, когда руководили дрезденским восстанием, устроили пороховой склад рядом с Сикстинской Мадонной?

— Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым немцам советовал тогда поставить эту самую Сикстинскую на валы, чтобы пруссаки не посмели стрелять: они для этого zu klassisch gebildet. Впрочем, только тогда, когда дело идет о Мадоннах, принадлежащих им самим. Чужих Мадонн им не жалко. А ежели говорить правду, то все эти Мадонны ерунда. Из ты-

сячи людей девятьсот девяносто девять восторгаются ими неискренне. И ни один человек от них счастливее не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпеть не могу лжи... Впрочем, у меня тут противуречие: музыку я очень люблю... Ты Вагнера знаешь?

— Композитора Вагнера?

— Да, композитора. Это один из самых поганых немцев, каких я когда-либо встречал. А я, брат, поганых немцев знал на своем веку видимо-невидимо. Но музыкант он гениальный, самому Бетховену вровень. Я его «Увертюру» к «Тангейзеру» могу слушать часами подряд, как Бетховена.... Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в немецких революционных делах. Он тогда тоже называл себя революционером. Но меня посадили на цепь и приговорили к смертной казни, а он, разумеется, во время улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из немецких королей, немножко более сумасшедшему, чем другие. Вагнер часто спорил со мной об искусстве и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить: больше дурачился, конечно. А он только жалостно ахал и охал: «Aber nein, lieber Genosse Bakunin! Nein, nicht die Musik!»... Почему это я вспомнил о Вагнере? Ох, стар я стал: все позабываю.

— По поводу моей живописи.

—Да, да... Тут ничего тебе присоветовать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь? Или фрукты? Теперь в Париже молодые художники все пишут фрукты.

— Нет, не дам и не фрукты, — обиженно ответил Мамонтов. — Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина.

— Неужто? — радостно воскликнул Бакунин. — Вот это хорошо! На это я тебя пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человек, нам всем до него далеко: и Марксу, и Маццини, и мне, грешному.. Я всегда думал, что разбой самая отрадная и почетная страница всей народной жизни. В России толь-

ко разбойник и был настоящим революционером!.. Ну да, ты носа не вороти! А то кто же: декабристы, что ли? Или Герцен? Герцен был либеральный барин, сибарит, фрондер и чистоплюй, вообразивший себя революционером, вот как он воображал себя гастрономом! Умница был, талантливейшее перо, но революционер он был курам на смех. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революционера вещь вреднейшая и невозможная... Это прекрасно, что ты написал Стеньку! Прощаю тебе то, что ты занимаешься живописью. Где же ты его изобразил? В каком антураже?

— На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина... Помните?

— Конечно, помню! Стенька — мой любимец. Что-ж, ты верно многое приукрасил, а? Он тогда на Шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил?

— Смягчил, конечно, — нехотя ответил Мамонтов.

— Почему «конечно»? И почему «смягчил»? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем дон-кишотствовать?

Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать? Хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него Рембрандтовские, какой-то clair-obscur, как будто серые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видел такого «зеркала души»... А на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии поручик в отставке, с разными «петербургскими действами» в прошлом. Может быть, Орловы были такие? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего доброго, нельзя будет вернуться в Россию», — подумал Николай Сергеевич.

— Стенька не только вешал людей, но и пытал их, и на кол сажал, — сказал он. — Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете «дон-кишотствовать».

— Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее весь день, всю ночь... Сидел в казематах Кенигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел! Пытать меня не пытали, но в Алексеевском равеллине я каждый ден ждал пытки, особливо в начале. При Николае очень просто могли прогнать сквозь строй: я ведь еще раньше был лишен дворянства... У меня есть за что им мстить! Но для такого глубокого чувства, как мщенье, в моем сердце, к несчастью, нет места. Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем.

Николай Сергеевич изумленно на него взглянул: так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало.

— Хорошо же ваша «отходчивость», — сказал он, улыбаясь не совсем естественно: выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке. — Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней? Каких же «их» вы перережете? Александра Николаевича зарежете?

— Какого Александра Николаевича?

— Царя.

— А ты как думал? Его, разумеется, первым. Тебе, что, царя жалко?

— Все-же, как ни как, он освободил крестьян... Вопреки дворянам. Моих родных освободил, — сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую

в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.

— Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу»: ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как Россия. Тебе нет?

— Мне нет.

— Жаль. Очень сожалею... Нет, ты пока не созрел для революции, да еще мондиальной, — нетерпеливо сказал Бакунин.

— А вы верите в мондиальную революцию?

— Какое кому дело, верю я или не верю! Достаточно того, что я для нея жил и живу. Но, ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жестокие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. Да, ты, брат, видно, мягкосердого исповедания? Таким в революцию в самом деле носа совать не следует... Зачем же ты собственно ко мне приехал? — с недоумением спросил Бакунин. — Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции?

— Я сам не знаю, чего я хочу... Я всего хочу! Скажу правду, я поехал в Европу чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение. — Бакунин одобрительно кивнул головою. — Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотел было сказать «мыслить») против своего поколения.

— Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, ни были — а уж кому их и знать, как не мне? — мы, многогрешные, соль земли: без нас ей и существовать было бы незачем.

— Не знаю. Но во всяком случае я хотел побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотел повидать... Михаила Бакунина, — сказал Мамонтов, выражаясь не вполне естественно все оттого,

что он не мог выговорить: «тебя». — Я хотел бы узнать, к чему стремятся бакунисты?

— Ты мою «Государственность и анархию» читал? Первый том уже вышел.

— Нет еще. Я достану в Цюрихе, конечно, но...

— Ну, так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоело. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цель: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни...

— Вот как! «Черни»!

— Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений, составляющих настоящий порядок вещей. Полное и окончательное уничтожение классов, равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав, — сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслаждением закурил папиросу.

— А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень невежествен, я знаю, что мой вопрос смешит... Ну, мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нет, — уныло сказал Николай Сергеевич, — я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти?

— Прочти мою Лионскую программу. — Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: — Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданские, уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Богатые классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента...

— Так ведь это значит: другой парламент, другой

суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство?.. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?

— Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для чорта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедрине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все ест. Он ведь только дал ш т а н д п у н к т. — саркастически сказал Бакунин, — а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штандпункт же у него такой, что и толковать и применять может каждый дурак: вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание произошло в е г о время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском Музее, и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в Британском музее... Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в бесстыжие глаза. Маркс в тысячу раз умнее и ученее всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию! — Бакунин опять захохотал. — Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мондиальную революцию с Либкнехтом, скажем, во главе! Или еще лучше, провизорное правительство с гнуснецом Борхгеймом!.. Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнуснецы, то революция погибнет, верь моему слову.

Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бу-

тылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение, со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергеевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.

Они выпили по бокалу горячего напитка, который показался Мамонтову очень крепким: Бакунин вылил в ведерко чуть не половину бутылки рома. Николай Сергеевич похвалил жженку.

— Да разве это настоящая жженка? — сказал Бакунин. — Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кем перехожу на ты, кого принимаю в наше братство, с тем пью жженку. Ну, брат, будем здоровы...

— Ведь я еще в братство не принят.

— Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? — Он полез в карман сюртука и вынул кучу стареньких потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них: «Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la présentation de .... le porteur de cette carte .... né en .... originaire de .... profession de .... a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50». Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совѣт Интернационала был 76, конгресс Юрской федерации 153... Постой: а не 135? — Он задумался, вспоминая. — Нет, кажется, 153... Ох, становлюсь стар, все позабываю, — сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.

— А что если я все это немедленно сообщу Третьему Отделению? — смеясь, спросил Мамонтов.

— Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во первых, у тебя рекомендательное письмо. А во вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиогномиях. Ведь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?

— Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общие цели бакунистов, но какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом деле примете меня за агента Третьего Отделения.

Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.

— Я тебе скажу. Верю тебе, у тебя душа молодая и честная. Ты с норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.

— Да ведь только что было восстание в Испании и не удалось. И ваше восстание в Лионе не удалось, и еще....

— И еще будет десять восстаний и тоже не удадутся, — нетерпеливо перебил его Бакунин. — А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и «Баронату» купили для этой цели.

— Что такое «Бароната»? Мне еще в Цюрихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь... Так эта вилла имеет отношение к восстанию?

— А ты как думал? Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к чорту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид — очарованье! С Премухиным может сравняться!.. Премухино это наше Бакунинское имение в Тверской губернии, где прошла

моя юность, — со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминание о Премухине. — Я в этой Баронате впрочем заодно фрукты развожу и разное другое. Ты Eucalyptus Globolosus знаешь? Великолепное австрлийское дерево и растет здесь не по дням, а по часам. Вот вправду скоро, за старостью брошу публичные дела и займусь сельским хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Разве я не имею права на отдых?

— Как не иметь? — ответил, смеясь, Мамонтов. — Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик.

— Помещик не помещик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! — сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся. — Так мне это напоминает Премухино и Россию!.. Ведь ни Премухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора...

— Как же умирать, если вы хотите поднять восстание? — смущенно заметил Мамонтов. Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет. — Но какая же эта вилла?

— Маленькая старая вилла на холме над Лаго Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна... Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.

Мамонтов вытаращил глаза.

— Зачем же к озеру идти подземным ходом?

— Как ты не понимаешь? — раздраженно спросил Бакунин. — В «Баронате» у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку и поминай как звали.

— Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе.

— Найдем куда бежать! Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции: до того, как полиция нагрянет, мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лаго-Маджоре итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие — мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию.

— Да сколько на лодке можно переправить оружия? Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск.

— Я тебя, брат, не учу как краски класть на картине. Что-ж ты Бакунина учишь, как делать революцию! — сердито сопя, спросил старик, очевидно не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм. — Молод ты, брат, меня учить!

— Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имел...

— В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазия и лишь одна четверть действительности. Этого только Маркс в Британском музее не понимает! — сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его опорожнил. — И все-таки революция будет! Будет мондиальная, универсальная революция! Злая шутка, что я до нея не доживу и что не я буду ею руководить! Но это все равно, к о м у выпадет счастье: Бакунину ли, Стеньке ли али кому другому! Лишь бы слились в России две могучие стихии: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мир!

— Ну, хорошо, — нерешительно сказал Николай Сергеевич. — Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?

— Присутственные места сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью. — Лицо у него вдруг передернулось. — Их сожжем в первый же день!

— Архивы? Если я правильно разобрал по ита-

льянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг? Почему это имеет такое значение?

— Сожжем в первый же день! — угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой. — Как ты не понимаешь? Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения, — пояснил он, мотая головой. — Разумеется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! — «Кажется, у него это мания», — подумал Мамонтов, с недоумением и испугом глядя на бледное, дергающееся лицо старика. — И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир!

— А когда каша будет сварена и съедена?

— Что же ты хочешь сказать?

— Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося, сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире, будет домик, курица в супе и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин?

— Дальше что? — переспросил озадаченно старик. — Дальше я сейчас не заглядываю. — Он засмеялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. — Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала... Ты мне нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей квартере, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам.

— Вы уезжаете? Ах, ты, Господи! — сокрушенно сказал Николай Сергеевич.

— Так что же?

— Как что! — Мамонтов вздохнул. — Значит, первый блин комом. Ведь я хотел написать ваш портрет, — сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».

— Вот, значит, для чего ты ко мне приехал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»... Тогда подожди меня, братец, здесь. Я через недельку вернусь.

— Нет, я лучше снова к вам приеду, — ответил Николай Сергеевич. «Если он говорит «через недельку», то может приехать и через три, а ты его жди в это дыре!» — подумал он. — Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в Баронату дня на три-четыре, чтобы работать целый день и написать вас, как следует. Согласны?

— Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу... Я шучу, приезжай, всегда буду рад.

— Однако, вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я, действительно хотел научиться у вас.

— Хотел? Больше не хочешь?

— Хочу, конечно, — ответил Мамонтов. Как ни интересен был ему Бакунин, он понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы. — Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.

— Ты, что-ж, думаешь, я ее люблю! — сказал Бакунин. — Терпеть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.

— Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя... Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю... Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: «возьмите меня». Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке.

— Ну что-ж, твое дело. Насильно мил не будешь...

Хорошо, хорошо, не протестуй... Так ты спешишь в Париж? Фрукты писать? — насмешливо спросил Бакунин. — А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.

— С вами работать? С кем же и над чем?

— Над чем, я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафиеро. Не слышал о нем? Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции. — Николай Сергеевич вспыхнул. — Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революции не сочувствуешь? Жаль.

— Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.

— На деньги Кафиеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачек есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только: болеть стал! Это, братец мой, последнее дело.

— Что такое? Какая болезнь?

— Разные верно, а, главное, сердце ожирело и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо: надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нет.

— Михаил Александрович, возьмите у меня денег! — горячо сказал Мамонтов. — Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что... Потому что этого никто не делает. Но...

— Не говори никто: вот Кафиеро отдает.

— Кафиеро я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да я и сам ведь не знаю, кому сочувствовать...

— Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины тво-

его нехотения не вхожу. Не отдаешь — твое дело. Тут и объяснять нечего.

— Не отдаю, потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но еслиб вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше леченье, а? Вы мне сделаете честь.

— Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?

— Отлично, пятьсот.

— Возьму с благодарностью, вот приятная неожиданность! Надо еще выпить, — сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки. — Твое здоровье! — Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги. — Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю, кстати, долг заплачу. — Он вздохнул. — Странно, я всю жизнь брал взаймы справа и слева и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что меня за это ругали, сказать тебе не могу. Еще покойный мой друг-недруг Белинский ругал... Он, впрочем, сам брал деньги взаймы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь»! — с досадой передразнил кого-то Бакунин. — При чем тут честь? И что такое честь? «Мое», «твое»!.. Я своей жизнью, смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие и чтобы меня этим не попрекали, а?

— Да, разумеется!

— Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал мне о компатриоте, я подумал, что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть... Господи, у кого только я не брал взаймы! Помню, в Сиби-

ри я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их-то, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек... Как его звали? Забыл, сейчас вспомню... Ну, мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мне близким родственником. Поехал я к вице-губернатору, говорю ему: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы». Он заахал: «Да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии! Да и зачем вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут в глуши такие деньги и истратить не на что!» — «Тут, в глуши, говорю я ему в ответ, точно истратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги». И что же ты думаешь? Дал! «Ежели, говорит, на побег, то я не могу отказать. Получите»... Ты смеешься? Ну да, потому он русский человек. Немецкий вице-губернатор, небось, не то, что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову... Или вот, не очень давно, разозлил меня этот контовский поп Вырубов своими писаньями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что: было тогда полное безденежье. Что-ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии триста франков? Прислал! Потому он тоже русский человек... Да что ты хохочешь?

— От восторга, Михаил Александрович!

— Ежели-б ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам: ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю: и за обед, и за шампанское плачу я... Не спорь, слушать ничего не хочу!.. А на твои деньги я теперь разведу музыку, — добавил он, подумав. — Нет, я ни к доктору не

пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью! Разлюбезное дело!

Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал.

— Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны! — совершенно искренне сказал он. — Хотелось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно?

— Вредно? Конечно, вредно. А что мне не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу, уходили Сивку крутые горки.

— Не думаю: уж очень мощная сивка!

— Сивка, пожалуй, крепкая, да горки были очень крутыя... А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. Tu as le diable au corps et le poivre au c... Я люблю это выражение. Чего ты все гогочешь? Пора тебе, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мешком? А я пойду работать.

— Как работать?

— Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег: ведь я почти все франкирую, — не без гордости пояснил старик. — Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам... Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ: это все эмигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а, может, и нет: я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя. — Он ткнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту!» — подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику, — «самое

время устраивать восстание!» Бакунин неожиданно его обнял.

— Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! — сказал старик, сопя крепче прежнего.

Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное, — при желании это можно было найти и в Бакунине. «Однако, кто в нем отыскал бы э т о, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности: уж очень все титанично в Бакунине. И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью... Да, необыкновенный, необыкновенный человек! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простоте», — думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминание о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению, и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. «Зачем мне, собственно, ехать в Лондон?»

Мамонтов сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии: «Уж если Бакунин, то и Маркс. Но, прежде всего, нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет и письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. **Distinguons**. Для того, чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, ког-

да создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «уме-разуме»... Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным, и не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакунина не дали бы. Но «уму-разуму» у бакунистов не научишься, с их подземными ходами и мондиальной революцией, которую они развозят на лодке... Должно быть, это очень смешно, его Бароната», —улыбаясь, думал Николай Сергеевич. — «Как только такой умный человек может быть столь наивен? Ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим — Бароната!.. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж и там будет видно... Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое»...

Николай Сергеевич проснулся от угара: засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти рассветало. В окне против его комнаты светилась свеча. Бакунин сидал за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.

Часть третья

Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюммлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальную вниз», — подумал он. Юрий Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в доме, комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»

В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторых пор модно, после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем: он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском Вестнике» главы «Анны Карениной»: о ней теперь говорили в каждом доме столицы. «Нет, кое-что врачи все-же умеют лечить... Зубы, например, это бесспорно»...

Узнав, что у мужа болит голова и что он решил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла.

— В чем дело? Только от того, что голова болит?.. Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров... Кажется, у тебя жар! — сказала она, вглядываясь в усталое бледное, с воспаленными

глазами, лицо Юрия Павловича. — Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто!

— Къ сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены господами портными, — ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем.

— Ты простужен и очень простужен! — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. — Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катарры. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем.

— Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я решительно прошу, Софи, отправиться на бал.

— Ты «ни за что», и я «ни за что», — ответила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача. — Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумію: ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.

Дюммлер устало зевнул. Ему было известно, что в те, действительно редкие, вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. После недолгого спора был достигнут компромисс. Вместо двадцатипятирублевого профессора Академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черняковым и приглашавшийся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура», или, реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожное впечатление в доме и вне дома. Почему-то Дюммлеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении.

Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим; хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он, по своему благодушию, не сердился. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей, старой дворянской семье. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшийся генеалогией (он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества геральдики; в России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию и в душе только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексеевича, который, принадлежа к родовитой семье, был врачем, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были материалистами; Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал про себя. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюммлер никому не говорил. В политике он из материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич — передовые.

Был достигнут компромисс и по вопросу о бале: Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию, Дюммлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам, — «поэзия болезни», — подумала Софья Яковлевна.

— Пустяки, конечно, — уверенно сказал Софье Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышал-

ся кашель. — Сейчас в городе у всех инфлюэнца или, по крайней мере, насморк.

— Вы думаете, он может ныне выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он.

— Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровьи, — сказал Петр Алексеевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить кто-либо дорогое в этом богатом доме.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюммлера по имени-отчеству.

Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексеевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сделав над собой некоторое усилие: этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, вдобавок министра и тайного советника.

— Да, конечно, некоторый жар, — сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и, поспешно встряхнув термометр, объявил, что тридцать восемь с хвостиком.

— С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, — попробовал опять пошутить Дюммлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет.

— Обострение вашего застарелого катарра. Придется, Юрий Павлович, полежать... Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть! Служба не убежит.

Поговорив еще о Бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиной, уже без улыбки, объявил Софье

Яковлевне, что у Юрия Павловича, повидимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме, при крупозном воспалении легких, поднимут на ноги всю Академию.

— Не могу скрыть от вас, что температура 39,5. Вероятно, еще повысится к ночи, — сказал он и увидев ужас, скользнувший по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить: — Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца... Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошлаковым? Может, на счастье застану дома.

— Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже.

— Вы думаете, его так легко найти! Ведь ваш человек и меня застал случайно: опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.

Приехавший поздно вечером профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была 40,1. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи, вполголоса даже в гостиной, говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне безкорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять.

— Но все-таки, профессор, это опасно или нет?

— При общем состоянии организма Юрия Павловича, это довольно опасно, — ответил, немного подумав, профессор.

На следующий день в том обществе, в котором проходила жизнь Дюммлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шопотом говорить, что он умирает. Дюммлер имел множество знакомых и сослуживцев, и

среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни: «Он был вот. как сейчас мы с вами! Шутил и был весел». — «Ну, весельчаком он никогда не был»... Разговоры сводились к бессмысленному удивлению: был здоров — пока не заболел.

К общему облегчению, стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось.

Через неделю стали приходить более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полнозвучного шопота: «Слышали, умирает Юрий Павлович Дюммлер!» — новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме.

Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро товорили ему о некотором обострении его катарра. Мысль о смерти не доходила до сознания Юрия Павловича, то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из за полной внезапности болезни. Неизменно веселая улыбка жены, ее шутливые упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюммлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре). Однако, по тому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что приме-

нялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правде.

Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он, главным образом, от затрудненного дыханья, от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение: лечь повыше, лечь пониже — и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича, отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором оне с ним говорили, отчасти самой своей работой: в ней отсутствовала элементарная стыдливость, — как на беду, это были молодые миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальной, на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла: «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь 38. Молодцом». Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетание «вашего высокопревосходительства» с «молодцом», казались ему идиотскими. Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения, — он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвечали уклончиво или шутливо.

Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Павловна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что

по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. «Что такое мелкие — да пусть и не мелкие! — счеты по сравнению со здоровьем!.. А Василий Петрович, я знаю, сам больной человек, и тяжело, не то, что я»... Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось Адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально, — «размяк». Она, впрочем, и сама подобрела.

На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровьи Юрия Павловича (государь был заграницей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрыла удовольствие, тем более, что не сочувствовала политическому направлению наследника). Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал и что он сказал и что ему ответили. «Надо было его пустить ко мне!» — взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог бы навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох, — и тоже не навел.

Под вечер, после третьего консилиума, сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальной, забыв на столике термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика: 40,2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das möglich?» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить

некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным? Юрий Павлович старался и, к своему изумлению, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние: все сыну? нет, часть жене, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть от того, что не надел фуфайку!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. «Нет, не может быть! Ausgeschlossen!» — прошептал он.

— В чем дело? Отчего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати. — Что это? Ах, я раздавила термометр! Верно, та дура уронила?

— Я видел: 40 с половиной! — прохрипел Дюммлер. — Все обманывали! Зачем обманывали?.. Я умираю, да?..

Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить, хриплым шопотом произносил мало понятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагоприятный исход. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной. Дежурил в доме и Петр Алексеевич, упорно говоривший, что он был и остается оптимистом.

Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся бла-

гополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор.

— Сердце вчера особенно *пошаливало*, но теперь все обойдется, — сказал он (это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальную.

— Ну, вот, кончено! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малейшей опасности нет. Температура 36,8, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было, — весело сказала она. «Мысленная резервация» заключалась в том, что выше 40,2 температура действительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычной жизнью, которую вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать *обо всем* по настоящему. О чем именно, — это ей самой было не вполне ясно.

В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней — число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюммлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда, — и только вначале гости еще говорили испуганным сочувствующим шопотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала: когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна по-

слушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь, из за пропущенного времени, особенно интересный Софье Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает.

Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь з а б е г а л к Дюммлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа о вечевых собраниях была лестно отмечена в немецкой печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансии экстраординарного профессора: должность ему даже была почти обещана, — потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничем стать нельзя. Имя Чернякова не менее двух раз в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке). Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.

Четвертый консилиум признал, что опасность мино-

вала совершенно, и что больному необходим продолжительный отдых: надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс, — не столько из за миновавшего воспаления легких, сколько из за застарелых катарров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович, уже очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дело: вдобавок, он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюммлера.

— Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск, — сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью.

В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать, — по возможности легкие, не утомительные книги, — и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты:

— Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича, — сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все-же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз, через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов «денька через три» было тоже нечто весьма успокоительное.

Профессора уехали. Петр Алексеевич, ставший особенно в последние дни, своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дороге, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно. Тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. «Швальбах! Потом Швейцария, потом что-то еще!»... До

сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, — та, большей частью уютная, скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича.

Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были у в л е ч е н и я. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам впрочем был жене верен, частью из за переобремененности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью — еще больше, чем своим положением в обществе и богатством — он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лет у Дюммлеров создались ровные, спокойные дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был в с е - т а к и свой и самый близкий человек.

«Полгода быть сиделкой при больном!» — подумала она. В этом было новое проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете: ей в последний год казалось, что жизнь ее, в сущности, кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное д о ж и в а н и е. «Да, немного же мне было дано. Другим гораздо больше... За что это?.. Ничего не поделаешь: буду сиделкой... Но как быть с Колей? Отдать его в Лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты... Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сделать»... У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимани!»

В диванной на столе лежал «Русский Вестник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать», — подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении каза-

лось, что есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан... Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских!» — с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу.

— Вот, ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть «Анну Каренину», — сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора: совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, повидимому, человек, помещик, принадлежащий к хорошей титулованной семье, — русской, но через Остен-Сакенов породнившейся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штернбергами и даже косвенно с Кеттлерами, — вдобавок, кажется, дальний родственник графа Дмитрия Андреевича.

В спальной уже горела лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.

— Спасибо, моя милая, — сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене.

— Ну, что-ж, ты очень огорчен? Несколько месяцев наедине с женой, это ужасно, правда? — спросила она, наливая в ложку лекарства. — Выпей, пора.

Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство и поцеловал руку жене.

— Несколько месяцев? Да ты шутишь, — сказал Юрий Павлович слабым голосом.

— Не я: доктора так шутят.

— Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах, это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом: десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в

деревне или на море, это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться.

— Это даже нельзя считать расплатой: нам заграницей наверное будет очень приятно, — так же весело сказала Софья Яковлевна. — А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.

— Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах очень милое место... Ты знаешь, Софи, мое завещание находится у нашего нотариуса... И позволь сказать тебе: я хотел бы лежать на Смоленском Евангелическом кладбище, рядом с графом Канкриным...

— Хорошо, хорошо, — вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ея муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.

— Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но...

— Да, да.

— Государь наследник больше не осведомлялся?

— Нет, больше не осведомлялся, — ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. Юрий Павлович всегда говорил: «государь император», «государь наследник».

— А кто это приехал во время консилиума? Я слышал звонок.

— Это Миша. Я его оставлю к обеду.

— И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут, — сказал Дюммлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзия болезни»...

В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Анне Карениной».

— Я сегодня был в редакции «Голоса», — сказал, потягивая портвейн, Черняков. — Там говорят, что

Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.

— На здоровье, — ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек из слоновой кости. — Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами; вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам: ведь граф Толстой врачей не признает, — саркастически добавил он. — Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.

— Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь, — сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил «Анну Каренину», но в душе недоумевал: чем, собственно, восхищаются люди?

Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу.

— Какое, собственно, назначение этого странного предмета?

— Соня, милая, сердечно поздравляю, — обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре. — Петр Великий сказал, что, по общему мнению всего синклита, больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей.

— Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что в начале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.

— Когда же нам ехать, Петр Алексеевич?

— Я думаю, числа десятого мая уже можно будет.

— В Швальбах?

— Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И главное, уж очень в Эмсе шумно: это теперь самое модное место в мире.

— Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того...

— Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор?

— По слухам, съезд там невероятный, особенно из за того, что туда ездит государь. В Эмс бросились франты со всех концов мира.

— Да, правда, ведь государь в Эмсе! — сказала Софья Яковлевна. — Я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальбахе?

— Более или менее: углекислый натр, углекислый литий. Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на Nachkur, — заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер.

— Господи, как я задержался! Еще в два места нужно, — сказал смущенно доктор. — Значит, завтра, часов в одиннадцать?

— Да, пожалуйста. До свиданья, Петр Алексеевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.

Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Иметь на шее чужого скучного человека... Нужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия... Да, правда, люблю, и мне его очень жаль... Однако за что же мне послано это наказание? Впрочем, стыдно так думать»...

— Практика прямо изводит нашего Петра Великого! — сказал Черняков, возвращаясь в гостиную. — Он еще не может прийти в себя: на равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями!.. Впрочем, он отличнейший врач! Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно... Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в

Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!

— Николай Сергеевич? Ему-то что делать в Эмсе?

— Вероятно, cherchez la femme... Представь, он продал «Стеньку» и получил какие-то заказы на портреты!

— Почему ты думаешь: «cherchez la femme»?

— Я т а к говорю, зная нашего Леонардо... Теперь к тебе небольшая обычная просьба, — сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. — Билеты на концерт в пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять целковых.

— Я дам пятьдесят.

— Вот это очень мило. Не говорю тебе: приходи, так как, во первых, вы будете в Швальбахе, а во вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.

— Не сердись: это всегда очень скучно. Вперед знаю: сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанимент пьяненького Мусоргского, и, pour la bonne bouche, Достоевский прорычит Пушкинского «Пророка». Благодарю покорно.

— Достоевского, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вместе на одном вечере.

— Ты, Мишенька, с Достоевским?

— Да, я, Мишенька, с Достоевским... Он Достоевский, а я Черняков.

— Я ничего не хотела сказать... Разве ты его знаешь?

— Я хочу предложить ему совместное выступление. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы и вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих.

— Да ,я читала в газете, что ты избран в Комитет. Представь, вижу «профессор М. Я. Черняков» и

не сразу догадалась, что это ты! — сказала Софья Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствием думала, что именно слабостями он похож на нее, «хотя в другом роде». — Ты остаешься обедать. Надеюсь, ты свободен?

— Как птичка Божия. Мой университетский курс позавчера кончился, так что и к лекциям не надо готовиться.

— Твой курс кончился?.. Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль... Значит, до осени тебе нечего делать в Петербурге?

— Как нечего? Я всегда работаю для себя.

— Да, разумеется, но для себя ты можешь работать где угодно. Послушай, Миша, что еслиб ты поехал с нами?.. Это прекрасная мысль! Знаешь что? Ты ведь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрий Павлович болен, и я должна буду находиться часть дня при нем. Еслиб ты поехал с нами, я была бы гораздо спокойнее!

— Ты, что же, хочешь, чтобы я был гувернером при Коле? — обиженно спросил Михаил Яковлевич.

— Да нет же! Какой ты странный! Нам гувернер при Коле и не нужен, он отлично себя ведет. Но, вдруг, например, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юрием Павловичем? Вероятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Ну, а если ты, не как «гувернер», а как дядя, захочешь иметь общий надзор за его образованием, я была бы тебе вообще чрезвычайно благодарна. До сих пор этим занимался Юрий Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невежественна... Может быть, тебе и самому было бы полезно отдохнуть на курорте? Ты ведь тоже устал за год! А весь день у тебя оставался бы для работы, — говорила Софья Яковлевна, не заботясь о противоречиях в своих словах.

— Я право не знаю... Я собственно предполагал летом уехать недельки на три в Сестрорецк.

— Ну, вот видишь: «недельки на три». А так ты уедешь на самые жаркие месяцы года, будешь жить в хороших условиях. И, разумеется, еслиб ты согласился оказать мне эту громадную услугу, то я потребовала бы, чтобы ты взял деньги на свои личные расходы.

— Как тебе не стыдно, Соня!

— Нисколько не стыдно. Иначе это для м е н я неприемлемо. Что такое? — обратилась она к лакею, остановившемуся на пороге гостиной. Узнав, что Юрий Павлович просит ее к себе, Софья Яковлевна поспешно вышла из комнаты.

— Отчего же ты не спишь? — спросила она мужа. — Ведь они сказали, что первое и главное это отдых.

— Не могу уснуть... Я хотел узнать: ты спросила у Дмитрия Ивановича, к какому доктору в Швальбахе обратиться? Это очень важно.

— Он дал письмо к Фрериху. Это берлинская знаменитость. А Фрерих тебя направить к Эмскому врачу.

— Как к Эмскому? Ведь они велели ехать в Швальбах?

— Они велели в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс.

— Почему?

— Почему? Коле, говорят, в Эмсе будет гораздо лучше... Кроме того, Петр Алексеевич и мне давно велит пить Эмскую воду с молоком. Если так и если тебе, как они говорят, одинаково хорошо то и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого?

— Нисколько! Если так, то я всячески за это! — горячо сказал Юрий Павлович.

II.

Дог князя Бисмарка околел поздно вечером. Очевидцы передавали, что князь, сидя на полу у трупа собаки и держа ея голову обеими руками, не то истерически рыдал, не то просто плакал, не то чуть не пла-

кал. Очевидцы несомненно привирали, соблазненные эффектностью расказа: «железный канцлер рыдает над телом своего верного пса» (Бисмарка уже называли «железным канцлером»; почему-то это прозвище понравилось и привилось). Весь вечер князь просидел у себя в кабинете, никого не принимал, ни с кем из семьи не разговаривал и пил очень много — «даже для него»: старые знакомые Бисмарка уверяли, что он теперь пьет гораздо меньше, чем прежде, в молодости; но это лишь вызывало недоумение: сколько же он пил прежде?

Утром в служебных комнатах канцлерского дворца все говорили о случившемся несчастьи. Высшие должностные лица были очень довольны: за редкими исключениями, они ненавидели князя. Ближайшие его сотрудники вполголоса (хоть и в своем кругу) обменивались шуточками: надо ли выражать князю сочувствие? и не называть ли собаку «покойницей»? Врали, будто в кабинет за вечер было принесено две бутылки шампанского и две бутылки Дюркгеймера, — это было в последнее время любимое вино Бисмарка. Врали, будто княгиня, очень обеспокоенная состоянием мужа, спешно вызвала Блейхредера, «чтобы утешить скорбящего, как его предки утешали Иова»: банкир Герзон фон Блейхредер, управлявший, к негодованию антисемитов, особенно антисемитов-банкиров, имущественными делами канцлера, был одним из близких к нему людей и будто бы обладал способностью действовать на него успокоительно. Врали, будто фельдмаршал фон Мольтке уклонился от приезда к князю, так как очень занят: с утра пишет стихи. Врали, будто о смерти собаки и об отчаянии канцлера сообщено императору, который только вздохнул и развел руками; это толковалось и как выражение покорности воле Божьей, и как легкий намек на мысль: «что-ж делать, связался навсегда с сумасшедшим!» Престарелый император считался близким другом князя, но в том же тесном кругу говорили, что нельзя сделать большо-

го удовольствия его величеству, как показав ему остроумную карикатуру на Бисмарка или ехидную статью о нем в газете.

В это утро в канцлерском дворце, в ожидании появления князя (он вставал не раньше двенадцати), болтали о нем больше обычного. Незадолго до полудня пришло и серьезное сообщение: ссылаясь на нездоровье, Бисмарк объявил, что не поедет на вокзал встречать царя. Улыбки исчезли, оживление улеглось; начался обмен мнениями о политическом положении, которое считалось очень серьезным. Были все основания думать, что канцлер решился на новую войну с Францией. Поэтому очень многое, если не все, зависело от позиции Александра II: обещает ли он, что Россия сохранит нейтралитет? Один высокий чиновник сказал, что в нынешних обстоятельствах лучше не раздражать царя, хотя бы в мелочах. Другие должностные лица осторожно промолчали. Критиковать действия Бисмарка не полагалось, да было и небезопасно, как показал опыт графа Арнима. К тому же, и ненавидевшие канцлера люди про себя считали его никогда не ошибающимся, гениальным человеком.

Бисмарк заснул только под утро. Он называл собаку своим единственным другом и едва ли очень в этом ошибался. Канцлер прекрасно знал, что в обществе его ненавидят, относился к окружавшей его ненависти равнодушно, признавал ее естественной, но почему-то приписывал, главным образом, своему богатству, — он считал немцев завистливым народом. Богатство его очень преувеличивалось сплетнями. Весьма преувеличены были и слухи о том, будто он, при помощи и посредстве Блейхредера, успешно играет на бирже. Блейхредер никогда не позволял себе справляться у канцлера об его планах, да и знал, что канцлер ему их не сообщит. Однако, часто беседуя с Бисмарком о политике, он старался у г а д ы в а т ь планы князя, и его отличное угадыванье очень благоприятно отзывалось на

делах обоих: Блейхредер оставил своим наследникам сто миллионов марок, Бисмарк же богател умеренно и солидно, — столько же благодаря государственным наградам и подношениям от признательного народа, сколько благодаря мудрому, безотчетному, самодержавному ведению Блейхредером его имущественных дел. Канцлер, не веривший в политическую гениальность, был твердо убежден в финансовом гении евреев вообще и Блейхредера в частности. Этот бывший служащий франкфуртских Ротшильдов, присланный ими в Берлин, в качестве советчика, по просьбе Бисмарка (поставившего непременным условием, чтобы советчик был еврей), в пору войны с Австрией, когда ни сам Бисмарк, ни Вильгельм, ни министры не знали, где достать на войну деньги, дал совет, после которого они долго изумленно переглядывались. Тем не менее, слухи о том, будто Блейхредер пользуется большим расположением князя и имеет влияние на его политику, были совершенно неверны: за исключением своей семьи, да еще двух-трех человек, Бисмарк никого не любил; влияния же на него не имел никто.

Здоровье князя все ухудшалось. У него были невралгия лица, тик, подагра, воспаление вен, мигрени, геморрой, несварение желудка, сильнейшие боли в левой ноге. Врачи вдобавок подозревали у него рак печени, в результате злоупотребления спиртными напитками, — и продолжали подозревать еще двадцать пять лет, до самой кончины князя. Некоторые же из близких к нему людей смутно предполагали, что Бисмарк болен тяжким нервным расстройством. Это противоречило решительно всему: и его прозвищу, и его богатырской фигуре, и его общепризнанной гениальности. Преданные князю газеты считали гениальным все, что он делал.

Сам он этого не думал. С собой Бисмарк был правдив беспощадно; с другими, пересиливая себя, старался скрывать свои мысли, — иначе было бы трудно управлять государством, — но изредка, за третьей бу-

тылкой шампанского (вторая еще не очень действовала), доходил до той степени откровенности, которую очень честные или очень лицемерные люди называли циничной. Канцлер признавал за собой ум, настойчивость и волю, да еще то, что называл способностью угадывать ход истории. Он и определял политику, как уменье в нужную минуту «услышать в истории поступь Бога, подпрыгнуть изо всех сил и вцепиться в фалды Его сюртука». Бездарные и самодовольные государственные деятели, по его долгим наблюдениям, всегда верили в собственную интуицию. Бисмарк не знал, что такое интуиция, и обычно старался выяснять ход истории логически. Теперь, весной 1875 года, он собирался начать новую войну с Францией. Однако уверенности в том, что такова Божья поступь, у Бисмарка не было.

Доводов против войны оказывалось больше, чем доводов за нее. Бисмарк собирался провозгласить новую войну «превентивной»; однако он знал, что превентивными были все войны во все времена. Могущество Франции несомненно восстанавливалось, но он не имел оснований думать, что оно растет быстрее германского. «Так ли велика опасность нападения со стороны французов? И что, если Франция уже сейчас достаточно могущественна для отпора? Что, если Россия, обещав нейтралитет, не сохранит его? Что, если все кончится крахом? Тогда, после всей славы, я перейду в историю с репутацией залитого кровью неудачника, и те самые люди, которые передо мной пресмыкаются и называют меня гением, будут кричать, что с первого дня разгадали во мне бездарность. Так было и с Наполеоном III», — думал в бессонные ночи канцлер. Он презирал чужие суждения (хотя они часто крайне его раздражали), но, в противоречии с этим, очень заботился об истории и почти наивно верил в славу. История и была тем логическим, лишь изредка полусознательным, мостом, по которому от интересов Германии он переходил к своим собственным интересам. Свои ин-

тересы Бисмарк забывал не часто. Однако новая война не могла ему дать п о ч т и ничего: он и так был первым государственным человеком Европы, имел княжеский титул, прочно обеспеченное место канцлера и, главное, полноту власти: парламент ограничивал ее не слишком, а император редко ему мешал, только отнимал время. Новая война была нужна ему не больше, чем те бесчисленные дуэли, которые у него были в молодости; требовали войны не столько его интересы, сколько его натура бреттера. Ему и на старости лет еще хотелось волновать мир и себя самого; мелкие волнения повседневной политической жизни больше его не удовлетворяли.

В эту ночь невралгия левой части лица мучила его еще сильнее обычного. Он до рассвета ворочался в скрипевшей под его огромным телом старой и безобразной деревяной кровати. Все в его квартире было грубо и некрасиво. В спальной, слабо освещенной стоявшей на столике свечой, ничего не было, кроме кровати, весов, переносной ванны и старых стульев; по стенам висело несколько больших фотографий: императора, жены, детей и дога. Фотография собаки висела слева в полосе света, и всякий раз, как его взгляд на нее падал, усиливалось его горе. «Да, вот кто был настоящим товарищем по несчастью: по жизни», — думал он и опять, точно мстя кому-то за что-то, сердито возвращался к своим планам, от которых зависели судьбы мира и жизнь миллиона людей.

В сотый раз обдумывая все связанное с новой войною, он видел, что трудно не только довести до конца, но даже начать это дело. Народ, разумеется, войны не хотел, как не хотел ея и в 1866-ом, и в 1870-ом году. Это большого значения не имело: доведение народа до белого каленья было просто вопросом техники, хорошо ему известной. Несколько хуже было то, что о новой войне не хотел слышать престарелый император: он все еще не мог опомниться от радостей, выпавших на его долю в конце долгой жизни, от своей военной

славы и от того, что он, почти вопреки собственному желанию, стал неожиданно главой германской империи; кроме того, по своей богобоязненности, Вильгельм I не хотел больше проливать кровь. Не слишком желал войны и другой старик, фельдмаршал Мольтке, по тем же причинам, что и император. «Отяжелел, дряхлеет, дай Бог, чтобы совсем не выжил из ума»... В военную гениальность Бисмарк верил еще много меньше, чем в политическую: потерял эту веру именно с тех пор, как гением стал Мольтке, деятельность которого он наблюдал в пору прославивших фельдмаршала войн. Зато хотели войны почти все офицеры: для них война была лучшим, единственным быстрым способом сделать карьеру, что и было во все времена главной причиной войн. «Ну, стариков можно будет переубедить», — думал Бисмарк, заранее подготовляя доводы и исторические фразы.

Эти вырывавшиеся у него исторические восклицания он обычно придумывал в бессонные ночи — готовил их заранее, впрок, еще точно не зная, где, как и когда воскликнет. Дело было не очень трудное; изредка он кое-что подновлял из старого запаса. На случай новой войны можно было бы подать в измененном виде: «Gesta Dei per Germanos». Канцлер не верил в этой фразе ни одному слову: какие «gesta Dei»! Все это было его делом. И почему бы Бог избрал орудием своей воли светловолосый, круглоголовый, во многих областях малоодаренный, а в политике совершенно тупой народ? Под утро ему пришла в голову еще одна фраза, тоже с именем Божьим: «Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога», затем небольшое дополнение к ней, особенно удобное на случай, еслиб он от войны отказался: «Лишь страх Божий запрещает нам воевать». В этой фразе тоже не было ни слова правды: он очень многого боялся (особенно франко-русского союза), никогда в своей политике страхом Божиим не руководился и в Бога верил больше по семейной традиции, по затверженным в детстве

правилам, по общему для всех немцев высочайшему повелению; духовенство всех исповеданий он ненавидел (говорил, что наиболее неприятные ему люди — священники и бюрократы). Правда для исторических восклицаний и не требовалась: все они, как он знал по своему опыту, были лживы, вымучены, заранее придуманы для райка, когда не просто присочинены историками или услужливыми людьми.

Свой народ он любил, также по усвоенной с детства привычке, но ни малейшего уважения к нему не чувствовал. Он знал, что представляется немцам воплощением любви к родине, и поддерживал эту свою репутацию, не смешивая своего патриотизма с особенной любовью к немцам. Уж если существовали люди, которые ему нравились, то они скорее попадались среди русских или американцев. Русской была и единственная женщина, к которой он в зрелые годы испытывал нечто похожее на влюбленность; княгиня Екатерина Орлова теперь была тяжело больна, и ея болезнь его волновала. Бисмарк был не влюбчив и за шампанским с усмешкой говорил, что служить можно либо Вакху, либо Венере, и, что он предпочитает Вакха.

Из болей, которые, точно сменяясь, мучили его почти беспрерывно, особенно сильны были дергающая боль левой щеки и тупая, сводящая — в области печени. Он разыскал коробочку с пилюлями, проглотил одну; она оставила шероховатость во рту, запил огромным, в полстакана, глотком коньяку. Сначала стало легче, потом боль возобновилась, смешавшись с какой-то другой, и усилилась легкая, за работой забывавшаяся, но редко оставлявшая его надолго мысль об опухоли, быть может, злокачественной (врачи успокоительно улыбались, когда князь их об этом спрашивал, но улыбались не вполне естественно). «Все равно один конец!» — сердито пробормотал он и взглянул в угол комнаты, где вчера на коврике спала собака. Воспоминание о том, как дог просыпался, потягивался, подходил к нему и лизал ему руку, когда он слишком долго

ворочался в постели или в мягких туфлях тяжело ходил по спальной, было непереносимо. Бисмарк потянул со стола лежавшую на нем толстую книгу. Упала салфеточка грубого кружева с какой-то склянкой. Он пробормотал ругательство и допил коньяк, на зло врачам.

Попробовал другие способы борьбы с бессонницей. Тихо бормотал слова своей любимой песенки, которой когда-то его научил американский друг юности. Песенка начиналась словами: «God made bees, bees made honey; God made men, men mode money, но всего текста князь вспомнить не мог, и напряжение памяти скорее мешало сну. Попробовал считать по порядку цифры, от единицы до десяти, затем назад, от десяти до единицы. Способ скоро показался ему глупым, он бросил считать. Раскрыл книгу, — в последние годы канцлер мало читал, больше подновляя оставшиеся в памяти немалые запасы. Бисмарк предпочитал книги называемые вечными; на столике у него лежал Шекспир.

«Ну, хорошо, Ричард кого-то убил, и Макбет кого-то убил, и они все кого-то убивали, кто одного, кто по нескольку людей», — думал он, бегло соображая, сколько людей погибло из за него; по приблизительному подсчету, выходило не менее восьмисот тысяч. «Правда, я объединил Германию. Однако что-ж теперь скрывать, — тут не Рейхстаг, — Германия, по всей вероятности, объединилась бы и без меня. Было, верно, десять способов объединить Германию, и как ни глупы были либеральные профессора и адвокаты 1848 года, их способ тоже мог привести к объединению, без трех войн, которыми впрочем теперь восторгаются те из них, что еще живы и не впали в старческое слабоумие. С другой стороны, мой способ мог не дать результатов, мог повлечь за собой для нас катастрофу, еслиб австрийцы и французы были немного умнее и их офицеры немного лучше (солдаты приблизительно стоят друг друга во всех странах). Да и была ли строгая логика в моих собственных действиях? Разве она в политике

возможна? Разве есть страна, политика которой была бы логична и последовательна? Основой нашей политики в течение ста лет была дружба с Россией. Однако в 1854 году мы едва на Россию не напали в союзе с Австрией и с Францией, на которых напали немного позднее при дружеском нейтралитете России. Правда, в 1854 г. была не моя политика, надо мной тогда все смеялись, сам с т а р и к (он разумел Вильгельма) называл меня политическим школьником. Я был проницательнее других, но это только значит, что в мире слепых я был одноглазым. А я тогда носился с планом вечного союза между Пруссией, Россией и Францией. Позднее, в 1863 году, я очень колебался: помогать ли России усмирять польское восстание или, обманув и поляков, и русских, присоединить к Пруссии Варшаву? И нет страны, которая в своей внешней политике руководилась бы какими-либо принципами. Англия? Англичане серьезно уверяют, что у них принципы есть: не то поддержка свободы в мире, не то борьба с наиболее могущественной континентальной державой. Но это совершенно разные вещи, да и то, и другое вздор, они уже лет тридцать не могут сообразить, кто именно их исторический враг: Франция, Германия или Россия; они меняют своих исторических врагов каждое десятилети, и вовсе не потому, что та или иная страна стала слишком могущественной: в 1853 году Франция и Россия были приблизительно равны по могуществу, теперь приблизительно равны по могуществу Россия и Германия, и у каждого из знаменитых англичан, сейчас у Гладстона и у Дизраэли, есть свой «исторический враг Англии». Что до свободы, то главный ея проповедник — тартюфф Гладстон, который еще не так давно защищал торговлю рабами», — думал он с ненавистью (Гладстона он особенно ненавидел и усердно собирал о нем дурные слухи). «...Methought I heard a voice cry «sleep no more! Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the ravell'd sleave of care, the death of each day's life,

sore labour's bath...» «Почему-ж он, бедный, потерял сон? Макбет, старый полководец, конечно, десятками, если не сотнями, в походах вешал, колесовал, четвертовал людей, с его попустительства, если не по его приказу, солдаты после штурмов насиловали женщин и разбивали головы детям, а вот от этого убийства и он, и мадам потеряли сон! Сон теряют не от угрызений совести, иначе кто из политических деятелей не страдал бы бессонницей? Вот невралгия другое дело»...

Один из более глупых врачей советовал ему при бессоннице «думать о приятном», «будить в себе радостные воспоминания». Потирая рукой щеку, князь старался вспомнить, что было особенно приятного в жизни. Кое-что радостное было как будто в молодости, в пору его чудачеств и скандалов, в ту пору, когда его называли «der tolle Bismark». — про себя он думал, что почти не изменился с того времени, так сумасшедшим Бисмарком и остался, изменились только характер и размер скандалов. В зрелые годы радостного было немного. «Сцена в Galerie des Glaces?» Да, я поднес старику императорскую корону. Это, конечно, было большое дело, но на сколько времени? Во Франции за год до революции ни один человек не предполагал, что монархия может кончиться, и даже ни один человек этого не желал... Что же: великое дело на десятилетия? Великий человек до противоположного великого человека? Вдруг Евгений Рихтер или Виндгорст окажутся великими людьми германской республики! Германию Рихтеров мне совершенно не стоило объединять», — с отвращением подумал князь, ненавидевший и презиравший Рихтера.

Несмотря на свой живой ум и живой характер, он понемногу деревенел с годами. Бисмарк насмехался над людьми, которых либеральные газеты называли «юнкерами», и, встречая их беспрестанно при дворе, в армии, в обществе, дивился их тупости, самодовольной ограниченности, неспособности понять что бы то ни было не усвоенное ими в детские годы. Но, как люди, они были

неизмеримо ближе ему, чем образованные Рихтеры, Виндхорсты, Вирховы, чем либеральные адвокаты и социал-демократические токари. Он до конца своих дней чувствовал, что прусский офицер в нем самом сидит очень прочно, гораздо прочнее, чем все иное. Канцлер знал цену своему монарху и за третьей бутылкой шампанского, не стесняясь, объяснил разницу между Вильгельмом I и померанским волом: «Если померанскому волу прокричать «Хью!», то он знает, что надо идти направо, а если прокричать «Хет!», то он понимает, что надо повернуть налево. Между тем его величество еще в этом не разбирается, я за всю жизнь не мог научить его и этому». Однако не только Вильгельм I, но самый мелкий монарх был для него не совсем таким человеком, как обыкновенные люди. В этом, да и во многом другом, он почти не отличался от юнкеров, как далеко ни превосходил их умом, опытом, образованием, чувством юмора, злым, колким, находчивым остроумием.

Как почти все старые немцы, он в детстве благоговел перед Александром I, в юности благоговел перед Николаем. Преклонение перед русскими царями было до зрелых лет основой его миропонимания; их империя внушала ему особенное уважение своими неимоверными размерами, размахом, огромными, еще нетронутыми богатствами. Это была настоящая страна, и цари были настоящие монархи, не связанные парламентами из говорливых дураков. В ту пору, когда он жил в России, к политическому обаянию прибавилось еще бытовое: очень бедно было по сравнению с Петербургом все, что он видел у себя на родине. Его удивляло великолепие русских дворцов, богатство русских вельмож, их жизнь с ежедневными балами, рекой лившееся шампанское, боченки с икрой, французский театр только для *своих*, кутежи у цыган, охота на медведей. Нравился ему и сам Александр II: он был *большой барин*, — черта, которую Бисмарк, вышедший из небогатой семьи, особенно ценил в людях. Его собственный *старик*, которого он искренне любил, был

тоже барин, но не такой большой. «В нем хорошо хоть то, что ему ничего не нужно, так как у него все есть, и в этом одно из бесчисленных преимуществ монархического строя... Как жаль, что он приближает к себе карьеристов и интриганов».

Это ругательные слова князь употреблял беспрестанно, хотя ему было и неясно, можно ли вложить в них такой смысл, при котором они не относились бы к нему самому. Он смутно думал, что тут все зависит от размеров: очень большой карьерист уже не карьерист, очень большой интриган уже не интриган. Мелкие люди, окружавшие императора и особенно императрицу и наследного принца, отравляли канцлеру жизнь, и без того тяжелую и мрачную. Бисмарк никогда не забывал обид, иногда мстил за них через много лет. К интриганам он причислял и князя Горчакова, которого, в виду его глубокой старости, нельзя было причислить к карьеристам. Почему-то русского канцлера, несмотря на внешне-дружеские отношения, Бисмарк особенно ненавидел, еще больше, чем Гладстона (Рихтер был все-таки никто: член Рейхстага). И он не мог от себя скрыть, что иногда, в своих политических планах, хоть немного, хоть отчасти, руководится желанием сделать неприятность князю Горчакову.

Мысли о войне, о собаке, об опухоли мучили его всю ночь, сплетаясь все теснее. Он больше не знал, где кончается одно, где начинается другое. Сам порою с усмешкой думал, что, кажется, смерть его дога увеличивает вероятность войны, но тотчас отгонял от себя эту вздорную мысль и логически проверял Божью поступать. К утру он окончательно склонился к войне: Франция может стать слишком могущественной, а теперь победа почти обеспечена и с ней не пятимиллиардная, а десятимиллиардная контрибуция. Себе он наметил герцогский титул. Впрочем, титул этот не очень его привлекал, не ласкал его слуха, как недавно ласкал княжеский, как еще больше когда-то графский. На первом месте были интересы Германии.

Теперь все зависело от завтрашней беседы с царем. К утру, приняв во второй раз снотворное, он задремал тяжелым сном.

В одиннадцать часов, раньше обычного, он проснулся с еще усилившейся в левой щеке болью. Чтобы не переодеваться к завтраку, канцлер, вместо своего обычного черного сюртука, надел генеральский кирасирский мундир. В этом мундире, с крестом под третьей пуговицей, громадный, грузный, тяжелый, он медленно прошел в свой кабинет, наводя, как всегда, страх на вытягивавшихся служащих, холодно и хмуро кивая им головой. В кабинете он опустился в кресло, — и опять ему вспомнился дог, который обычно, положив морду на колени хозяина, бегло лизнув его, затем удобно свернувшись, устраивался под письменным столом. Князь Бисмарк, мотая головой, незаметно смахнул слезу, взял свой, всем известный по фотографиям карандаш в фут с лишним длиной. Секретарь подал ему груду бумаг и почтительно осведомился об его здоровьи.

— О, оно превосходно! — беззаботно сказал канцлер. — Но все-таки первые шестьдесят лет в жизни человека обыкновенно бывают наиболее приятными.

III.

Поезд императора Александра пришел в Берлин в понедельник, очень точно по росписанию в 12 часов 30 минут. Визит был не официальный: Александр II отправлялся на воды в Эмс и по дороге останавливался ненадолго в германской столице, чтобы повидать родных. Тем не менее, встречали его на вокзале император Вильгельм, принцы, фельдмаршалы Мольтке и Мантейфель и множество других людей, нагонявших на царя скуку, самое нестерпимое для него чувство.

В этот день в «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг» появилась статья о приезде русского императора, удивившая осведомленных во внешней политике

людей своим восторженным и даже подобострастным тоном. Царь назывался в правительственной газете лучшим другом, чуть ли не благодетелем Германии, ему выражалась глубокая сердечная признательность, восхвалялась вечная историческая дружба русского и немецкого народов. «Эта испытанная дружба», — писала газета, — делает для нас Его Величество императора Александра еще более драгоценным. Вместе с остальным миром мы изумляемся его мудрости и энергии. Но и в дальнейшем право на дружбу России принадлежит одним немцам. Неблагодарность никогда не была пороком германского народа».

Статья, переданная по телеграфу во все концы Европы, вызвала переполох в министерствах иностранных дел. Дипломатам было ясно, что она либо написана самим Бисмарком, либо им *инспирирована*, и склонялись к тому, что все-таки скорее инспирирована. «Уж слишком для него лизоблюдский тон. Верно, перестарался редактор», — говорили русские дипломаты. Тон статьи был, очевидно, связан с надеждой на нейтралитет России в предстоявшей новой франко-германской войне.

Царь внимательно прочел статью еще в поезде: она была ему привезена на одну из близких к Берлину станций. Александр II недолюбливал газеты, не любил читать по печатному тексту (в немецких газетах почему-то всегда казавшемуся липко-грязноватым) и терпеть не мог готический шрифт. Похвалы и тон статьи доставили ему удовлетворение; однако, хотя было неприятно разочаровывать автора, он еще в Петербурге твердо решил, что войны быть не должно и что Россия не останется нейтральной в случае нового нападения на Францию: чрезмерное усиление Германии нарушило бы европейское равновесие. В Берлине предстояли неприятные разговоры. Александр II имел давнюю репутацию charmeur'a и, действительно, *очаровывал* на своем веку множество самых разных

людей; однако, он чувствовал, что тут никакие чары не помогут.

Прочитав статью, царь отдал ее Горчакову для изучения. Изучать в статье было, собственно, нечего, но это был лучший способ ненадолго освободиться от говорливого 77-летнего князя, тоже обладавшего способностью нагонять на него смертельную скуку. Канцлер с озабоченным видом унес газету в свой вагон.

Император выехал из Петербурга в самом лучшем настроении духа. Летняя поездка на воды всегда бывала ему приятна. Заграницей забот, огорчений, беспокойства бывало гораздо меньше. Гораздо меньше было и дела. Хотя царь, как Людовик XIV, любил **son délicieux métier de Roy**, он чрезмерно работой не увлекался и, в отличие от того, что о себе говорили другие монархи и государственные люди, вполне чувствовал себя способным провести несколько недель без всякой работы.

Как всегда, дурное настроение на него нагнала Варшава, по которой он в коляске переехал с одного вокзала на другой. Царь догадывался, что этот город (неприятный ему тем, что он был как будто свой и вместе с тем совершенно не свой) для него почистили и прибрали. Тем более тягостна была, до моста через Вислу, скучная бедность улиц, домов, людей. Он помнил, что это предместье называется Прагой, что здесь когда-то происходили кровопролитные бои между наступавшими русскими и защищавшимися поляками. Сидевший с ним в коляске генерал давал какие-то объяснения, но царь чувствовал, что генерал в этой части города никогда не бывает, что люди, кричащие «ура!», согнаны сюда полицией, и что даже это сделано не очень хорошо: «ура» звучало довольно жидко и нисколько не походило на тот бешеный, восторженный рев, который неизменно, особенно в прежние годы, вызывало его появление в русских городах. За

цепью солдат, в боковых улицах, виднелись люди, изумленно смотревшие на царские экипажи (впереди императора все должностные лица ехали стоя, повернувшись лицом к его коляске и неловко держась сзади за козлы). Эти люди, срывавшие с себя шапки еще при появлении передовых казаков конвоя, были одеты очень бедно. Особенно тягостное впечатление производили бородатые старики в черных длинных до земли, не то смешных, не то страшных одеждах. Царю было известно, что это евреи; он помнил, что уже лет двадцать безуспешно предписывает сделать что-либо для улучшения положения этих людей. За Вислой город стал нарядным, но из за пасмурной ли погоды или от того, что в воскресенье магазины были закрыты, оживления было мало. Генерал бодро докладывал о своей работе по поднятию благосостояния края. Бодрый тон обычно бывал приятен царю, но на этот раз ему казалось, что генерал говорит вздор, тот же вздор, какой ему тем же бодрым, радостным тоном докладывают здесь уже двадцать лет. Александр II слушал молча, очень хмуро, и чувствовал, что с ним может случиться припадок дикого бешенства. Таким припадкам он был изредка подвержен, сам их смертельно боялся и после некоторых из них плакал от стыда и раскаянья. На вокзале Варшавско-Бромбергской дороги царь сухо простился с генералом, не пригласив его в поезд, и поспешил войти в свой вагон.

Вскоре после того, как поезд тронулся, показалось солнце. Александр II, очень чувствительный к погоде, стал успокаиваться. Он подумал, что его впечатления от Варшавы поверхностны, что поляки сами во всем виноваты, что, вероятно, население живет не так плохо и, что генерал, хотя и туповатый человек, заботится о благосостоянии края. Все же, когда у царя бывало предчувствие припадка ярости, он обычно старался пробыть некоторое время в одиночестве (которого вообще не любил). Сопровождавшие его свитские генералы и флигель-адъютанты (генерал-адъютантов

он в последние годы по возможности не брал с собой, инстинктивно избегая общества старых людей) разошлись по своим вагонам, чтобы не попадаться ему на глаза: им было известно, что в состоянии бешенства он очень страшен: хуже отца, — Николай редко терял самообладание, — должно быть, таков бывал дед Павел. Однако, именно то, что припадка ярости с ним не случилось, что он не сделал и не сказал ничего лишнего, скоро привело царя в его обычное хорошее настроение духа: по природе Александр II отличался необычайной жизнерадостностью и по убеждениям был оптимистом.

Он достал из футляра записную книжку. Для него специально, по его любви к красивым вещам, печатались такие книжки на золотообрезной бумаге, в необыкновенных переплетах с двуглавым орлом и с короной, с прекрасными гравюрами, в дорогих футлярах. Александр II всегда носил с собой очередную книжку и своим изящным почерком заносил туда события дня. Частью из предосторожности, частью от нетерпеливости характера, он писал так сокращенно, что разобрать его записи было очень трудно; иногда царь и сам не разбирал того, что написал год-два тому назад: слова обычно обозначались лишь первыми буквами, а то и одной буквой. Так и теперь он закончил запись своих впечатлений от Варшавы строчкой: «непр. н. ч-н. сд». Это означало: «непременно надо что-нибудь сделать».

Записи в книжке всегда его успокаивали, хотя по опыту он мог бы знать, что за ними редко, особенно в последнее время, следовали какие-либо важные действия. Царь спрятал книжку, — в том, как мягко и ровно книжка, точно по бархату, вошла в футляр, было тоже нечто успокоительное. Он вынул из несессера каллиграфически переписанный роман Тургенева. Почему-то Александр II неохотно читал по печатному тексту, и для него переписывались книги, которые он желал прочесть. Тургенев был его любимым писателем; когда-то он читал «Записки Охотника» со слезами

(вообще нередко плакал). Этот роман Тургенева «Дым» был старый, но по случайности царь его не читал. Накануне его отъезда в Эмс кто-то из великих князей сообщил ему, что в «Дыме» изображена княжна N., одна из прежних его любовниц. Царь изумленно приказал переписать «Дым». Работавшие на императора лучшие писаря России в течение суток переписали роман.

Не останавливаясь пока на первых страницах, Александр II разыскал и с любопытством прочел главу о княжне Ирине Осининой. Царя и раздражила бесцеремонность писателя, осмелившегося, хотя бы отдаленно, намекать на его частные дела, и позабавила его неосведомленность. Некоторое сходство у Ирины с княжной N. было, но очень небольшое. «То, да не то. Совсем она не такая б ы л а»,— улыбаясь, думал царь, давно бросивший княжну, но сохранивший к ней ласковый сочувственный интерес, как ко всем бесчисленным женщинам, которых он любил. В других главах романа ничего связанного с его частной жизнью не было, и тем не менее, он чувствовал, косвенно весь роман был направлен против него. У Тургенева описывался «молодой, но уже тучный генерал с неподвижными, точно в воздух уставленными глазами и густыми шелковыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы», другой «подслеповатый и желтый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность», — и царь догадывался, что Тургенев именно на него возлагает ответственность за обоих генералов, за подслеповатость и желтизну одного, за шелковистые бакенбарды и белоснежные пальцы другого. Были в романе еще «несравненный граф X», «восхитительный барон Z», «княгиня Бабетт», «княгиня Пашетт», «смешливая княжна Зизи», «слезливая княжна Зозо», и царь чувствовал, что он отвечает за всех этих людей, и не понимал, почему отвечает. «Может быть, это остроумно и смешно, но,

право, «Помолвка в Галерной Гавани» остроумнее и смешнее, и там уж я, по крайней мере, ни за что не отвечаю», — с недоумением думал он. — «Что ему нужно? Почему он пристает? Чего они все от меня хотят?» Впрочем, варшавский генерал как будто в самом деле был чуть-чуть похож на одного из генералов Тургенева. «Ну, хорошо, пусть Тургенев и даст мне других. Или пусть сам Тургенев управляет Польшей, тогда все пойдет отлично. Пусть бы о н и отвечали за эту бедность, за нищету, за лачуги, за тех людей в черных хламидах», — с усмешкой думал он. Его успокоило описание радикалов и нигилистов в романе. Нигилисты и радикалы были, очевидно, еще противнее Тургеневу, чем смешливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо. «Это уж у него вышло гораздо остроумнее. А может, он просто страдает катарром печени, и ему надо лечиться. Вот и любовь у него всегда не любовь, а черная меланхолия», — удивленно думал Александр II, плохо понимавший, как что-то меланхолическое, неудачливое может связываться с лучшей вещью в мире. У него никогда неудач в любви не было. — «И что он нашел в своей Виардо? На нее давно смотреть гадко»...

Царь отлично знал, чего о н и от него хотят. «Да, они убеждены, что конституция все разрешит, накормит голодных, оденет голых», — думал он. — «Кроме того, им хочется править, носить мундиры, иметь почет и власть. Что-ж, я их понимаю: я сам люблю все это. Отчего же они не идут на службу, эти господа Тургеневы? Я ничего против них не имею, они могли бы иметь все это и без конституции... А что, если в самом деле дать им конституцию и раз навсегда от них отделаться?» Ему, впрочем, казалось, что в России есть гораздо больше противников конституции, чем сторонников ее. Вдобавок, все противники принадлежали к кругу, который он знал и любил с детских лет. Требовала же конституции мало известная ему часть общества, недавно кем-то названная интеллиген-

цией. Царь не то, чтобы ненавидел эту группу, но у него было к ней наследственное, профессиональное, смешанное с нерасположением и с иронией недоверие, которое он замечал и у конституционных монархов: у австрийского, у германских, даже у Виктории. В его собственном тесном кругу о конституции почти все говорили не иначе, как с насмешкой, ужасом или ненавистью. Сам он не чувствовал в себе ни прежних сил, ни прежнего задора, и введение конституции казалось ему менее спешным и гораздо менее бесспорным делом, чем в свое время освобождение крестьян. Кроме того, царь смутно понимал, что он понизится в чине, если из самодержавного императора превратится в одного из многочисленных конституционных монархов. И хотя он не был чрезмерно властолюбив, это соображение, которым он ни с кем никогда не делился, имело большое значение. Он знал и то, что его немецкие родные преклоняются перед ним именно, как перед самодержцем. Многие из них, и больше всего сам Вильгельм, молили его не давать России конституции; тон их при этом был такой, точно они, в свое время попавшись, теперь хотели его уберечь от выпавшего на их долю несчастья. «А, может быть, я им нужен, как repoussoir, пусть немецкие либералы не слишком ворчат: в России еще хуже! Но я власть принял от батюшки самодержавной и такой же должен передать ее Александру. Что, если при них все пойдет к чорту? Ведь я помазанник Божий, а не они!» — решительно сказал себе он. Ему, как и всем его предкам (за исключением Екатерины II), никогда и в голову не приходило усомниться в том, что они помазанники Божьи.

Он положил рукопись «Дыма» на стол и стал думать о княжне, тоже отправившейся в Эмс, в другом поезде, с их трехлетним сыном, с компаньонкой Шебеко, с няней Боровиковой, еще с какими-то людьми. И тотчас от его дурного настроения не осталось ни следа. «Не устал ли Гого в дороге? Не плакал ли? И

хорошо ли спала княжна?» У него опять зашевелились неосуществимые, несбыточные мысли о том, как можно было бы соединить, совершенно соединить, ихъ жизнь с его жизнью: «Чтобы княжне не надо было ни прятаться, ни путешествовать отдельно, ни искать чьего-то снисхождения. Вот тогда я счастлив был бы дать им конституцию!» — сделал он вывод, который ему был ясен, хоть другие логической связи тут никак понять не могли бы.

Спал он отлично и на следующий утро вышел в десятом часу завтракать к своей свите, тотчас оживившейся от его прекрасного настроения. За завтраком он просмотрел программу двух берлинских дней. Несмотря на неофициальный характер визита, она была длинная и торжественная. Предстоял большой военный парад, — император Вильгельм собирался лично провести перед племянником первый гвардейский полк. Предстоял придворный спектакль: Théâtre paré. Предстояли завтрак у Вильгельма и обед у прусской гвардии, за которым оба императора должны были произнести тосты, а затем о б л о б ы з а т ь с я в порыве дружбы. Горчаков пока составил только предварительный текст тоста: окончательный текст зависел от бесед обоих императоров и от его разговора с Бисмарком.

— Но непременно, Александр Михайлович, намекни, что на войну мы ни при каких обстоятельствах согласия не дадим, ты это умеешь, — сказал царь и вздохнул. — Еда будет скверная, шампанское отвратительное, и спектакль невыносимый.

С вокзала он ехал в коляске вдвоем с Вильгельмом Великим (так многие называли императора, хотя официально он стал так называться лишь после смерти). Как всегда, престарелый император был уютно-скучен и достойно-туповат. На этот раз он поглядывал на племянника не без робости: в Петербурге уже знали о планах князя Бисмарка. Собственно, на-

едине в коляске было бы всего удобнее поговорить о важных делах. Но царю не хотелось начинать этот разговор: он очень неохотно говорил «нет», любил дядю, был у него в гостях и ценил оказанное ему чрезвычайное внимание. Вильгельм, старейший в мире Георгиевский кавалер, получивший орден четвертой степени больше шестидесяти лет тому назад за сражение с Наполеоном I, недавно расплакавшийся от радости при получении первой степени («глубоко тронутый, со слезами, обнимаю, благодарю за честь, на которую я не смел рассчитывать», — телеграфировал он Александру II), приехал на вокзал в черно-желтой ленте через правое плечо и без других орденов. Наследный принц и граф Мольтке были на вокзале в русских фельдмаршальских мундирах. Сам царь немецкого мундира не надел и был в синей венгерке лейб-гусарского полка и в красной фуражке.

Говорили почти исключительно о родных и о здоровьи. Вильгельм Великий вздыхал и жаловался на болезни. Из сочувствия царь сообщил, что тоже по временам испытывает необыкновенную усталость. Это была неправда, он физической усталости никогда не испытывал и чувствовал себя, особенно теперь, в обществе дяди, чуть ли не молодым человеком. Поговорили о предстоящих водах, об Эмсе, о Гаштейне, куда уезжал Вильгельм Великий, выразили надежду, что воды обоим очень помогут, и сказали, что непременно надо будет встретиться еще раз летом: либо в Гаштейне, либо в Эмсе. Когда их экипаж, в сопровождении других колясок и конвоя, выехал на Унтер ден Линден, Вильгельм Великий нерешительно спросил, хорошо ли себя чувствует княжна Долгорукая. Как все в Европе, он знал о последней любви Александра II; он даже говорил об этом с царем и был знаком с княжной. И царь, и княжна очень обиделись бы, еслиб император не спросил о ней. Но Вильгельму было неловко спрашивать царя о княжне: только что говорили об императрице. — «Княжна? Она вчера должна была

приехать в Берлин»,—беззаботно ответил Александр II. «Вот как! Я не знал», — робко сказал старик: он не любил лгать, между тем ему было известно, что княжна Долгорукая приехала накануне, остановилась в «Petersburger Hof» и одновременно с царем выедет в Эмс. Вильгельм спросил и о Гого; но оттого ли, что царю не понравился смущенный тон дяди, или потому, что германский император сказал «Gogo» с ударением на первом слоге, Александр II сам перевел разговор на политику. Он сказал, что слышал о воинственных планах князя Бисмарка.

— Ты догадываешься, что я им не сочувствую. Уверен, что не сочувствуешь и ты!

На лице Вильгельма Великого появилось виноватое выражение: в душе он был совершенно согласен с племянником и никаких войн больше не желал.

— Князю часто приписывают планы, которых он не имеет, — ответил он сконфуженно, почти так же, как говорил о княжне Долгорукой. — Все это очень преувеличено.

— Я чрезвычайно рад это слышать, — сказал царь с облегчением, хотя слово «преувеличено» было неясно. — Я, впрочем, и сам так думал, зная тебя. Надеюсь, ты мне разрешишь поговорить об этом и с князем.

— Я буду очень этому рад, — ответил Вильгельм Великий. В душе он, действительно, был почти рад тому, что нашел опору в своей глухой борьбе с канцлером. Но, как почти всегда, он опасался, не сказал ли чего-либо лишнего и не придет ли Бисмарк в ярость.

— Просто изумительно, как растет твой Берлин. За год его не узнать! — сказал царь, чтобы загладить не совсем хорошее впечатление от разговора. Он часто бывал в Берлине, и ему было не слишком приятно, что этот провинциальный, скучноватый, не исторический город вдруг стал столицей могущественной империи. Впрочем, это немного и веселило его, как его веселило то, что дядя, очень хороший и достойный чело-

век, стал на старости лет Вильгельмом Великим. Александр II с детских лет привык считать бедными родственниками немецких монархов, вечно кланявшихся и угождавших его отцу, дяде и деду. Теперь Вильгельм был по положению равный, а по могуществу — кто знает? — быть может, и высший.

Разговор с Бисмарком был единственной неприятностью, которой ждал царь, отправляясь заграницу. Он не любил германского канцлера и, как все, его боялся. Так и теперь, после завтрака, удалившись с канцлером в небольшую гостиную (все тотчас их оставили), он чувствовал смущение. Было что-то тяжелое и напористое в этой огромной фигуре, в бульдожьем лице с густыми седыми бровями; ясно чувствовалось, что уж он-то не только умеет, но любит говорить «нет»: ответить «нет» обычно было его первым инстинктивным побуждением; ему требовалось скорее усилие над собой, чтобы согласиться с собеседником. Бисмарк был еще мрачнее, чем утром. Невралгические боли у него усилились и его раздражил длинный, скучный, плохой завтрак, немецкое шампанское (старый император, вздыхая, говорил, что, имея большую семью, должен беречь деньги). Александр II закурил папиросу, не зная, как начать разговор, и придавая себе храбрости.

— Хотите настоящую турецкую папиросу, дорогой князь? — спросил он. — А знаете, вам очень идет, что вы сбрили бороду.

— Я было отпустил ее, ваше величество, потому, что терпеть не могу бриться. А о своей красоте мне уже беспокоиться не приходится, — сказал с усмешкой Бисмарк. Это было не слишком любезно: царь был всего тремя годами моложе его.

— Меня сегодня, князь, очень обрадовал император. Он сообщил мне, что слухи о вашем намереньи объявить войну Франции решительно ни на чем не основаны. Повидимому, вы опять стали жертвой клеветы, которую так часто распускают о вас ваши враги. Я так и думал, что вы никакой войны не хотите, как

не хотели ее и в 1870 году, — сказал царь, улыбаясь чрезвычайно мягко. У Бисмарка лицо передернулось от злобы. Он тяжелым взглядом уставился на Александра II, ожидая продолжения. — И это мне тем более приятно, что, при всей моей испытанной любви к императору и к Германии, Россия не могла бы остаться равнодушной в случае нового нападения на Францию. Русское общественное мнение этого не потерпело бы, — с силой сказал царь. В беседах с иностранцами о внешней политике он часто ссылался на русское общественное мнение. Теперь самое неприятное уже было сказано. Он бросил в пепельницу недокуренную папиросу и закурил новую, больше для того, чтобы отвести глаза от так неприятно молчавшего, уставившегося на него человека.

Бисмарк, с перекосившимся от злобы лицом, помолчал еще с полминуты. Он и раньше допускал возможность такого ответа царя, но считал ее маловероятной. Теперь ему стало ясно, что в Петербурге принято окончательное решение: иначе царь, которого он хорошо знал, говорил бы не столь твердо. «Если так, то дело сорвалось! Старики не согласятся на войну на два фронта, да и в самом деле это слишком опасно. Невозможно!» — с бешенством подумал он и занес в память жестокую обиду. Но к нарушению своих планов Бисмарк привык: из доброй половины их обычно ничего не выходило (хоть об этом лучше было не говорить: это вредило его репутации гения). Как ни хотелось ему высказать царю все, что он думал о русской политике и о князе Горчакове, — доводы, колкости, обидные слова были бесполезны, даже вредны. В политике имели значение только выводы. «Конечно, надо faire bonne mine...». На лице его появилось подобие улыбки.

— О, это в Париже распространяют слухи, будто мы собираемся напасть на Францию, — любезным тоном сказал он, — И я догадываюсь, что князю Горчакову было бы очень приятно выступить в роли ангела мира с белыми крылышками за спиной.

Царь слабо засмеялся, понимая, что Бисмарк говорит не только о Горчакове, но и о нем самом.

— Повторяю, я чрезвычайно рад тому, что, распускаемые французами слухи, оказались клеветой на вас, князь. Вы знаете мое глубокое уважение к вам и к вашему гению.

— У меня нет никакого гения, ваше величество, — холодно сказал канцлер. — У меня есть разве только одно достоинство: я друг моих друзей и враг моих врагов. — Против его воли, в голосе Бисмарка прозвучала угроза. Хотя он принял решение faire bonne mine, справиться со своей природой, с душившим его бешенством, ему было трудно. Александр II раздраженно улыбнулся.

— Ваша верность друзьям, дорогой князь, известна всему миру... Мне было чрезвычайно приятно увидеть вас в добром здоровьи и побеседовать с вами, — сказал он и поднялся, опасаясь своего припадка гнева. Оба знали, что для приличия следовало бы поговорить дольше: никто не ждал их выхода из маленькой гостиной раньше, чем через полчаса или даже через час; столь короткий разговор мог бы вызвать толки. Но им больше разговаривать не хотелось. Царь чувствовал некоторое облегчение, какое, расставаясь с Бисмарком, испытывали почти все люди, даже его горячие поклонники. «Все-таки главное сказано и подействовало», — решил Александр II, с удовлетворением думая о том, как сообщит Горчакову о проявленной им твердости; он бессознательно собирался даже немного ее преувеличить.

Начальник полиции был предупрежден, что русский царь совершит инкогнито прогулку по городу и что охрана его должна быть совершенно незаметной. Такие предписания начальник полиции получал нередко и они всегда приводили его в уныние: несмотря на свой опыт, он не знал, как можно от нормального и не слепого человека скрыть, что его охраняют. Он

вздохнул и почтительно спросил, куда именно может отправиться его величество. Узнав, что император, по всей вероятности, пойдет в «Петерсбургер Гоф», начальник полиции увеличил в пять раз число городовых между дворцом и гостиницей и приказал им не замечать царя, не сводя с него, разумеется, глаз, пока он будет находиться на их участке пути. Кроме того, по улицам с трех часов дня незаметно шныряли агенты полиции в штатских костюмах. И, наконец, одному из наиболее опытных сыщиков велено было незаметно идти впереди царя.

В светлом костюме, в мягкой шляпе, с модной тросточкой, без пальто, царь вышел на Унтер-ден-Линден. В отличие от большинства военных, он любил и умел носить штатское платье, но привыкал к нему каждый год лишь через несколько дней пребывания заграницей. Теперь, в первый день, он испытывал такое чувство, будто находился на маскараде. Лишь только Александр II снял свой мундир, ему показалось, что он стал свободным человеком, точно его самого давила та нечеловеческая власть, которую он имел в России. «Здесь я никто, и, право, это очень приятно! В самом деле, уж не дать ли им конституцию? Пусть они правят!» — подумал он. В этот прекрасный солнечный день царь не сомневался, что, с конституцией или без конституции, все будет отлично.

Он с первого взгляда признал сыщика в человеке, который, не вытянувшись при его появлении, но как-то внутренно подтянувшись и чуть изменившись в лице, пошел впереди него. Царь всякий раз заграницей просил не приставлять к нему охраны, однако, понимал, что хозяева правы и иначе поступать не могут. Прохожие на улицах его не узнавали. Дамы искоса с любопытством окидывали взглядом высокого элегантного человека и отводили глаза; он на большом расстоянии замечал красивых женщин, замедлял шаги и провожал их ласковым взглядом. Хотя Алек-

сандр II был страстно влюблен в княжну Долгорукую, мнение Софьи Яковлевны, будто другие женщины для него не существуют, было неверно. Сама княжна нередко устраивала ему сцены ревности. Он смущенно оправдывался, как-то что-то объяснял (был очень изобретателен), но чувствовал, что переделать себя не может, да и не собирался себя переделывать. В женщинах был главный интерес его жизни, и он чувствовал, что ему не вредит прочно установившаяся за ним в мире репутация. Иногда ему даже казалось, быть может, и не без основания, что едва ли не вся Россия гордится ходившими о нем легендами (число его побед, действительно, очень большое, еще преувеличивалось молвою). На Унтер-ден-Линден красивых женщин было не так много. Проходившая старая дама вдруг, взглянув на него, остолбенела. Он ускорил шаги с чувством и неприятным, и не совсем неприятным. Впереди его ускорил шаги сыщик. Огромный городовой на перекрестке вытянулся вопреки приказу и своей воле, поспешно принял нормальный человеческий вид, но отвернуться все-таки не мог. Царь подумал, что этот городовой похож на Бисмарка. «На него, впрочем, кажется, похожи все немецкие городовые... Почему он не может жить, как другие люди? Говорят, женщины его совершенно не интересуют, да и никогда особенно не интересовали!» — изумленно думал царь. — «Чего ему еще нужно? Зачем война? Зачем проливать кровь, когда так хорошо жить?.. Этого здания, кажется, прежде не было? Да, они прямо выходят в люди. И магазины появились совсем хорошие!»

Он вспомнил, что надо купить подарок няне Гого, Вере Боровиковой, которую очень любил и которая, как все слуги, его обожала (самой княжне покупать подарки в Берлине было бы невозможно: все выписывалось из Парижа). Царь подошел к магазину, увидев дамские вещи. «Кажется, княжна сказала, что ей надо купить сумку? Да, вот у них есть сумки». Сыщик впереди замедлил шаги: его инструкция не пре-

дусматривала такого происшествия. Он нерешительно остановился у витрины соседнего магазина. Царь вопросительно на него взглянул, как будто спрашивая, можно ли войти, и вошел. Сыщик торопливо подошел к двери.

В магазинах на товарах были написаны цены. Александр II в них не разбирался, совершенно не зная покупательной способности денег: никогда ничего не покупал. В дамских вещах он, однако, знал толк и безошибочно выбрал самую красивую сумку. — «Geben Sie mir bitte diese»... вежливо сказал он, забыв, как по-немецки называется сумка. Немецкий язык всегда его забавлял. Он довольно хорошо знал этот язык, но, еще в детстве, несмотря на наставления Жуковского, не мог к нему относиться серьезно. Теперь с немецкой речью у него тягостно связывалось воспоминание об императрице Марии Александровне (императрица, в которую он тоже был когда-то страстно влюблен, была решительно во всем перед ним права, он был решительно во всем перед нею виноват и поэтому, да еще вследствие ее весьма заметной кротости и ее болезни, мысли о ней всегда бывали ему тяжелы). С Вильгельмом, с принцами, с Бисмарком царь обычно говорил по-французски, по привычке и из полусознательного рассчета: чтобы оставить за собой преимущество лучшего знания языка. «Ja wohl, mein Herr», — почтительно ответил приказчик, с безотчетной тревогой глядя на этого иностранца. Две покупательницы с любопытством смотрели на царя. Александр II вспомнил, что у него нет денег: никогда не носил при себе ни бумажника, ни кошелька.

— Нет, без денег мы дать не можем, но мы можем послать... Куда прикажете? — вежливо и твердо сказал приказчик. Сыщик поспешно вошел в магазин и, наклонившись над прилавком, что-то прошептал приказчику, свирепо на него глядя. На лице приказчика выразились ужас и благоговение. Он низко поклонился, что-то пробормотал, с необыкновенной бы-

стротой завернул сумку, выбежал с ней из за прилавка и широко растворил дверь. Царь вышел очень довольный и приветливо кивнул сыщику: оба раскрыли свое инкогнито. Позади них у дверей на тротуаре стояли, восторженно вытаращив глаза, приказчик и обе покупательницы. На них грозно смотрел с мостовой очередной Бисмарк.

Хозяин гостиницы был предупрежден о посетителе и с трех часов дня нервно прогуливался в холле. Ему очень хотелось послать мальчика за женой, которая жила недалеко; но он не знал, будет ли это соответствовать пожеланиям властей. Кроме того, ему было неясно, надо ли говорить «Фрау Боровикова» или «Фрау фон Боровикова» (княжна Долгорукая везде снимала комнаты на имя няни). Но как он ни готовился к посетителю, появление высокого господина в сером костюме все-же оказалось точно внезапным и вызвало у хозяина растерянность. Он не выдержал и низко поклонился.

— Ja wohl!.. Frau von Borovikova... Ja wohl! Nummer 108... Bitte... Da ist es»... — прерывающимся голосом говорил он, усиленно борясь с желанием вставить слово «Majestät» хотя бы один раз.

IV.

Эмс в семидесятых годах, из за ежегодных приездов императора Александра и навещавших его там германских родных, стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городке уже было все, что требовалось: приличный вокзал с особой комнатой для «Allerhöchste Kurgäste», лечебные заведения и ванны, устроенные по новейшим предписаниям науки, хорошие гостиницы и, главное, Курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими коврами, с «Freskomalerei» и с залами в помпейским стиле. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и

мраморных нишах из посеребренных трубок; у них бело-желто-красные девицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при виде германского или русского императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамилии всех больных и твердо знали, кому надо говорить «Ja wohl, Durchlaucht» кому «Guten Morgen, Herr Doktor», а кому «Wie geht's, Herr Müller?». Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них при появлении коронованных особ отнимался язык.

Дюммлеры еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, объяснительные брошюры, фотографии домов и сняли на лето виллу на левом берегу Лана, в отдаленной старой части города. Через агенство были наняты горничная и кухарка, так что к приезду Дюммлеров все было готово и даже стоял на столе холодный завтрак. Владелица виллы почтительно, но с твердым сознанием своих прав, заставила «Фрау Баронин» принять по описи все вещи, белье, посуду, горестно отмечая чуть поврежденные тарелки или чашки, которых оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражало ее. Кое-что в обстановке виллы неприятно-каррикатурно напомнило ей обстановку их петербургского дома. Здесь, разумеется, все было гораздо беднее, хуже и дешевле, но также было множество ящичков, резных шкатулок, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматически выскакивавшими на крыше папиросами; так же, хоть в гораздо меньшем числе, военным строем стояли в книжном шкафу, выровненные раззолоченные «Sämmtliche Werke», и даже, вместо генерала в Александровском мундире, висел, против Сикстинской Мадонны в золоченой рамочке, пожилой прусский офицер, очень похожий на Фридриха-Вильгельма IV до его окончательного сума-

сшествия. В вилле, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цветов, с посыпанным желтым песком дорожками, с подстриженными по версальски деревьями, были большая угловая гостиная, отделенная от нее раздвижной дверью столовая и четыре спальные комнаты. Лучшую из них отвели Юрию Павловичу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи.

— Ах, она меня просто замучила! — сказала Софья Яковлевна вернувшемуся с прогулку брату. — Но все-таки я очень рада, что мы сняли виллу. В гостинице и Юрию Павловичу, и Коле было бы хуже. Жаль, что нет веранды, по плану мне казалось, будто веранда есть. Вилла недурна, и если хочешь, в этом немецком безвкусии есть свой charme.

— Отличная вилла! — подтвердил Черняков, настраивавший себя по курортному бодро и благодушно. — И городок просто прелестный.

— Да, ведь вы с Колей уже успели погулять. Вам понравилось?

— Чудесный городок, — сказал Михаил Яковлевич. — Я уже все здесь знаю. Государь живет в «Hôtel des Quatre Tours», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ее вилла называется: «La Petite Illusion», и, представь, она в двух шагах от нас.

— Вот как? — рассеянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось, однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачем им требовалось поселиться по близости от княжны Долгорукой, но твердо верил в практическую гениальность Софьи Яковлевны. «Если она признала нужным, значит, нужно».

— Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется. Княжна вод не пьет. Кстати — или некстати, — здесь получаются русские газеты. Но последние номера еще от четверга! Я в Петербурге читал от пятницы... Что же завтрак? Я голоден, как зверь. Или в ресторан пойдем на первый случай? — спросил Ми-

хаил Яковлевич, недоверчиво поглядывая на накрытый стол. На нем были только «kalter Aufschnitt», масло, булочки и какой-то немецкий сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобилием вазочек, сеточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что решено было позавтракать дома. Юрий Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейни без крайней необходимости, смотрел как на развратников.

Дюммлер вышел к завтраку в самом лучшем настроении. Он по настоящему оживился, оказавшись заграницей. В Берлине они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный диагноз, впрочем, скорее успокоительный и близкий к диагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной улыбкой. Он дал письмо к Эмскому врачу и велел пить Кессельбруннен с молоком, для начала по три стакана в день, — «разумеется если доктор Краус не предпишет другого режима», — добавил он так же корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус изменит его предписание.

После успокоительного диагноза Юрий Павлович стал еще больше восхищаться всем, от гениальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь, за завтраком Дюммлер восхищался виллой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничничной, на лице которой, как и на лице владелицы виллы, было написано сознание не только своих обязанностей, но и своих прав (из них главным было ее право с т а р ш е й горничной говорить хозяевам «Sehr wohl» вместо «Ja wohl»). Дюммлера она почтительно и с достоинством называла «Excellenz», — это слово чуть резало слух Юрию Павловичу, хотя он знал, что на немецком языке — непостижимым образом — нет особого слова для «Высокопревосходительства».

В тот же день они побывали на водах и встретили знакомых: профессора Муравьева с дочерьми. Это

были приятели Михаила Яковлевича; Дюммлеры их почти не знали и в другом месте едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут на водах Софья Яковлевна скорее обрадовалась встрече: младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в Эмсе в теннис, знала других детей и могла свести с ними Колю (позднее, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась: так ли полезно Коле бывать в обществе четырнадцатилетней девочки, хотя бы и не очень хорошенькой?). Сам профессор был любезный пожилой человек, видимо нимало не искавший общества тайных советников, но и не считавший себя обязанным избегать их. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одетая барышня, лет девятнадцати, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними рассталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом.

— Я знаю ее платье, это модель Ворта. Разве профессор богат? — спросила брата Софья Яковлевна, когда Муравьевы отошли.

— Не то удивительно, что я не могу тебе на сие ответить, но не может наверное ответить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербурге. Едва ли милейший Павел Васильевич имеет понятие о том, сколько у него дохода и сколько он проживает. Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нет и что проживают они очень много, неизвестно как и неизвестно зачем. Правда, у него только миллионеры и святые не берут взаймы...

— Ты, Миша, не святой и не миллионер, а наверное никогда не брал.

— Ты отлично знаешь, что я принципиально ни у кого не беру взаймы денег, да мне и не нужно, я достаточно зарабатываю, — сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна, и

ее муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумеющимся делом. — Верно и то, что в их доме каждый день и целый день толкутся люди тоже неизвестно зачем и почему. Однако, и при его широком хлебосольстве они наверное могли бы проживать вдвое меньше, еслибы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университе признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вероятно, интегральное исчисление знает лучше, чем арифметику.

— Где же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не верила легендам, будто можно роскошно жить ни на что.

— У него прекрасное родовое имение в московской губернии, должно быть заложенное и перезаложенное... Это приятно, что они здесь, я очень люблю их семью. Знал еще его жену, она умерла года три тому назад. Ее смерть была для него ужасным ударом. С тех пор у него пошли какие-то катарры.

— Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья. Они происходят от боярского сына Муравья из рода Алаповских.

— Не знаю, Юрий Павлович. Как тебе известно, все сие не по моей части... Так ее платье модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платьи от Ворта. Но никуда она не уйдет, вздор! А правда, очень хорошенькая?

— Хорошенькая.

— Что такое значит «уйти в народ»? — с тревожным изумлением спросил Юрий Павлович.

— По совести, я и сам не знаю, что это собственно значит.

В списке курортных гостей оказались и другие знакомые, однако, тоже мало интересные. Дюммлеры побывали у врача, который благоговейно подтвердил предписание Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в Курзале. Черняков попробовал на-

удачу воду одного из источников и, не допив, сделал гримасу. — «Гадость невообразимая!» — сказал он сестре вполголоса, чтобы не слышал Юрий Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич приуныл. Он вообще не любил уезжать из Петербурга, да еще в такие места, куда петербургские газеты приходят на четвертый или пятый день.

. . . . .

На следующее утро Дюммлеры встретили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с Софьей Яковлевной по Unter-Allee, что необычайно подняло их престиж в городке, где все тотчас узнавали все. Однако, об их адресе государь не спросил и ничего не сказал о княжне. Софья Яковлевна тщательно скрыла разочарование.

— Для нас всех главное отдохнуть и возможно меньше видеть людей, — говорила она убедительно.

Жизнь скоро наладилась. Юрий Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду, в парусиновом кресле у стола, читая «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг», местную Кобленцскую газету, а также книги, теперь преимущественно по медицине, в частности, главы о катаррах и о действии вод. Черняков, как все, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмсе. Он немного занимался с Колей, уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, затем гулял по Колоннаде. В восемь приходили русские газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым, как везде со всеми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились приятельские отношения. С газетами он возвращался домой, проходил в саду к столу не по дорожке, а через траву под неодобрительным взглядом Юрия Павловича, и тоже надолго устраивался в парусиновом кресле. Дюммлер в Эмсе русских газет не читал, — говорил, что отдыхает от них душою: для одного этого стоит уезжать заграницу. Черняков,

очень уважавший зятя и не любивший заниматься изысканиями ни в своей, ни тем менее в чужой душе, все-же находил, что Юрий Павлович расцвел, оказавшись в Германии. «Конечно, он верноподданный, но, ей Богу, в душе ему Вильгельм ближе, чем наш государь, тем более, что он государя считает либералом», — думал Черняков, искоса поглядывая на Юрия Павловича. По давнему молчаливому соглашению, они редко говорили о политике.

После немецкого диэтетического завтрака, Дюммлер уходил в спальную отдыхать, а Михаил Яковлевич зевал все в том же кресле. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обменивались со знакомыми новыми сообщениями о коронованных особах и о княжне Долгорукой. Дня через три Дюммлеры опять встретили государя; на этот раз он спросил, где они остановились. Софье Яковлевне было известно, что государь после завтрака уезжает верхом к княжне и обычно проводит у нее весь остаток дня. Как-то встретились они и с княжной на левом берегу Лана. Беседа была приятная, но краткая; с обеих сторон была выражена радость по случаю соседства, однако, о дальнейших встречах ничего определенного сказано не было, — только неясно говорилось, как приятно было бы встречаться почаще: в Эмсе так скучно.

Скучно действительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятия с Колей отнимали у него не более часа в день. Работа не шла. Без библиотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученого дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина следующую телеграмму: **«Priesjaiu sevodnia 7 vechera prochu sniat komnatu spasibo privet mamontov».**

— Узнаю нашего Леонардо! «Прошю сниат комнатю», — благодушно сказал сестре Черняков, точно Николай Сергеевич так и произносил эти слова. — Это не разговор. На сколько времени «сниат комна-

тю»? В какую цену? В гостинице или в приватном доме? С табль д-отом или без табль д-ота? Обо всем этом ни слова!

— Возьми без табль-д-ота: он, надеюсь, будет часто приходить завтракать и обедать к нам.

— В приватном доме без табль д-ота, пожалуй, не сдадут. На зло ему, я сниму комнату в «Энглишер Гоф», пусть тратится!

— Почему, однако, он едет из Берлина? Ведь между Эмсом и Парижем прямое сообение.

— Вот увидишь: cherchez la femme.

Михаил Яковлевич отправился встречать Мамонтова на вокзал и к обеду не вернулся. Дюммлер осведомился о нем у жены.

— Мамонтов?.. Ах, да, тот первой гильдии купеческий сын. Но разве поезд еще не пришел?

— Вероятно, они куда-нибудь пошли вместе обедать. Они большие друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергеевичу и через Мишу просила его бывать у нас возможно чаще, — сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная «купеческим сыном».

— Очень рад. Я решительно ничего против него не имею, — поспешил добавить Юрий Павлович.

Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку, гостиная виллы еще была освещена. Софья Яковлевна сидела у лампы, как всегда, затянутая в корсет и, тоже как всегда, на стуле, хотя в комнате были диван и покойные кресла (это изумляло ее брата: он любил говорить, что «жизнь ничего не стоила бы без лежащего положения»). Она читала «La Curée» Зола. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел.

— Ну что? Приехал? Где же вы были? — спросила она вполголоса: Юрий Павлович уже спал, и его спальная была рядом с гостиной.

— Приехал, — так же тихо ответил Черняков и

засмеялся. — И не один! Что я тебе говорил? Конечно, cherchez la femme!

— В чем дело?

— Ларчик просто открывался! Та самая питерская цирковая артистка! Помнишь, я тебе рассказывал? Это он к ней ездил в Берлин! И привез оттуда целую труппу... Ее зовут Катилина! Но, должен сказать, мила, очень мила!

— Да? Ты успел познакомиться?

— На вокзале имел честь быть оной Катилине представлен. Слава Богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо верно их бы притащил со слонами в «Энглишер Гоф»!.. Мы с ним там пообедали и выпили бутылочку-другую очень недурного рейнвейнцу.

— Я вижу. Что-ж, он изменился, твой Мамонтов?

— Изменился. И ломается немного больше прежнего. Вероятно, от продажи «Стеньки». Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторане встретили...

— Утром увидим его на водах?

— Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти... Встретили Павла Васильевича, я их познакомил.

— Значит, он у нас завтра завтракает?

— Завтракать не может, занят. Врет, конечно: пойдет к Катилине. Но соизволил принять приглашение на обед. Так что ты, во всяком случае, увидишь его вечером.

— Да я не так жажду его видеть, — сказала с досадой Софья Яоквлевна.

V.

Мамонтов весной получил в Париже от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшаве проделал тройное сальтомортале, и не разбился, и стал знаменитостью, и получил приглашение в какой-то знаменитый цирк, разъезжающий по всему миру. Заодно взяли ее и Алексея Ивановича, — «без нас Карло, конечно, не

принял бы», — с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергеевича встретиться с ними где-нибудь перед их отъездом за море. «А то, ей Богу, едем с нами в Америку, я и забыла сказать, что ведь мы едем в Америку, ей Богу, правда!.. А вы все говорили, что любите меня и нас всех. Так как же, милый, не приехать хоть проститься, ведь когда же мы вернемся в Россию!.. А я вас так люблю!.. Вы опять скажете, что это надо доказать, видите как я все помню, голубчик, но, накажи меня Бог, я говорю правду, ведь я и не умею врать, вы сами говорили... И я так рада за Карло, хоть берет страх, просто ужас и ночью не сплю, впрочем, вру: сплю»...

Все письмо было нежное, счастливое, бессвязное, безтолковое и безграмотное (почему-то Катя беспрестанно употребляла многоточия, видимо, приписывая им какое-то особое значение). Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо.

Получение этого письма совпало у него с неудачами и разочарованиями. Он вдруг почувствовал желание пристать к цирку. Ему стало совестно, что в последний год он почти забыл о Кате, — только изредка обменивался с ней письмами. «Все эта глупейшая история с Ивонн»... У него был роман с натурщицей, закончившийся денежным расчетом, о котором ему и теперь, через месяц, было стыдно вспоминать.

Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, быть может, цирк пригодился бы ему, как художнику, новизной впечатлений и сюжетов. «Вот это тема почти не использованная. А уж если в самом деле п о д т в е р д и т с я, что большого таланта к живописи нет, если в самом деле переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поездка в Соединенные Штаты подходит как нельзя лучше?»... Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердится» уже, в сущности, предрешало дело, и теперь, впервые, эта мысль не вызывала у него тревоги. «Ну, допустим, что я писал не

так, как нужно, допустим, большого таланта не оказалось, — это, вдобавок, пока неизвестно, — все-таки еще два-три года можно выбирать жизнь заново... И как прелестно-безграмотно она пишет! Что, если в самом деле поехать с цирком? Я не подрядился прожить жизнь так, как это угодно мещанам». Он думал и о том, что в присоединении к цирку было бы нечто устарело-романтическое и теперь дешевое, «à la Алеко».

На следующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством, как все чаще в последнее время (прежде, в Петербурге, этого не было). Николай Сергеевич первым делом подумал о письме Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям: «Что мне делать в Америке?» Он встал, оделся, хотел было начать работу и не начал: опять стал ходить по комнате. «Вот ведь мне казалось, что и в Ивонн я влюблен... Другое дело, если говорить о поездке в Америку вообще. Собственно, я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал! Верно и то, что за деньгами остановки не было бы: еще на несколько лет жизни денег хватит во всяком случае, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать». Он почти с отвращением взглянул на свой «Уголок Компьенского леса» и подумал, что таких уголков в лесу, на заре и под вечер, в серых, голубоватых, серебряных тонах только что всеми оплаканного Коро есть, наверное, сотни. «Да, ясно, что надо все, все пересмотреть, надо понять, что я писал вздор, что «Стенька» никуда не годится, как никуда не годятся всякие княжны Таракановы, Грозные у гроба сына, становые на следствии и колдуны на свадьбе, которые десятками фабрикуются у нас в России... Если же с позором из живописи уйти, то... Куда же уйти? В революцию? В журналистику?.. Верно, это судьба всех бездарных неудачников бросаться из стороны в сторону», — думал он полупокаянно-полуиронически. «А вот просто повидать Катю было бы очень соблаз-

нительно, но где-нибудь поближе, без всякой Америки»... Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда едет цирк. «Но как мило, что она «умею» пишет с е».

Николай Сергеевич так же нежно ответил Кате и просил Карло и Рыжкова толком сообщить все об их поездке. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, настолько восторженное, что после него не встретиться с семьей Диабелли был бы просто невозможно. В конце, на немецком языке, без обращения и подписи, был записан, очевидно, рукой Карло, их маршрут с обозначением дней, часов и гостинниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбурге, Бремене, Бреславле, Берлине и закончат европейские гастроли в Эмсе. «Ну, что-ж, в Эмс ездят теперь все. Отчего же мне не пробыть там несколько дней с ними?»

Узнав из письма Чернякова, что Дюммлеры тоже едут в Эмс, Николай Сергеевич поколебался; потом рассердился и сказал себе, что в таком случае приедет туда с Катей наверное, — точно он бросал кому-то вызов.

В последний день Мамонтов решил сделать сюрприз: заехать в Берлин за семьей Диабелли. На долгой остановке в Кельне он вынул из чемодана новый костюм, переоделся и выбрился. «Совсем, как влюбленный!» — иронически думал он.

Но, когда в крошечной комнате их убогой гостиницы на окраине Берлина Катя, смеясь и плача, повисла у него на шее, Николай Сергеевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая история с Ивонн никакого значения не имеют, что он поедет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет.

Алексей Иванович встретил его со своим обычным степенным радушием: как будто и в самом деле очень ему обрадовался. И только в приветливости Карло было, как всегда, нечто не совсем приятное. «Точно он еще выше ростом стал после этого сальтомортале»...

О поездке в Америку Николай Сергеевич не сказал ни слова, да и не было времени: их поезд отходил через несколько часов. Для международного цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко ответил, что это невозможно; все места заняты и постороннего человека не впустят. «Это ничего не значит, я поеду в другом вагоне», — поспешил сказать Николай Сергеевич. Легкий холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повести Катю и Рыжкова в кондитерскую: сам он все бегал по делам.

— Разумеется, он страшно раз нас вам подбросить, мы у него на шее сидим, — объявила Катя. Оказалось, что она и Алексей Иванович, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, почти не выходят из гостиницы, из боязни заблудиться. — Мы и то носим при себе его записочку с адресом, как собаки ошейник с надписью, чьи оне! — объяснила она и залилась смехом, который в следующую ночь снился Николаю Сергеевичу.

По пути в Эмс, на большой станции, Мамонтов, в другом, светлом, тоже слишком хорошем для дороги костюме, подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. «Значит, не очень меня ищет»... Из ее вагона слышался веселый говор, женский смех, — не Катин. Николай Сергеевич постоял на перроне, не поднялся в вагон, почему-то сделал даже вид, что стоит не у этого вагона, затем отошел с неприятным чувством. У буфета Карло пил пиво с высоким, благодушного вида человеком, который что-то рассказывал ему на ломанном немецком языке. «Так Карло не с ней в вагоне», — с облегчением отметил Мамонтов. Акробат представил его своему собеседнику. Это был директор цирка, американец Андерсон. Узнав, что Мамонтов владеет английским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамилии, которую легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в России и знал несколько русских слов.

— А по-французски я совсем хорошо говорю, с чистым пенсильванским акцентом, — добавил он. — В нашем деле иначе нельзя.

— Вы давно в Европе?

— Несколько лет. Америка слишком бедная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война, — пояснил он со вздохом. — Впрочем, теперь наши дела как будто начинают поправляться. Мы едем домой, и не могу сказать, чтобы я был этим огорчен... Выпьем еще по стакану? А вы ничего для цирка не умеете делать? — с любопытством спросил Андерсон. — Едем с нами в Америку? Лучшей страны нигде в мире нет!

«Да, странный и, кажется, интересный мирок», — думал у себя в вагоне Николай Сергеевич. — «Конечно, он ничего не теряет от сравнения с нашим, где все так и дышит завистью и злобой. Было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. Но неужто я в самом деле поеду в Америку? Не сойти ли на первой станции, не сбежать ли в Париж или, еще лучше, в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. Хотя он отлично знал, что ничего такого не сделает, Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затем снова у него завертелись памятные по Петербургу мысли об отношениях между Катей и Карло, он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «...Я так вас люблю, так люблю! Ей Богу!» — говорила Катя в кондитерской, уплетая пирожные и срываясь с места, чтобы поцеловать его. Немки принимали их за молодоженов.

Когда поезд замедлил ход у Эмского вокзала, на перроне Николаю Сергеевичу бросился в глаза Черняков, в не очень шедшем к его солидной фигуре легком белом костюме. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными

пальцами, затем обнял Мамонтова, обдав его смешанным запахом крепкого одеколона и хорошей сигары, и минуты две высказывался о наружности Николая Сергеевича.

— ...Совсем парижанин! Так ты и усы подстриг? Но прямо цветешь, а? Вот что значит успех и миллионы! Я тебе и комнату приготовил в гостинице для миллионеров... Не надо было? Пеняй на себя, зачем не сообщил, что тебе нужно?

Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза.

— Как в вагонах для цирка? Я читал в местной газете — газетка, кстати, паршивая! — что сюда приезжает цирк или зверинец... Они, что-же, со зверьми едут, твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заехать в «Энглишер Гоф»? Об этом я, извини, не договаривался, ты сам им объяснишь. Так ты стал укротителем зверей?

Увидев Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть может потому, что сбылось его предсказание «cherchez la femme». У Кати был испуганный и растерянный вид.

— Ради Бога! — сказала она Мамонтову с мольбой в голосе. — Ради Христа, зайдите за нами завтра пораньше! Голубчик, приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!

Николай Сергеевич обещал прийти рано и познакомил ее с Черняковым. Катю, видимо, немного успокоило то, что в этом месте могут быть русские. В другое время она, наверное, тут же поцеловала бы Михаила Яковлевича. Но здесь общая суматоха, слышавшаяся отовсюду иностранная речь так ее напугали, что она не поцеловалась на прощанье даже с Мамонтовым. Карло позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкий багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В конце перрона она огляну-

лась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно глядел на цирковых артистов.

— Что это? Клоуны? — испуганно спросил он. — Неужто ты их знаешь?

— Только этих трех и знаю.

— Ведь это та твоя петербургская, правда?

— Да, да, «та моя петербургская», — с досадой ответил Николай Сергеевич. Михаилу Яковлевичу, однако, показалось, что Мамонтов не слишком задет его словами. «Уж больно стал ломаться», — благодушно подумал Черняков, охотно прощавший людям маленькие слабости.

За поздним обедом в «Энглишер Гоф» бессвязный разговор, еще до жаркого, раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарного профессора в провинции, но уж очень не хочется уезжать из Петербурга, авось и там кое-что навернется; сообщил предположения о своей докторской диссертации, сообщил об отклике, который нашли его работы в русской и немецкой печати. Он спрашивал и Николая Сергеевича об его успехах, но Мамонтов отвечал уклончиво и с некоторым нетерпением. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительней.

— ...Ты, как Бисмарк, который, по появлении в газетах сенсационных слухов, «не подтверждает, но и не опровергает». Значит, «Стенька» имел в Париже успех?

— Некоторый успех, если хочешь, имел.

— «Если хочешь»! Я хочу. И тебе были заказаны портреты. Значит, все отлично?

— Значит, все отлично.

— Ну, так и говори. Хорошо, какие же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любивший за вином то, что он называл «интимными беседами». Ему хотелось поговорить о Катилине. — Когда ты возвращаешься в Петербург?

— Сам еще не знаю... Быть может, я поеду в Америку.

Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова.

— В Америку? В какую Америку?

— В Северную.

— Еще слава Богу, что не в Патагонию! Зачем тебе Америка? Что ты будешь делать в Америке?.. Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда едут в Соединенные Штаты?

— Да. И я, быть может, поеду с циркачами, — с вызовом в голосе ответил Николай Сергеевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успехов в жизни (хотя не слишком уж блистательных успехов: в меру), и ему было больно, что из его друга, повидимому, ничего не выходит. «Все он мечется и, должно быть, этим гордится, как все мятущиеся души. А в действительности тут дело не в мятущейся душе, а просто в юбке. Повидимому, он в самом деле втюрился в эту Катилину!»

— Но что ты там будешь делать?

— Не знаю. Впрочем, о себе мне сейчас не хочется говорить... Что же твоя прогрессивная партия? Кажется, государь к вам еще не обращался? — насмешливо спросил Николай Сергеевич. Черняков пожал плечами. — Помяни мое слово, все это добром не кончится.

— Что именно «все это»?

— Ты знаешь, что именно. Это желание государя всех очаровать, никому ничего не дав. Эта его манера рассматривать Россию, как свое родовое имение, где мужики и дворня, кроме нескольких неблагодарных негодяев, обожают доброго барина. Но à la longue это не годится. Я видел в Париже, в Швейцарии коекого из молодых русских поколения, следующего за нашим с тобой. Они все отпетые революционеры и нигилисты.

— Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намечается новое увлечение славянской идеей. Кстати, из Герцеговины идут тревожные слухи, там, кажется, назревают серьезные события. Что ты об этом думаешь?

— Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это события в Герцеговине. Я даже не знал, что в Герцеговине бывают события.

— От свечи, брат, Москва сгорела, — сказал Черняков и вдруг, радостно улыбнувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергеевич оглянулся. Из дальнего угла ответно улыбался их столику человек, в котором за версту можно было признать русского. К нему подходил лакей со счетом на тарелочке.

— Кто это? Русский, конечно?

— Павел Васильевич Муравьев. Знаешь? Почему ты морщишься? Или ты тоже делаешь вид, будто не любишь встречаться заграницей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими-же.

— Да я не потому, что он русский. Он аристократ, да? Ты знаешь, я не люблю аристократов.

— Почему «аристократ»? И что такое «аристократ»? Муравьевых в России пруд пруди. Он профессор физики. Очень дельный физик и милейший человек. Сам говорит, что он и не из тех Муравьевых, которых вешают, и не из тех, которые вешают. Иными словами, не состоит в родстве ни с семьей декабристов, ни с Муравьевым Виленским. Никакой он не аристократ, просто помещик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты, революционерам, — сказал Черняков, неожиданно с легким вздохом. — Это ей, впрочем, не мешает выписывать платья от Ворта и ездить верхом на кровных лошадях.

— Дочь тоже здесь?

— Да, две дочери.

— Хорошенькие?

— Младшая еще ребенок. Старшей лет девятнад-

цать, очень хорошенькая, и умная, и образованная. Замечательная девушка.

— Волочишься?

— Без малейшего успеха. Но часто у них бываю... Вот он подходит.

Профессор, знакомясь, крепко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложение «подсесть». Это был человек лет пятидесяти с очень приятным, умным лицом, с окладистой, уже седеющей бородой.

— ... Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсе ужинаете, — сказал Черняков. — Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет: мы вод не пьем... Но отчего же вы не привели Елизавету Павловну?

— Ее приведешь! Она с кем-то в Курзале. Что до ужина, то в нашем табль д-оте кормят дрянью. Ешь — противно, и через час после «абендброта» хочется есть. А я голодный заснуть не могу... Так вы прямо из Парижа? — спросил он Николая Сергеевича. — Ну, что же там слышно?

— Да что же он мог слышать? Он, кроме революционеров, никого, кажется, и не видел! — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрел на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая пояснения. — Николай Сергеевич такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза. Он с нашим братом, с «ретроградами», разговаривает только в случае крайней необходимости.

— Да мы с вами, кажется, не такие уж ретрограды, особенно я, — смеясь, сказал Муравьев.

— А кто вчера царя восхвалял?

— Нисколько не восхвалял, а просто отдавал должное.

— Должное? За что же, собственно, должное? — хмуро спросил Николай Сергеевич.

— Неужто и в Эмсе говорить о политике, да еще в такую жару? — вздыхая, ответил вопросом профессор. — Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти

к царю у меня нет. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нет... Никакой ненависти к нему не чувствую, — твердо повторил он, точно подумав и проверив себя. — Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мне известны не все. Извините педантизм естествоиспытателя, — с улыбкой обратился он к Мамонтову, — у нас первое дело знать факты.

— Какие же такие факты нам неизвестны? Факты те, что у нас полный застой, страна в развитии остановилась и вперед не идет. И в этом вина тех, кто ею правит.

— С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полного застоя нет, Россия растет и цивилизуется. Но, к сожалению, совершенно верно то, что темп ее движения вперед за последнее десятилетие очень замедлился. Вот это мне и непонятно. Александр II был одним из величайших реформаторов в истории. Если говорить правду, то по сравнению с его реформами реформы Петра отходят на второй план.

— Ну, нет, — вмешался Черняков. — Наш Питер особь статья. Недаром — «Великий».

Профессор опять вздохнул.

— Еслиб Александр II при осуществлении своих реформ тоже потоками проливал кровь, то и его, должно быть, прозвали бы Великим.

— Это парадокс.

— Нет, к несчастью, не парадокс. Великими в истории всегда прозывали только тех, кто с видимым на протяжении отрезка времени успехом пролил очень много крови. Без этого можно стать «Добрым», «Кротким», «Благословенным», «Святым», но для «Великого» нужны успех, кровь и больше ничего. Поверьте, еслиб Наполеон III выиграл войну 1870 года, он тоже стал бы Великим. Людовик XIV пролил много крови и получил «Великого». А Людовик XVI не пролил и окончил свои дни на эшафоте.

— Вот же наш Николай Великим не стал.

— Крымская война помешала. И, хоть это уж дру-

гой вопрос, в Николая ведь Каракозовы не стреляли. Я, кстати сказать, всегда тех, кто ненавидить Александра II, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу?

— К нашему поколению этот реторический вопрос не относится: мы при Николае еще под столом бегали.

— Поэтому ваше поколение и не может понять, что для нас означало вступление на престол Александра II. Мы точно глотнули воздуха после того, как едва не задохлись... Я прямо скажу: я Александра Николаевича не понимаю... Ничего не понимаю, — повторил профессор, опять подумав. — Этот человек освободил крестьян, ввел земство, самоуправление, прекрасный суд вместо старого дрянного, отменил рекрутчину, уничтожил телесное наказание, без срама выпутал нас из проигранной войны, затеянной Николаем вопреки его совету, умиротворил Кавказ, мирно, не пролив ни единой капли крови, присоединил к России богатейшие земли Дальнего Востока... Разве я не вправе сказать, что он сделал больше Петра? И разве у него не было міровой славы, вроде славы Линкольна? Кстати, помните ли вы, что после покушения Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацию во главе с Фоксом, чтобы приветствовать Александра II, «уму и сердцу которого русский народ обязан свободой», — это, кажется, был первый такой случай в истории. Его в северных штатах всегда и сравнивали с Линкольном. Вот какая была слава! И мне непонятно, что же такое произошло с царем? Почему человек, бывший величайшим реформатором, больше ничего не хочет делать? Я не политик, но каждому нормальному человеку ясны преимущества конституционного строя перед самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости, этот бесспорно хороший, неглупый и добрый человек окружил себя ретроградами...

— Да нам его мотивы совершенно не интересны.

Если он устал, то пусть идет к... Пусть уходит на покой!

— А мне мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрия Дмитриевича не знаете? Это клинский предводитель дворянства. Очень милый человек, хороший оратор, конституционалист. Так вот, видите ли, Голохвастов имел с государем беседу. Государь ему сказал со слезами в голосе...

— У него всегда слезы в голосе.

— Сказал ему следующее: «Чего вы все от меня хотите? Конституционного правления? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебе клянусь, что вот сейчас на этом столе подписал бы какую угодно конституцию, еслиб это только было возможно»...

— Кто же ему мешает?

— Не скрою, что это он объяснял Голохвастову невразумительно: говорил, что Россия на следующий день распадется на куски, все, мол, отделятся: Польша отделится, Финляндия отделится...

— И пусть отделяются.

— Это не разговор, Леонардо, «пусть отделяются»! — сказал Черняков. — Но эти опасения ни на чем не основаны.

— Я тоже думаю. Так какие же истинные причины? Думаю, скорее всего сильное давление оказывает на него окружение, состоящее на три четверти из крепостников...

— Вот бы он всю эту шайку и разогнал.

— К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь, — сказал Черняков. — Давно пора приструнить этих господ.

— Вы оба совершенно правы, но... Вот у меня дочь, молоденькая девушка, собственно, чуть не девочка, и ее приструнить невозможно, и я даже спорить с ней не хочу и не могу: я слово, а она мне двадцать. Мне просто лень, и я махнул рукой, Михаил Яковлевич знает, — смеясь, сказал профессор. — Вы

думаете, так легко приструнить старую Россию, с ее тысячелетней инерцией? Один пример: отмена крепостного права. Вам так кажется: сел государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобождении крестьян. А этого указа не хотели 99 процентов всех его близких, и девять десятых дворянства... Нет, вы не спорьте, это так! И как не хотели! Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на в с е, чтобы не допустить освобождения. Я прямо скажу, что для царя была опасность: ведь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его деда и прадеда: ведь их убили дворяне, а не революционеры. Да вот у меня есть маленькое личное впечатление, — сказал профессор, видимо, увлеченный спором. — Я только раз в жизни вблизи видел и слышал царя. Это было на приеме московского дворянства незадолго до освобождения. Почему-то я пошел, в первый и в последний раз в жизни, я плохой дворянин. Ну, собрались мы в Кремле... Не верьте вы, молодые люди, тем, кто говорить, будто большая часть дворянства стояла за освобождение крестьян. Да и в самом деле, вот ведь и на западе из за какого-нибудь пустякового нового налога поднимается дикий вой, а тут дело шло не о налоге, а о потере доброй половине состояния. Герцен, конечно, хотел освобождения, но сколько же дворян Герценов?

— Герцен вдобавок своих крестьян продал или заложил до эмансипации, — сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора. — Павел Васильевич, кофейку не хотите?

— Нет, поздно, я сейчас побегу... Ну, так вот, выстроились мы в кремлевской зале, хмурые, мрачные, насупившиеся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-адъютанты, ну, Английский клуб. Ну-с, вошел царь и заговорил. Говорит он, кстати, прекрасно, как настоящий оратор, только что грассирует. По моему, царям не полагается

грассировать. И с первых слов начал он нас, московских дворян, ругать, да как! Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мне в колеса вставляете, но ничего вам не поможет: крестьяне свободу получат во что бы то ни стало! Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крепостники ох как хмуро: верно считали Робеспьером! Смотрел я на них и думал, что страшна сила косности этих людей и не так легко царю сесть за стол и подписать указ! И продолжаю думать: без Тургеневых и Герценов эмансипация все-таки могла бы состояться, а без Александра II русские крестьяне, т. е. лучшее, что есть в нашем народе, и по сей день были бы рабами... Хоть я не легко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тем больнее мне теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли, или усталость, или разочарование от того, что он, верно, считает неблагодарностью? А что, если вся трагедия просто от легкомыслия? Ведь это, право, трагедия. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дело идет к беде... Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно: в Эмсе на водах вести политические дискуссии! — Он взглянул на часы, ахнул и поднялся. — Рад бы еще посидеть, да одиннадцатый час, и Маша дома одна. Это моя младшая дочь, — пояснил он Мамонтову, — ей уже четырнадцать лет и, представьте, она еще не решает судеб России.

— А старшая решает?

— Уже решила. И до споров со мной не снисходит. У нея политика дамская: без доводов, просто: «Ненавижу вашего царя!» — и кончено. Александр II, видите ли, мой!.. Так завтра увидимся на водах, правда? Ну, всего хорошего, и не сердитесь, если я что не так сказал. Я ведь физик, а не политический деятель, — ласково сказал Муравьев и, крепко пожав им руки, направился к выходу, опираясь на палку.

— Понравился он тебе? — после недолгого мол-

чанія спросил Черняков, допивая остаток вина в бокале.

— Так себе. Да, скорее понравился, хоть ничего умного он не сказал... Но в самом деле, что за манера: с первого знакомства заговорить о политике?

— Да ведь это ты заговорил о политикѣ! И потом, что же это? О себе ты говорить не хочешь, о политике тоже не хочешь, о чем же ты хочешь говорить? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмеялся.

— Извини. Я действительно немного устал. Но расскажи мне, как вы здесь в Эмсе живете... Уж очень приятное слово «Эмс». Мне в детстве ласкал слух «Багдад».

— Завтра утром ты на водах увидишь все и всех.

— Воды далеко отсюда?

— Разумеется, нет, два шага. Да вот я тебе объясню, — сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса. — Вот тут «Энглишер Гоф», здесь Курзал. Тут Кессельбруннен, а тут Кренхен. Юрий Павлович пьет Кессельбруннен, а государь Кренхен.

— Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?

— Какой ты, брат, стал «каустический», просто выдержать невозможно. Это Лан. Наша вилла на левом берегу, ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по левой стороне, шестая по счету, «Schöne Aussicht», запомнишь? Значит, завтра приходи к обеду, уж если ты завтракаешь с Катилиной...

— Не твое дело, с кем я завтракаю!.. Но скажи толком, здесь хорошо?

— Чудесно! Какие ландшафты! Красота! — ответил Черняков, вздохнул и засмеялся. — Если же ты хочешь знать правду, то городишка паршивый и скука адская. Смотри, вот и здесь, в «Энглишер Гоф», в десять часов вечера уже ни души!.. Я страшно рад, что ты приехал. Особенно если надолго и если ты не будешь торчать целый день у Катилины...

— Ненадолго. Дня через три они уедут и я тоже.

— Сестра тебя не отпустит. Она тоже была очень рада, что ты приезжаешь... Ты просто не поверишь, что это за скверный городок! Петербургские газеты приходят на четвертый день! Конечно, ландшафты один восторг!

В одиннадцать часов Николай Сергеевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поезде он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотелось: слишком много было впечатлений, слишком много было предметов, о которых следовало бы подумать. Следовало особенно подумать о Кате и Мамонтов пытался это сделать, однако вспоминал ея звонкий смех и больше ни о чем думать не мог. «Об этом позднее. Быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню», — говорил он себе и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что ничего не выяснит. То есть выясню, но не завтра. Карло? Это туда же», — думал он, как будто откладывая в тот же ящик и мысли о Карло. — «Что еще? Цирк? Да, очень интересный и милый мирок. Черняков? Он все такой же как был, и странно было бы, ослиб за год очень изменился. Этот верноподданный профессор? У него приятное лицо... Надо познакомиться с его дочерью»...

Можно было бы встать и взять из дорожного плаща купленную на станции и не развернутую в вагоне газету. Но это было бы слишком сложно: и вставать не хотелось, и у туфель сплюснулись задки, и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, искусно развешенные лакеем гостиницы по тесно наседавшим одна на другую вешалкам. «Да ничего нового, кажется, и не было. Войны не будет. А то можно было бы пойти воевать? Хорош я воин, если лень добраться до шкафа... А это что такое лежит?» На столике, рядом с небольшой лампой, лежала отпечатанная на прекрасной глянцевитой бумаге немецкая брошюра об Эмсе. Николай Сергеевич посмотрел на рису-

нок набережных с горами, — «кажется, в самом деле очень красиво», — заглянул в список гостиниц, строго разделенных на ранги, — «Englischer Hof» был в первом ранге «de luxe», тотчас за «Hotel des Quatre Tours», — и это почему-то было приятно Николаю Сергеевичу. Нечто успокоительное, сознание места, прав и ранга каждаго, было и в обстоятельном перечислении магазинов, церквей, синагог, врачей, — чувствовался твердый, устоявшийся быт, исключающий возможность потрясений. В историческом очерке, невообразимо скучном даже по шрифту, Николаю Сергеевичу бросились в глаза выделявшиеся стихи с белевшими обвалами в средине строчек. «Почему стихи? И почему такие длинные?» Сюжетом стихов была легенда о жившей некогда под Эмсом знатной госпоже фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было пределов ея земному счастью.

«Dieser Ehre ist zu viel!»
sprach die edle Frau von Steine.
Auch das Glück will End und Ziel.
Ziel noch Ende hat das meine.
Beide Söhne sind vermählt,
sind es Schmuck des Ritterstandes,
Drei der Töchter auserwählt
haben Edle dieses Landes.
Blieb mir doch das letzte Kind,
heute gab ich's einem Grafen.
Also dass es zwölfe sind,
die sich hier zur Hochzeit trafen...

В этих ровных парных стихах, как и в глупости легенды, было тоже нечто приятно-успокоительное. «Что-же мне нужно? Женится на графине и стать «Schmuck des Ritterstandes»? Или не на графине, но непременно на дочери адвоката, инженера, профессора?.. Люди будут пожимать плечами, как Черняков?

Какое мне до них дело? Что тут дурного, если ею стреляют из пушки? Катя бросит пушку, только и всего. Она необразована? Зачем мне ея образование? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая впрочем по существу ненамного образованнее Кати, только что знает языки и читает газеты... Как она меня завтра примет, фрау гехеймрат фон-Дюммлер?.. Фрау фон Дюммлер — фрау фон Штейне... «Штейне» вместо «Штейн» это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость... А моя поездка в Америку — да неужели я в самом деле поеду в Америку?» — думал, засыпая, Николай Сергеевич.

VI.

В шесть часов утра его разбудил слышавшийся отовсюду кашель. «Энглишер Гоф» вставал. Корридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тоне что-то пел, всем одно и то же. Из номеров высобывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стену; нельзя было даже разобрать, какая погода.

Через полчаса он вышел на улицу и ахнул: так прекрасна была набережная, с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножью гор. Пахло мокрой травой. Все было залито белым, чуть золотистым светом. Николай Сергеевич почувствовал прилив бодрости и энергии, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелепыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что решил ехать с ними. Влюблен? Старый дурак!» — подумал Мамонтов, бесознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встречал в жизни; он не считал себя ни дураком, ни старым. «Влюблен до безумия», как пишут в романах.

Я в жизни был по настоящему влюблен четыре раза, это пятый, и, разумеется, в тридцать лет нельзя быть т а к влюбленным, как в восемнадцать... Нет, я никогда не думал, что влюблен в Ивонн!» Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминании о последнем разговоре с натурщицей.

Из гостиниц и пансионов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшие люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многие из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергеевича не связывалось представление о тяжело больном человечестве. «Да, прелестный, хоть смешной городок!» — думал он, улыбаясь.

Той же безобидной, уютной глупостью, как ему казалось, веяло от всего: от того, что гостиница называлась «Gasthaus der Witwe Jost», от того, что на вывеске лечебного заведения огромными буквами значилось «Einspritzungen und Klystiere», от того, что уродливая, пожилая, толстая дама ехала верхом на ослике, победоносно улыбаясь немцу, шедшему за ней по тротуару с градуированным стаканчиком.

Из боковой улицы на набережную выехала барышня в амазонке на прекрасной гнедой лошади. Она с вызывающим любопытством оглядела Мамонтова, затем стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли дочь Муравьева?» — спросил себя Николай Сергеевич. — «В самом деле, хорошенькая, и похожа на русскую. Зачем она все-же несется как сумасшедшая? На таком галопе и задавить больного нетрудно. А отлично, кажется, ездит»...

Мамонтов спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушительного грозного вида; он и говорил как обыкновенный человек и даже улыбнулся, узнав, что прохожий направляется в цирк. В конце набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул.

На отведенной цирку большой, залитой холодноватым светом поляне за рощей стоял смешанный запах мокрого сена, конюшни и зверей. За ночь в средине поляны подняли и закрепили на канатах, цепях, блоках огромный шатер цирка; на нем развевались германский и американский флаги; вход был задрапирован пологом, спешно сшитым из синих, золотых и красных кусков полотна (это были цвета города Эмса). С раннего утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были намалеваны ярко-красная толстая женщина с волочившейся по полу косой, танцующие многоцветные карлики, раззолоченно-фиолетовая девица, мчащаяся под острым углом к арене на широкоспинном белом коне и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч, полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фраке, вынимающий из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распустившую крылья. За шатром цирка стояли другие шатры поменьше. Из за отдернутых пологов виднелись то раскормленные, белые, лениво жующие овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то расставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. С железнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные номерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Везде из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складные кресла и протянуты веревки, на которых сушилось белье. На мокрой траве валялось битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облепленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размеров. Огромная с мохнатыми книзу ногами лошадь, очевидно отставная той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. Поводырь лениво вел слона, еле сгибавшего на ходу

ноги. Около них бежали дети. Детей всех возрастов на поляне было множество, их восторженный визг выделялся в общем гуле, — такой гул первобытной радости бывает только в цирке, да еще в воде морских курортов во время купанья. Особенно много детей было по другую сторону шатров, где стояли фургоны-клетки хищных зверей. У многочисленных ларей люди в белых фартуках и колпаках торговали мороженым и вафельных трубочках и мутновато-желтой жидкостью из стеклянных чанов. Вокруг будки с кассой деловито устраивались нищие цирка.

— Николай Сергеевич, пожалуйте! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидел у своего фургона на скамеечке с фуфайкой и иголкой в руке. После тройного сальтомортале положение Карло в высшей аристократии цирка стало совершенно бесспорным, и семье теперь везде полагался отдельный фургон. Против Алексея Ивановича сидел на табурете карлик и что-то деловито починял, болтая в воздухе ножками. Рядом в парусиновом кресле дремал голый человек в трусиках и темных очках, с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стене цирка. На него восторженно глядели два подростка с вафельными конусами. Кати и Карло не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергеевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его волновало, как расположены койки и перегородки в фургоне. Повидимому фургон был пуст.

— Здравствуйте. Где же ваши?

— Карло репетирует, у нас вечером номер. А Катя ездит на слоне, — ответил Алексей Иванович. — Как изволили почивать?

— Отлично. Как ездит на слоне? Ведь мы должны завтракать?

— Да она сейчас придет. Слон оказался, изволите ли видеть, земляк: в России был когда-то. Дурочка этакая!

— Можно взглянуть на ваш фургон? Мне интересно, как тут живут артисты.

— Сделайте милость, только, извините, у нас еще не убрано.

Николай Сергеевич поднялся по крутой лесенке. Фургон был разделен пологом на две части. В первой из них стояли две койки. «Карло и Рыжков или Карло и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полог. Там была одна койка, и было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергеевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом: это была та бонбоньерка, которую он в Петербурге поднес Кате. Его охватило радостное умиление. Как ни первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергеевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотелось хоть немного пожить и этой жизнью, е я жизнью.

Он спустился по лесенке. Со стороны рощи послышался радостный визг: Катя издали его увидела. Она ехала на слоне, очень удобно усевшись на его голове во впадине; слон вытянул вперед хобот и Катя расположила на нем ноги. В руках у нея были синие очки. Она соскочила и хотела было броситься в объятья Николаю Сергеевичу, но не бросилась: накануне Карло сказал ей, что за поцелуи на улице в Германии сажают в тюрьму, и Катя этому поверила, как верила всему, что ей говорили мужчины: только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его одноцветной морщинистой коже, похожей на плохо пригнанное покрывало, целовала его в странно-нежный раздвоенный кончик хобота и одновременно без умолку говорила.

— ...Идем кофе пить!... Ах, как я вас люблю! Или нет, лучше не кофе, а шоколад! Я страшно люблю шоколад, со сдобными булочками и с маслом. Какое чудное место. Гадкий, почему вы так опоздали? Я умираю от голода!

— К тридцати годам ты растолстеешь так, что тобой разве из Царь-Пушки можно будет стрелять, — сокрушенно сказал Рыжков.

— Вот вы Царь-Пушку для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру, не хочу быть старухой! Или нет, в тридцать лет я стану укротительницей зверей! Постойте, я вас познакомлю с Джумбо! Его наверное зовут Джумбо, все слоны Джумбо. Это мой лучший друг! И он русский, вы знаете? Ей Богу, русский, он долго был в России. Чудный слон, ему сто лет, он помнит Ивана Грозного!.. Отчего вы смеетесь? Я глупость сказала? Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иване Грозном я сама читала, что он любил слонов. Где это я читала? Постойте, я вот только освежусь и пойдем пить шоколад.

— Без Карло?

— Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды, — как будто с уважением, но и с отвращением в голосе сказала Катя. Она взбежала по лесенке в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здесь, очевидно, был таким же безобидным членом общежития, как бежавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом.

— Мне страшно нравится, как вы живете, — сказал совершенно искренне Алексею Ивановичу Мамонтов. — Вот увидите, я присоединюсь к вам!

— Мы хорошо живем, — убежденно сказал Рыжков. — Но куда же вам к нам? Соскучитесь.

— В цирке соскучусь?

— Да, это публике только так кажется, будто мы такие веселые люди. Пришел раз к одному знаменитому доктору человек, жалуется на черную меланхолию. Ну, осмотрел его доктор и говорит: «Да вы, господин, здоровы как бык. А ежели у вас меланхолия, то вы пойдите в цирк, развлекитесь, там теперь гастролирует сам Гримальди, первый клоун в мире». А он отвечает: «Да ведь я-то, господин доктор, он самый Гримальди

и есть», — сказал с удовольствием Алексей Иванович, видимо любивший эту историю.

Катя что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро.

— Извините, Катенька, я думал, вы меня звали.

Катя выскочила из фургона, не пользуясь лесенкой, на ходу подняла и поцеловала собаченку, которая лизнула ее в губы.

— ...На зло Алешеньке я сегодня выпью не одну, а две чашки шоколада. Да!.. Правда, Николай Сергеевич, вы и за две заплатите. А то у меня в кармане один ихний гривенник, да и то не серебряный. И не две чашки, Алешенька, а три! «Ри», как говорит Карло.

Она опять залилась смехом. Николай Сергеевич видел, что американский атлет снял темные очки и смотрел, любуясь, на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развешивавшая белье на веревке соседнего фургона, не старались вмешиваться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то что французы называют непереводимым словом discrétion. Радостный гул и веселье на поляне создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы.

Николай Сергеевич повел рощей Катю и Рыжкова. Он по дороге в цирк заметил у Кургауза кофейню с открытой террасой. Они шли быстро, Катя то опиралась на его руку, то убегала вперед, то с хохотом надевала синие очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала веточку венгерской сирени, — на ея счастье сторожей в роще не было: начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволять себе столь дикие, караемые законом поступки.

— ...Ах, как хорошо!.. Ах, какая дивная роща! Собственно это даже не роща, а сад. Но у нас в России рощи еще лучше! Вы Волгу знаете? Правда, нигде в мире нет такой реки?.. Голубчик, я т а к рада, что вы приехали к нам! А вы рады? Правда, ей Богу? Ну, спасибо, чудно! Ей Богу, я предчувствовала, что вы

приедете! Я и Алешеньке говорила, правда, Алешенька?.. Ужасно смешные немцы и по русски ни слова не понимают! — говорила Катя. На набережной опять показались гуляющие с градуированными стаканчиками, тяжело опирающиеся на палки, кашляющие люди, и переход к ним от радостного веселья цирка, от его артистов, в громадном большинстве молодых, здоровых, сильных людей, был разителен.

Когда они проходили мимо Курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный не-курортного вида человек в необычном здесь темном сюртуке. Он быстро окинул их взглядом и вдруг, раздвинув локти, так неожиданно и так уверенно надвинулся на них, что почти прижал их к стене. Прежде, чем Мамонтов успел выругаться, грузный человек грозно прошептал: «Der Russische Kaiser!» и поспешно повернулся к двери. На пороге появился Александр II, в белом костюме, со стаканчиком в правой руке. За ним следовал другой грузный человек. Катя взглянула на высокого господина — и обмерла. Остолбенел и Алексей Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв левой рукой шляпу, кивнул головой. Рыжков низко поклонился, Мамонтов тоже автоматическим движением снял свою шапочку, за что позже себя бранил. Снимали шляпы и другие прохожие, даже те, что шли на противоположной стороне улицы. Отойдя на несколько шагов, император оглянулся, опять ласково улыбнулся Кате, смотревшей ему вслед выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, беспрестанно отвечая на поклоны сторонившихся перед ним или сходивших на мостовую прохожих.

— Ведь это наш государь?! — прошептала, придя в себя, Катя. Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсе, что он вообще может быть заграницей и особенно что он может гулять в штатском костюме.

— Вот так штука! — изумленно проговорил и

Алексей Иванович. — Как же вы нам не сказали, что государь тут?

— Совершенно забыл.

— Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! И глаза какие! Голубые-голубые и блестят! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслед Александру II. — Ей Богу, он на меня посмотрел! Вы видели? Ей Богу!

— Катенька, он ни на одну женщину не может смотреть равнодушно. Это всем известно.

— Как вы смеете так говорить о государе? Вам не грех? — возмущенно спросила Катя, впрочем не видевшая большого греха в том, что сказал Николай Сергеевич. Тут же выяснились ея политические взгляды: Катя обожала царя, но находила, что всех министров нужно повесить, так как из за них очень плохо живется бедным людям. Алексей Иванович прикрикнул на нее и объявил, что царь прекраснейший человек, а министры как министры; есть, верно, хорошие и есть плохие.

В кофейне лакей, привыкший к диэтетическим заказам кашлявших и задыхавшихся людей, с приятным удивлением смотрел на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнее, чем за другими. Ему было не совсем ясно, дама ли Катя. Что-то не дамское было и в ея платье, и в манерах.

Черняков, до прихода русских газет старательно восхищавшийся природой на Unter-Allee, увидел их и радостно к ним подошел с книгой в руке. За их столиком не было свободного стула. Михаил Яковлевич с несвойственной ему легкостью, происходившей от белого костюма и белых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидевшей за ним семьи разрешение взять стул. Он, так же скользя, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполне естественно улыбаясь. Катя смотрела на него с сочувственным любопытством. Николай Сергеевич,

несмотря на свою дружбу с Черняковым, опять почувствовал безотчетное раздражение.

— Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здесь все пьют натощак два-три стакана очень противной, пахнущей тухлым яйцом воды, Катя вытаращила глаза.

— Разве есть такой приказ?.. Нет, не смейтесь! Ну, я сказала глупость! И вы тоже пьете?

— Я нет, я здоров, тьфу-тьфу, — сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суеверен. — Но все больные пьют и вы не можете себе представить, с какой олимпийской серьезностью: одни с молоком, другие без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока! Кто Кренхен, кто Кессельбруннен, кто сначала Кренхен, а потом Кессельбруннен.

— Неужели и государь это пьет? Я видела у него стаканчик!

— Государь пьет Кренхен раз в день, по утрам. А германский император не пьет. Он сейчас тоже здесь, вы его не видели? Прямой важный старик, никому не отвечает на поклоны, не то, что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже.

Катя, слышавшая о княжне Долгорукой, с жадным любопытством расспрашивала о ней Чернякова: какая она? действительно ли так красива? вся ли в бриллиантах? Михаил Яковлевич сообщил о романе царя приличные юмористические подробности (в Эмсе передавали и не совсем приличные).

— Сам я ни разу ея не видел. Она не показывается ни на водах, ни на музыке, ни в саду. Иногда, по вечерам, ездит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну.

— Что же вы-то здесь делаете, если разрешите узнать? — солидно спросил Алексей Иванович. — Вы здесь давно?

— Целую вечность: больше недели.

Черняков благодушно-юмористически описал жизнь в Эмсе. Он хорошо рассказывал, — гораздо лучше, чем писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой; улыбка на его лице была напряженно-галантной.

— А где же твои? Еще спят? — спросил Николай Сергеевич.

— Что ты? Кто-же в Эмсе спит в восьмом часу утра? Сие запрещено полицией, polizeilich verboten. Они пьют Кессельбруннен, в Верхнем Курзале... Надеюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обедаешь? Обед ровно в семь тридцать. А то, может, и утром зайдешь? — спросил он и немного смутился, подумав, что собственно законы не запрещали бывать в их доме и друзьям Мамонтова. «Божия запрещения, конечно, нет, но Юрий Павлович умер бы от разрыва сердца, еслиб на его пороге появились акробаты. Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может не следовало звать его при Катилине»...

— Нет, я не забыл, — кратко ответил Николай Сергевич. Катя на него взглянула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами: оне уже наверное пришли.

— Неужто тут есть русские газеты? — радостно спросил Рыжков. — Голубчик, позвольте мне пойти с вами? Я ни слова по ихнему не знаю.

— Очень рад.

— Покажи ему Курзал, — сказал Мамонтов. — Постой, это у тебя «Русский Вестник»? Майский? Давай его сейчас сюда! Там должно быть продолжение «Анны Карениной»!

— Представь, почему-то в этой книжке нет ея продолжения! Я сам очень жалел. Зато есть интереснейшая статья Соловьева о судебной реформе в Царстве Польском...

— Это сам читай, — сказал Николай Сергеевич.

— Вы у его жены нынче обедаете? — спросила Катя, немного насторожившись.

— Нет, у его сестры. Он не женат. Он здесь с сестрой и с ея мужем.

— Она молодая?

— Молодая и очень красивая, — ответил Мамонтов. Они помолчали. — Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здесь, на свежем воздухе?

— А здесь не очень дорого? Мы и то вас разоряем. Но мы сейчас без копейки.

— Нет, не разоряете... Почему же у вас и теперь нет денег? Ведь после тройного сальтомортале, вы говорите, Карло стал знаменитостью?

— Не я говорю, а это все говорят! — обиженно сказала Катя. — Телеграммы были во всех газетах, даже в Америку телеграфировали! И везде нам теперь большой почет. Почему нет денег? У нас никогда нет денег, — пояснила она, точно сообщая закон природы, вполне все объясняющий. — Ну, мы немного приоделись после тройного: Карло нас заставил взять из общей кассы, деньги, говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мне грош цена, Алешенька уже стар, деньги платят Карло. Конечно, мы долги заплатили, все до копейки, мы страшно честные, — сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда. — Вот ничего денег и не осталось. Да это не важно: Карло теперь знает весь мир! Ах, еслиб вы видели, что это было в Варшаве! Это был не успех, а Бог знает что такое! Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухе три раза! Между тем, даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карло, чтобы он тройного не делал. Да ведь вы знаете, что он за человек! Вбил себе в голову тройное и кончено. Ему для славы нужно! — «Нет, говорит, не все разбивались. Этот, говорит, не разбился, и тот не разбился». А что другие десять разбились на смерть, это ничего!

— Вы очень волновались?

— Безумно! Просто и вспомнить страшно! Я сидела в уборной и молилась: «Господи, спаси!.. Господи, помоги!» Вдруг стало тихо: знаете, как когда объявляют публике? Ну, понятно, публику часто обманывают, вот и перед моим выстрелом Карло тоже просит «господ зрителей соблюдать полную тишину». Но здесь-то ведь я знала, что дело вправду идет о жизни!.. Сижу, трясусь (лицо у нея побледнело). Вдруг слышу: рев! Что это было, сказать не могу! Я выбежала на арену и бросилась ему на шею. А он ничего! Только толова немного кружилась. Журналисты побежали на телеграф, ей Богу, правда! Потом нам газеты показывали: английские, финляндские. С его б и о г р а ф и е й, — старательно выговорила Катя. — Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мне сказал, что для этого дня жил. Такой он человек!

— Какой же он человек?

— Хороший! Чудный! Прелесть какой!

— Вы любите его?

— Страшно люблю! А то как же? У меня кроме него и Алешеньки никого нет. Вот еще вы, — сказала она и потянулась, чтобы его поцеловать, но вспомнила о тюрьме и не поцеловала. — Они меня и воспитали. Я вам ведь рассказывала, что я, можно сказать, в цирке родилась. Нет? Мой отец был жонглер и первый человек на всей Волге. Он меня отдал в Мариинское училище. И не в трехклассное, а в шестиклассное! — с гордостью сказала Катя. — Я пять классов кончила, ей Богу не вру! Была в пятом классе, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное! Ну, как у нас водится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всех. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту (у нея на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарились). Так можете себе представить, артисты собрали денег и на похороны, и на мое ученье! Ах, какие у нас в цирке чудные люди! Я еще шесть меся-

цев училась. Потом, понятное дело, собирать стало труднее, стали там разное говорить: пусть мол работает, уже не маленькая. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по голове и спрашивает: «Хочешь, Катенька, учиться у меня делу?» Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но правду сказать, мне все эти алгебры осточертели. И, верно, цирк у меня в крови. И как видите, с тех пор без алгебры живем, и чудно живем. Теперь Америку увидим... Вы нашего директора Андерсона видели? Красивый старик, правда?

— Какой же он старик?

— Да ему сорок лет! И он американец, ей Богу! Но очень хороший человек, хотя не русский. Вы знаете, он по русски немного говорит. Только его какие-то шутники научили нехорошим словам, дураки такие! И вообще в цирке всегда хорошие люди. Только наездница Кастелли язва, думает, что она красавица, и важничает.

— Это та, что на белой лошади?

Катя засмеялась его невежеству.

— У наездниц обыкновенно белые лошади. Чтобы не видна была канифоль... А вы где же ее видели? — подозрительно спросила она.

— Да ведь она намалевана на стене, там где лотки.

— Да. Это н а ш и лотки. И вы знаете, они платят нам, т. е. Андерсону, аренды миллион рублей в год... Нет, что я вру! Тысячу. Тысячу талеров, — поправилась Катя, для которой, впрочем, и миллион, и тысяча были одинаково невообразимыми числами. — И нищие у нас тоже свои: всегда переезжают с цирком, но они нам ничего не платят.

— Что же вы будете показывать в Америке? Тройное сальтомортале?

— Это главное, конечно, но не только это. На тройном сальтомортале нам с Алешенькой ведь нечего делать. Алешенька тот хоть на подкидную доску

прыгает, а мне и показаться нельзя. Нет, мы уже составили номер, — серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергеевич по ее выражению понял, что это очень важная вещь: составить номер. «Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карло. А что если прямо ее спросить? Грубо и глупо, но, право, я спрошу», — подумал Мамонтов и сказал совершенно другое:

— Должно быть, это особая порода людей: люди тройного сальтомортале. Верно, и Бисмарк такой же.

— Какой Бисмарк? Бисмарк с тремя волосинками? Разве он прыгает?.. Опять я вру!..

— Да, Бисмарк с тремя волосинками, — повторил Николай Сергеевич. Ему было досадно, что она не очень оценила его замечание, как ему казалось тонкое. Вдруг на аллее, в нескольких шагах от себя, он увидел Софью Яковлевну. Она шла с мужем и с какой-то дамой. — «Подойти? Не могу же я бросить Катю!» Николай Сергеевич нерешительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бегло оглянув Катю. Дюммлер его не заметил.

— Кто эта черная? — спросила Катя. В голосе ее вдруг послышалась недоброжелательность. — Какая красивая!

— Да это и есть сестра Чернякова, с которым я вас познакомил. Ее фамилия Дюммлер. А Черняков мой товарищ по гимназии и по университету. Он вам понравился?

— Ничего... Только какой же он вам товарищ?

— Почему же нет? Что вы хотите сказать?

— Нет, я так.

VII.

Софья Яковлевна тоже нашла перемену в Мамонтове.

— Вы возмужали, дорогой мой, — го-

ворила она, вставляя в вазу принесенные им цветы. — Надеюсь, это слово вас не задевает? Вы не в том возрасте, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидеть. Брат сказал мне, что вы стали «величественнее», и в этом есть маленькая доля правды. Успехи сделали вас самоувереннее, это сказывается даже в вашей наружности. И слава Богу: так и надо.

— Какие же мои успехи?

— Я знаю вашу скромность.

— Она знает твою скромность, Люцифер! — сказал Черняков, бывший в самом лучшем настроении духа. В петербургской газете, которую он купил в это утро, была корреспонденция из Эмса. В числе видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсе, был назван «профессор Я. М. Черняков». Как ни досадно было, что газета перепутала инициалы, заметка доставила Михаилу Яковлевичу большое удовольствие. Назван он был в списке на последнем месте, но это, очевидно, объяснялось алфавитным порядком фамилий. Михаил Яковлевич проверил: «Да, конечно, все по алфавиту». Только «Ю. П. Дюммлер с супругой» шел впереди «писателя Ф. М. Достоевского». «Порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевский, кажется, еще не приехал. А не повезло мне с первой буквой», — подумал Михаил Яковлевич.

— Нет, особенных успехов я что-то за собой не знаю, — повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успехи н е ч а я н н о: так вышло.

— Леонардо, ты продал «Стеньку», это, во-первых...

— Продал потому, что в Париже в некоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надеются, что Россия поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингию, а для этого, разумеется, необходимо было

купить мою картину: ничто ведь не может доставить больше радости государю, правда?

— А, во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В третьих, наконец, ты имел сказочный успех у парижанок. И тем большую честь тебе делает то обстоятельство, что ты и после всего этого не забыл старых друзей. Ведь ты мне за полтора года написал целых два письма, шутка ли сказать! Впрочем, и тот Леонардо, говорят, после «Жоконды» еще подавал два пальца старым приятелям.

— Да что ты к нему пристал? — сказала брату Софья Яковлевна. — Это правда насчет заказов?

— Совершенный вздор. Я за умеренную плату написал три портрета среднего достоинства. Только и всего.

— Это уже несомненный успех. А как отнеслась к вам критика?

— Критика была больше устная. Рецензий было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом.

— Кто и каким? — радостно спросил Черняков.

— Это было так. Наша прошлогодняя выставка помещалась недалеко от выставки импрессионистов на Boulevard des Capucines. Вы слышали об импрессионистах?

— Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названию картины одного из них: «Impressions de»... «Impressions de» не знаю, чего именно?

— Просто «Impressions». Они в прошлом году устроили в Париже свою первую выставку. Над ними все издевались и, по моему, очень глупо: между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистеть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них, вообще, впрочем, человек мрачный, Сезанн, проходя мимо моего «Стеньки», будто бы воскликнул: «Dieu, quelle saloperie!» Быть

может, он даже выразился еще сильнее, но мне добрые люди передали именно так, — сказал, улыбаясь, Мамонтов. «Зачем я им это рассказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествие. Именно на выставке импрессионистов Николаю Сергеевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всех его учителей. «Что, если именно эти мальчишки правы, и мне надо всему учиться с азов?»

— И ты не заколол оного Сезама каким-нибудь флорентийским кинжалом 16-го века?

— Я сделал другое: я решил купить его картину «La Maison du pendu». Как бы все над ним ни издевались, он человек очень талантливый. На их выставке любую картину можно было бы купить за десять-пятнадцать франков, но эта как раз уже была продана: я опоздал.

— Твой поступок прямо из первых времен христианства!.. Ты разочаровался в живописи и сожжешь «Стеньку», как Гоголь сжег «Мертвые души»! Не делай этого, умоляю тебя!

— Я не разочаровался в живописи. Скорее она во мне разочаровалась, — сказал Мамонтов, обращаясь к Софье Яковлевне. «Точно он с вызовом это говорит: «влюблен, и ни живопись, ни ваше мненье теперь не имеют для меня значенья!» — подумала она с удивившей ее досадой и улыбнулась.

— Меня очень радует, что ваш очевидный успех не вскружил вам головы и что вы остались таким же простым, милым и умным человеком, каким были... Ну, а как же Бакунин и Маркс?

— Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным — не сердитесь — я на ты... Юрий Павлович не выгонит меня из дому?

— Вас даже не оставят без сладкого... Надеюсь, вы приехали в Эмс надолго?

— Нет, всего на несколько дней. Вы довольны Эмсом?

— В восторге.

— Ведь это теперь самое модное место. Съезд огромный. Кто здесь из русских?

— Могу дать тебе список. Сегодня его зачем-то напечатали петербургские газеты. Вот... Только верни, я еще не все в газете прочел.

— Кто из русских? Прежде всего, государь.

— Да, я знаю. Вы его, разумеется, часто видите?

— Да, как все, на водах. Он очень милостив к Юрию Павловичу и постоянно справляется об его здоровьи... Не то что некоторые.

— Ради Бога, извините! Но мне Михаил вчера сказал, что Юрий Павлович чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болезнь не опасна.

— Это так. В Петербурге он в последнее время не вставал с постели, а в Эмсе теперь вот гуляет, как юноша. Здешние воды делают чудеса. Он и сейчас на музыке. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрий Павлович... Вы спрашивали о государе. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, княжна Долгорукая тоже здесь. Государь проводит у нее целые дни, с ней и с Гого.

— Кто это Гого?

— Сын государя и княжны, Георгий, очаровательный ребенок, писаный красавец, весь в отца. Он здесь на водах имеет бешеный успех. Когда он гуляет с няней, за ним так и бегут восторженные немки. На днях его встретил император Вильгельм. Немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щеке, сказал: «Der kleine ist wirklich bildschön», добродетельно вздохнул и оглянулся по сторонам: не донесли бы его жене или нашей императрице... Я редко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына: он своих законных детей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей бриллианты, ему игрушки, все выписывается из Парижа. При Гого няня, славная женщина. И представьте, го-

сударь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку! Этого мы с вами не сделали бы. Александр Николаевич самодержавнейший из всех монархов, но он по природе демократ!

— Не говорите мне таких вещей: у меня льются слезы умиления.

— Он ее и при посторонних, и наедине называет «княжна», — продолжала с увлечением Софья Яковлевна. Брат смотрел на нее и дивился. «Откуда ей все это известно? Выходит так, будто она проводит с ними целые дни»... Михаил Яковлевич был в душе разочарован невниманием государя к Дюммлерам и понимал, что это для них тяжелый удар, как они ни притворяются, будто ничего лучшего нельзя было и ожидать. — А она называет государя «Саша». У меня в ее положении просто не повернулся бы язык сказать государю «Саша» и «ты»!

— Что-ж, она старику изменяет?

Софья Яковлевна только на него посмотрела.

— Изменяет? Государю!.. Ну, не будем об этом говорить. Какие же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург?

— Это зависит от многого... Прежде всего, от состояния моих дел.

— Да, кстати, я у тебя вчера забыл спросить. Что же твой процесс?

— Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый, небольшой, кончился миром: мой адвокат заключил соглашение с противной стороной, она заплатила мне сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путаный и, повидимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашение, хотя я предлагал ей выгодные условия.

— Леонардо, сорок тысяч тоже большие деньги.

— Не очень большие, — сказал с досадой Николай Сергеевич. Он вернул долг купцу-процентщику;

заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Париже, и денег у него оставалось не так много.

— Какая же связь между вашим процессом и возвращением в Петербург?

— Прямой связи нет, — сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду: его планы зависели теперь только от Кати. — Мне хотелось бы сначала выяснить состояние моих дел.

Из передней послышался недовольный голос Дюммлера. Юрий Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлине трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну, Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здоровается государь», — подумал тотчас раздражившийся Николай Сергеевич.

Дюммлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и голову. В первый раз в Эмсе он находился в дурном настроении духа: на музыке Юрий Павлович вдруг почувствовал странную боль, как будто не имевшую ничего общего с его катаррами — или с тем, что катаррами называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслед за отцом в гостиную вошел Коля, уже не в матросской куртке, но еще в коротких панталонах.

— Узнаете его? Помните, вы его видели полтора года назад с Патти? — спросила Софья Яковлевна, нежно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону.

— Узнаю, конечно, но мог бы и не узнать: так он вырос.

— На вид мы, кажется, не такие старые, но нам больше двенадцати лет.

— Скоро будет тринадцать, — поправил Коля и тотчас исчез.

— Я ему заметил, что он слишком много бегает

к этим... как их? — сказал Юрий Павлович и, не дожидаясь ответа, заговорил с Мамонтовым о Париже.

— Если говорить правду, то Париж просто грязный город. Да и красота его ложная слава.

— Что ты, Юрий Павлович, стыдно! — возразил Черняков, отстаивавший самостоятельность своих суждений. Дюммлер, впрочем, никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего шурина очень способным и подающим большие надежды ученым, все-же хорошо выделяющимся на общем фоне радикальной интеллигенции. Их спор о Париже, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах дверъ из гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла видимо на всю жизнь заученные слова.

— Das Essen ist angerichtet.

Николая Сергеевича, надеявшегося на хороший обед, ждало разочарование. На столе не было ни закусок, ни водки, подавались диэтетические блюда, а вместо вина — пиво, правда, превосходное. «Почему бы это такое падение?» — спросил себя Николай Сергеевич, слышавший, что дом Дюммлеров в Петербурге славился кухней. Его на обеды в этот дом никогда не приглашали, однако, не из за невысокого социального положения, а потому, что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась неприятных разговоров с другими гостями. Тут, в Эмсе, ей было решительно все равно, как и о чем говорят. Говорили о возможности новой франко-германской войны.

— Теперь, благодаря вмешательству государя, опасность может считаться устраненной, — сказал Черняков.

Юрий Павлович пожал плечами. Он во внешней политике называл себя реалистом.

— Какое нам до этого дело? Германия нам нигде и ни в чем не конкурент. Союз с ней был, будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенция

государя императора очень задела князя Бисмарка. Мне пишут, что он прямо сказал государю императору и князю Александру Михайловичу: «Je suis l'ami de mes amis et l'ennemi de mes ennemis».

Дюммлер совершенно правильно и чисто говорил по-русски, но когда он произносил французские фразы, в них немедленно сказывался немецкий акцент.

— Ну, нам незачем особенно считаться в нашей политике с тем, что приятно и что неприятно князю Бисмарку, — сказал Михаил Яковлевич.

— С германским канцлером приходится считаться всем, хотят ли они того или нет. Вся ориентация нашей внешней политики сейчас едва ли отвечает прочным, правильно понятым интересам России и европейского концерта. Я не понимаю этой нашей сантиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видели, кроме Севастополя, поддержки польских революционеров и т. д., чтобы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарелое франкофильство еще стало у государя императора осложняться англофильством, в чем я вижу последствие брака великой княжны Марьи Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать от Сент-Джемского кабинета, — сказал Дюммлер и замолчал, пожалев, что начал серьезный разговор с людьми, не имеющими никакого значения.

— Ну, уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил, — возразила Софья Яковлевна. — А твоего Бисмарка я просто терпеть не могу! Если бы я была художником, как вы, Николай Сергеевич, я изобразила бы его встречу с императором Александром: злое начало и доброе начало в мире. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо: злой бульдог.

С дамами, кроме великих княгинь, Юрий Павлович вообще никогда не говорил о политике, как Ньютон никогда не говорил с дамами о науке. Услышав

замечание жены о наружности Бисмарка, он улыбнулся и сказал:

— Странно, что выпавший ночью сильный дождь, нимало не освежил воздуха. Но в общем климат Рейнской области и стоящие здесь погоды выше похвал.

— Вы довольны лечением? — спросил, подавляя зевок, Мамонтов.

— Да, доволен, — ответил Дюммлер. До появления новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он ответил бы гораздо восторженнее. Софья Яковлевна тотчас с удивлением на него взглянула. — И я всем советую пить именно Кессельбруннен. Он много теплее Кренхена, 46 градусов, а не 35, и содержит в три с половиной раза больше аммониевых солей.

— Меня забавляет немецкая обстоятельность, — сказал Черняков.—В заведении, где полощут горло, есть Rachengurgeln, Kehlkopfgurgeln, Rachennasengurgeln, Kehlkopfnasengurgeln и еще с полдюжины разных гургельнов.

— Не понимаю, что тут может з а б а в л я т ь, — возразил Юрий Павлович. — От каждой болезни свое полосканье, что же тут забавного? Да эта обстоятельность и составляет силу Германии, являясь одним из серьезнейших факторов ее необычайных успехов во всех областях. Благодаря ей, хотя, разумеется, не только благодаря ей, Германия стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мире. В Германии нет места крайностям, утопиям. А мы, чем подражать этому, смеемся над этим. И профессора, как ты, тоже смеются. Это, я прямо скажу, нехорошо, Миша.

Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. «Можно было пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате... После этого дрянного компота

будет кофе, вопрос в том, подадут ли его здесь или в гостиной; если здесь, то через полчаса можно будет проститься, но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе действие пьесы... Кажется, она еще похорошела», — думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать две? Мальчику тринадцатый... Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст... Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она красивее Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта — сюжет для скульпторов».

— О, нет, я не отрицаю гения Бисмарка, однако, ничего не надо преувеличивать, — почти механически сказал Николай Сергеевич, сам удивляясь тому, что его замечания выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух действиях: Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную.

— Меня прошу извинить, — сказал, поднимаясь Дюммлер. — Кофе мне запрещено, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь, завтра увидеть вас на водах, — обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила: все в этот вечер раздражало его у Дюммлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада.

— Очень способный мальчик Коля, — сказал

после минуты молчания Черняков. — Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас.

— Да что ты выдумываешь, Миша!

— Не сердись, Соня, это так.

— Ну, а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов.

— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестре. Читаю... Представь, на днях я от скуки съездил в Кобленц и за безценок купил у букиниста отличнейшее издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына, в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я!

— Я знал, что ты библиофил, это в тебе самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно для оригинальности, потому что все наши философы кантианцы или гегелианцы, — сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.

— Какой вздор ты несешь!

— Все-таки ты не станешь говорить м н е, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль, — сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой.

—К кофе я велю подать коньяк и ликеры, это, быть может, умиротворит страсти... Прошу вас извинить дурной обед, — смеясь обратился она к Мамонтову. — У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но...

— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер, — послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, приятно грассирующий мужской голос. Со-

фья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами.

— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — вполголоса сказал он.

— Меня княжна прислала... Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцеловать... Княжна у ваших ворот в коляске. Не хотите ли поехать с нами кататься? — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавший жилет. Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.

— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.

— Это государь! — прошептал Черняков.

— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился: удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мне с ним смертельная скука, — говорил веселый голос.— Ах, какая была эти дни жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышен при высокой полной луне! Княжна меня послала к вам на огонек:

Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?

— Помните, а? Нет, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:

То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зимних вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. Полночный час звучит.

— Но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую.

— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, — взволнованно сказал в саду Дюммлер. — Мы..

— Ах, это вы, Юрий Павлович? — гораздо менее радостно сказал император. — Нет, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Едем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная, — не слишком церемонно добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля.

— Это государь! Ах, какие у него лошади! — восторженно прошептал он. Черняков приложил ко рту палец и посмотрел на племянника так, как только что на него самого смотрел Дюммлер.

Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной. Подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюммлер страшными знаками что-то показывал выходившей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась: прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видел. Издали

снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный:

Что, родная, муки ада?
Что небесная преграда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край
Безотрадная обитель...

«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет», — сказал себе Николай Сергеевич и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блестевших на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей, с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосе света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой: очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке.

— Нет, нет, заграницей я не государь, здесь я просто никто... Не хотите? Also nach Stolzenfels, весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.

VIII.

Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький живописный, с садиком при каждом доме, южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов, на вокзале (это слово в его новом значении уже вошло в общее употребление) собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондициях у дачников и у местных поме-

щиков. На вокзале стоял смешанный запах дыма и цветов. В окружавшем вокзал садике и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете, у длинного стола, с огромным самоваром, с сеточками поверх тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок, как узловой пункт, имеет важное стратегическое значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным веры любопытством, а о стратегическом значении довольно недоверчиво: они не знали, что их городок — пункт, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией: никогда такой войны не было, и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал.

В комнату для проезжающих, с новенькими твердыми скамейками и стульями, заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесунчовом пиджаке, без воротничка и галстуха, обмахивавшийся выжженной соломеной шляпой и доедавший бутерброд с паюсной икрой и с зеленым луком. Об этих бутербродах местные остряки говорили, что буфетчик перед приходом главного поезда их «подлизывает для свежести». Тем не менее, ели их и остряки. Телеграфист с любопытством оглядел, сидевшую у окна миниатюрную барышню и, очевидно разочарованный, сказал:

— Я ж тебе говорил, что она не придет! Конечно, надула, стерва.

— Придет. Куда ей деться? — равнодушно ответил тяжело дышавший дачник, и оба вышли.

Миниатюрная барышня улыбнулась.

— Забавные личности, — сказала она.

Сидевший рядом с ней молодой человек, расхохотался, показав из под усов ровные, крепкие, очень белые зубы. Наружность этого человека привлекла на вокзале общее внимание, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокого роста, держался необычайно прямо и как будто нарочно (в действительности же совершенно естественно) закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с вьющимися волосами, с непослушным малороссийским чубом. Войдя в комнату для проезжающих, он положил на пол небольшой пыльный мешок, оглянул одиноко сидевшую миниатюрную барышню, вежливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшие собираться на вокзале, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигуре и думали: «Какой молодец! Кто бы это такой был?» Старый близорукий буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейский офицер, уезжающий в штатском платье из имения заграницу, но тотчас увидел, что ошибся: он знал всех местных помещиков, да и одет был молодой человек, как одевались студенты на кондициях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливо дачнику, лениво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холодного пива с таким наслаждением, что смотреть было любо, и вернулся в комнату для проезжающих. Через полчаса молодой человек снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли. Он уже успел завязать знакомство с миниатюрной барышней.

Эта барышня, дожидавшаяся главного поезда с полудня, напротив, не вызвала на вокзале большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нее были только нежный румянец и большие светло-голубые глаза. В ее подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах сказывалось что-то мужское. Стриженые уже не вызывали любопыт-

ства и в провинции, — к ним понемногу все привыкли. Одета барышня была бедно и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату для проезжающих большой, потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотела было положить его на стул, в изнеможении уронила тяжелый чемодан на пол, тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднее барышня пообедала на вокзале: заказала борщ и битки в сметане, самое дешевое из того, что было на карте, не спросила ни напитков, ни сладкого, съела все с аппетитом и нерешительно оставила начай вдвое больше, чем полагалось, — буфетчик, презиравший стриженых и обращавшийся с ней грубовато, был приятно удивлен. После обеда барышня вернулась на прежнее место в пустую комнату для проезжающих. Эта пахнувшая краской, жарко нагретая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик решил, что стриженая — фельдшерица или деревенская учительница.

— Нет, я с вами не согласен, — сказал молодой человек, продолжая давно начатый разговор. — И, если хотите, тот факт, что любая беседа в любом образованном русском доме теперь неизбежно переходит на царя, сам по себе не лишен некоторой значительности. Он, во-первых, свидетельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них. Во-вторых же, он лишний раз показывает необходимость конституционного образа правления: ненормален ведь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человека и все говорят об одном человеке. Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной деятельности под лозунгом конституции. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не злодей и даже, быть может, не злой человек, но...

— Я, кажется, и не говорила, что он «злодей»,

— перебила его барышня. — Он просто ничтожная личность... И бабник, — брезгливо прибавила она. Ее собеседник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это ответить. «Может быть, он сам бабник», — с огорчением подумала барышня. Были основания предполагать, что этот человек имеет большой успех у женщин.

— Его частная жизнь меня не интересует, — сказал он и засмеялся. — Знаете, говорят, я похож на него лицом! Мне это сказал смотритель Одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичек все убеждал меня больше не участвовать в противоправительственном движении. «Кончайте», говорил, «поскорее университет и займитесь адвокатурой. Любя вас, советую: будете деньги загребать».

Миниатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое верно: маленькое сходство с царем у него есть, и в самом деле говорит он отлично.

Он полтора часа назад первый заговорил с ней; сказал, что едет из Городищенского сахарного завода, и назвал безобразием то, что так плохо подогнано расписание поездов: «Еслиб у этих господ была голова на плечах, то публике не приходилось бы ждать часами». Она сначала отвечала кратко и сухо, частью по застенчивости, частью потому, что терпеть не могла приставаний (мужчины, впрочем, приставали к ней редко). Но молодой человек был так любезен, так весел и, видимо, так хотел поговорить, что ее запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас, по обычаю, перешедший на политические дела. Молодой человек очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он нисколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненной дикции баритон мог быть слышен и на перроне, и в саду, и в буфете. Впрочем, правительство ругали все, и в провинции полиция за этим следила без усердия. Молодой человек не умолкал ни на минуту, речь у него ли-

лась гладко и красиво, он не запинался даже на таких трудных словах, как «противоправительственный». «Никто так не говорит, все говорят «революционный», — думала она, внимательно его слушая, еще внимательнее на него глядя. «Необыкновенное лицо: так и дышет умом! Хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человеком... И что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя, это, разумеется, никакого значения иметь не может»...

— Я, впрочем, признаю, что после освобождения крестьян, бывшего очень большим историческим делом, что бы там ни говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой швалью, — продолжал молодой человек. — Но какой же, я вас спрашиваю, из сего следует для нас вывод? Опять таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституционный образ правления. Вот великая задача, поставленная историей перед нашим поколением. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу ответить. Это надлежит обсудить, не отводя от обсуждения образованных и честных людей, хотя бы и умеренного образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобождение России никак не может быть делом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбе соотношение сил неизбежно сложилось бы для них в высшей степени неблагоприятно. Здесь нужны соединенные силы всей русской интеллигенции, поскольку народ пока безмолвствует. Поэтому, по крайнему моему разумению, отпугиванье людей либерального лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачем пугать их призраком социализма, еще нигде не осуществленного и у нас едва ли теперь осуществимого?

— Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас социализм. Сейчас самое нужное

дело уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны?

— Поскольку речь касается меня лично, то мой долг народу маленький. Я из помещичьих дворовых, — сказал молодой человек. Лицо миниатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым. — Мой родной дядя был до эмансипации лакеем, его на конюшне драли... Каким-то образом я попал в гимназию, затем стал студентом юридического факультета в Одессе, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключение, что мой д о л г народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к нему принадлежу... А вот вы, конечно, дворянка? Я мгновенно узнаю дворян, — с усмешкой сказал он.

— Да, к сожалению, дворянка, но это вы т а к говорите, — обиженно ответила барышня. — Меня все принимают за крестьянку.

— Моя фамилия Желябов, — сказал он, вопросительно на нее глядя и, видимо, ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходившее в садик окно. — Ах, как хорошо! Чудесные это места: предстепье. В лесах тут полно волков, везде лисицы, белки, водятся даже бобры!

— За что же вы сидели в тюрьме?

— В сущности, за ерунду. Ничего драматического в моей жизни не было... П о к а не было... Я не Каракозов и не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь.

— Вы живете в Одессе?

— Сам не знаю, где я живу! Жил в Керчи, в Одессе, учил там русской грамоте еврейских девочек... Ужасно оне смешные были, славные, но так смешно произносили русские слова. «Зима, крестьянин торжествуя»... передразнил он кого-то. — Отчего бы это, кстати, крестьянину было «торжествовать»? Скажу вам правду, не люблю, не люблю Пушкина, хотя, разумеется, отдаю должное его гению. Вот Лермонтов

совершенно другое дело. Лермонтова и Гоголя я боготворю... Да, так где же я, в самом деле, живу. В Киеве жил. Чудесный город, еще лучше Одессы! Ах, какие сады в Киеве! Царский над Днепром, Ботанический. Там я в Коммуне сапоги тачал со старичками, щирыми украинцами. Но мне скоро смешно показалось; право, немногим это важнее, чем стихи читать Одесским швеечкам. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день тачают сапоги и при этом спорят, как поскорее освободиться от кацапов... Ведь вы кацапка? Петербургская? Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссии живал: у графов Мусин-Пушкиных был на кондиции в Симбирской губернии. Хорошие люди, хотя по взглядам чуть не крепостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имел дискуссии. Он меня любил, но называл Сен-Жюстом и предсказывал, что я тоже окончу свои дни на эшафоте!

Оба засмеялись. Желябов отошел от окна и сел на чемодан барышни, но, увидев скользнувшее на ее лице неудовольствие, тотчас встал. Только теперь он заметил, что, несмотря на бедность ее платья, у нее все так и сверкало чистотой, вплоть до непостижимо-белоснежных в дороге рукавчиков. «Это уж их, дворянское», — подумал он. — «А сама симпатичная, хотя и не красива»...

— Вы и на сахарном заводе были на кондиции?

— Нет, там я жил барином. Мой тесть сахарозаводчик и помещик Яхненко, тоже ретроград и тоже хороший...

— Так вы женаты? — перебила она его, как будто с огорчением в голосе. — Извините, я вас перебила.

— Женат, но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди: разные и по происхождению, и по взглядам, и по наклонностям. Я мужик и очень горжусь этим. Вероятно, мы рано или поздно разойдемся, — сказал он очень просто и спокойно. Она смотрела на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случай-

ной встрече. — Я из своих маленьких дел мировой трагедии не делаю, — пояснил он, точно угадав ее мысль. — Ну, что-ж, не вышло, ничего не поделаешь. Неприятно, разумеется, тем более, что есть сын. Но уж я поставил себе правилом: что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не более трех дней. По моим наблюдениям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе. Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпеть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится.

Миниатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нее при ее строгой внешности. Он сначала смотрел на нее с недоумением, потом тоже засмеялся.

— Извините меня... На меня иногда находит... А вы очень легкий человек....

— Это хорошо или плохо?

— Разумеется, хорошо... Очень хорошо... По крайней мере, я очень это люблю в людях... Вы не сердитесь? Это я так... Куда же вы теперь едете?

— Да вы опять будете смеяться. Я еду в Одессу, а оттуда на Балканы, сражаться с турками.

Ее лицо мгновенно стало серьезным и строгим.

— Как? и вы? Да это просто поветрие. В Москве теперь вся молодежь хочет освобождать славян! Мы бы прежде себя освободили.

— Одно другому не мешает. Но тут дело не в рассуждениях. Когда я прочел в газетах о зверствах, совершаемых турками, я ни с кем не советовался и не спрашивал, поветрие ли это или нет, и даже, поверьте, не знаю, что это будто бы поветрие. Я сказал себе, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дело, что они славяне. Достаточно того, что они люди, и что за них заступиться некому.

Он встал и прошелся по комнате, на ходу ловким, точным движением поправив криво висевшее, заси-

женное мухами, зеркало. Миниатюрная барышня подумала, что ему, верно, неприятно все неровное, беспорядочное, безхозяйственное и, что он, должно быть, вообще не может спокойно сидеть без дела. «А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться: необыкновенно красивое и умное лицо!» — почему-то со вздохом подумала она. Из за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзале все пришло в движение.

— Это повестка моего поезда, — сказал он. — У нас на юге называют повесткой предварительный звонок. Кажется, у вас этого слова нет? Мне сейчас ехать.

В комнату опять заглянули телеграфист с толстым дачником.

— Теперь, если она, стерва этакая, и придет, то пусть провалится к чорту, — яростно сказал телеграфист. — Мне через полчаса после поезда становиться на работу.

— Поезд в шесть двадцать не отойдет, — заметил толстый дачник, по прежнему что-то жевавший. — Графиня прислала нарочного, просит подождать ее с четверть часика..

— Ну, это дудки, будь там она хоть разграфиня, — сказал расстроенный телеграфист. — Нет, конечно, надула, я так и знал!

— Придет, придет, — ответил, тяжело дыша, дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнате для проезжающих возобновился не сразу.

— Странно, как мы с вами разговорились, — сказала миниатюрная барышня. Ей было неловко и грустно, Он, напротив, не находил ничего странного в том, что они разговорились и, повидимому, не слишком сожалел, что сейчас, верно, навсегда, ее покинет. «Надо бы в с е - т а к и спросить его адрес», — подумала она и сказала:

— Какие чудесные цветы здесь в саду. И все так бесцеремонно их рвут, я сама видела.

— Это шотландские розы, махровые, их здесь везде пропасть. Хотит, я вам сорву на память, — ответил молодой человек и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну.

— Спасибо... Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан?

— Очень серьезно. Хочу быть, как «Бейрон»! — сказал он, смеясь. — Помните у Рылеева «На смерть Бейрона»:

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей.
Царящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

— А вы хорошо читаете.

— Плохие стишки, хотя написал большой человек... Но если поезда для этой графини не задержат, то мне сейчас ехать. Разрешите проститься с вами. Поговорили, царя побранили, все в порядке, — сказал он, и его веселый тон неприятно ее задел. — Вам еще больше часа ждать. Вы в комнате останетесь? Уже не так жарко.

— У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить.

— Чемодан это пустое, я сейчас перенесу на перрон, — сказал он и, не дожидаясь ответа, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малейшего усилия он поднял ее чемодан правой рукой, взял в левую свой мешок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перроне они столкнулись с толстым дачни-

ком и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцветном наряде, с лорнетом.

— Ах, нет, я так вам и сказала: о к о л о шести, уж это вы напрасно. Кто же, скажите пожалуйста, приходит за час до поезда? — жеманясь говорила дама и отвела от глаз лорнет, чтобы получше разглядеть стриженую. Толстый дачник прощался. — Да нет же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мешаете, по крайней мере м н е.

— Не могу, у меня нынче к ужину уха! Не разогревать же.

— Дарья Степанна, у них к ужину уха, он мне еще раньше объявил.

— Как можно в такую погоду! Я и зимой почти ничего не ем, а теперь, хоть убей меня, я не прикоснулась бы к ухе! — кокетничала Дарья Степановна, снова поднося лорнет к глазам.

— Нет, я прикоснусь.

— Хоть бы поезда, право, подождали.

— А что мне в поезде? Я никуда не уезжаю.

Вдали уже показался извивавшийся дымок. Молодой человек довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились места, положил ее чемодан и весело сказал, что, верно, они скоро опять встретятся.

— Где и как, не знаю, но вот увидите! — сказал он и, пожав ей руку, пошел навстречу замедлявшему ход поезду. Снова прогремел звонок. По перрону тяжело бежала старушка, изнемогая под тяжестью мешка. Молодой человек что-то ей сказал и подхватил ее мешок. Она бежала рядом с ним, еле поспевая за его большими шагами, благодаря его и подозрительно на него поглядывая. Миниатюрная барышня смотрела им вслед.

Поезд, шипя, остановился. Молодой человек еще на ходу очень ловко отворил дверцы первого зеленого вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мешки, подсадил старушку и вскочил

за ней в вагон. «Больше никогда его не увижу», — подумала миниатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники. Поезд стоял на станции несколько минут. «Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой и с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существовании думать забыл. Да, легкий человек... Но чего же я, собственно, хотела?» — с приятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьего звонка. Поезд дрогнул, отшатнулся и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человек в окне не показался.

Перрон пустел. Дачники медленно расходились. Лишь немногие фанатики развлечений остались ждать второго поезда. На другом конце скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степановна.

— Юзы, Дарь Степанна, пропускают до тридцати слов в минуту, а Морзы не более пятнадцати. Зато Морзы много проще. В Юзе, Дарь Степанна, все основано на синхроническом вращении диска и бруска...

— Ах, как интересно! — рассеянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх лорнета на фарфоровые чашки телеграфного столба. — Однако, я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволоке? Или сейчас телеграф не работает?

—Нет, Дарь Степанна, вы не так поняли, — сказал, вздохнув, телеграфист. — Папироску не прикажете ли?

— Что вы! Избави Бог! Я только пахитоски курю и как на беду забыла дома... А то дайте, если у вас «Огонек», — сказала Дарья Степановна.

Часть четвертая

I.

Рядом с кабинетом профессора Муравьева в его квартире на Миллионной была большая, неустроенная, почти пустая комната. В ней он уже несколько лет собирался устроить собственную лабораторию. В комнате стоял огромный, чуть не во всю стену, стекляный шкаф, купленный по случаю для помещения приборов и посуды. Больше ничего не было. В шкафу лежали толстые прейс-куранты различных немецких, французских, английских фирм, прекрасно отпечатанные, с рисунками, на глянцевитой бумаге. Иногда Павел Васильевич их просматривал, любуясь новыми спектрометрами, спектроскопами, лампами, гальванометрами. Некоторых из этих приборов не было в его университетском физическом кабинете. Война с Турцией только что кончилась, сметы всех гражданских ведомств были сильно урезаны, и министерство уже почти два года отпускало деньги скупо. Профессор Муравьев с наслаждением представлял себе, как будут из заграницы приходить ящики с надписями «Vorsicht» или «Fragile», как он будет вынимать из кожаных, с шелковой прокладкой, футляров и расставлять на рабочих столиках новейшие, самого лучшего образца, приборы, — не казенные, университетские, а собственные: от этого, все равно как от с в о и х книг, удовольстви увеличивалось во много раз. — «Столы выпишу из Англии: они, кажется, лучше и немецких, и французских», — думал Муравьев.

Павел Васильевич не очень давно побывал в Кембридже на открытии Кэвендишевской лаборатории. Ее показывал многочисленным гостям хозяин: сам Максвелл. Он очаровал Муравьева своей любезностью, простотой, скромностью, тем, что за ним всюду по пятам ходила породистая собака, тем, что он со страстным увлечением следил за спортивными матчами, тем, что писал шуточные стихи и, читая их вслух за бутылкой пива, веселился как ребенок. Одно из его стихотворений, начинавшееся словами: «So we who sat oppressed with science, — As British asses, wise and grave» Павел Васильевич даже записал на память (он и сам грешил шуточными стихами). Во время Кембриджского съезда знаменитые ученые, Лайелль и Леверрье, получили почетную докторскую степень. Муравьев был не слишком честолюбив и совершенно не был завистлив, но у него с того времени остались приятные мысли, изредка всплывавшие в сознании: «а пожалуй, со временем и я?..» Дни, проведенные им в Англии, английское гостеприимство, в своем роде почти не уступавшее русскому, живописные колледжи, их старинный уклад жизни, обряды, столь непривычные петербургскому профессору, какая-то органичность этих «British asses», были одним из наиболее отрадных воспоминаний Павла Васильевича. После поездки в Кембридж еще усилилось его бытовое и политическое англофильство. — «Да, что бы вы там ни утверждали, страна замечательная и среда высококультурная», — говорил он по возвращении в Петербург; ему было немного совестно, что он употреблял такие книжные слова: почему в жизни трудно говорить совершенно просто? — «Знаем, знаем их высококультурность. Они и в Индии ее показали», — отвечал иронически профессор-англофоб.

В устройстве собственной лаборатории (в которой можно было бы работать в любое время дня и ночи, в воскресенья и в праздники, не отвлекаясь по пустякам)

не было ничего невозможного. Наследственное имение Муравьева приносило от десяти до пятнадцати тысяч рублей в год, хотя значительная часть земли была сдана крестьянам по низкой цене, вызывавшей возмущение у помещиков всего уезда, и хотя управлял имением сомнительный приказчик (Павел Васильвич никогда его не называл управляющим: в этом слове был неприятный оттенок чего-то м а г н а т с к о г о). Немало денег, правда, уходило на уплату процентов по закладной. Тем не менее. вместе с жалованьем, дохода у профессора было больше, чем у его друзей. Между тем жил он хуже, чем многие из них. Это всеми приписывалось безалаберности Павла Васильевича и расточительному характеру его старшей дочери. Изредка случалось, что в доме вовсе не оказывалось денег. Тогда Муравьев обращался к ростовщикам и о размере процента не торговался, — так ему было совестно за этих людей и неприятно с ними разговаривать. Платил он им впрочем не очень дорого: ростовщики знали, что его имению цена полмиллиона, что сам профессор честнейший человек и долг уплатит без малейшей задержки. Обычно в таких случаях Павел Васильевич начинал беспокоиться за несколько дней до срока векселя: как бы не вышло недоразумения, как бы не забыл кредитор, как бы не напутал банк, как бы вексель не был протестован.

В прошлом году дохода было больше обычного: во время войны цены на хлеб установились высокие, осенью военное ведомство реквизировало лошадей и скот по хорошей цене. Прошлогодний заем именно и предназначался для лаборатории. Однако в тот самый день, как процентщик принес деньги, Елизавета Павловна попросила у отца двести рублей. Муравьев был по природе щедр и почти никогда ни в чем детям не отказывал; дал и на этот раз, но не без тревоги: дочь просила денег с хорошо ему известным таинственным видом, — он знал, что в таких случаях лучше ни о чем не спрашивать. «Все равно путного ответа не будет,

зачем же заставлять девочку изворачиваться? Верно опять отправляют в народ какого-нибудь мальчика», — успокоил себя профессор. Затем Павел Васильевич сгоряча пожертвовал довольно крупные суммы в пол»зу болгар, пострадавших от турецких зверств, и в фонд помощи румынским героям. Больше обычного стоила в год войны поездка на воды заграницу, так как из Эмса он с дочерьми заглянул в Париж, и как раз происходила распродажа у Ворта, где самые модные платья можно было приобрести по баснословно низкой цене. Триста рублей было послано в именье крестьянину, у которого на мельнице оторвало кисть руки. Смета лаборатории все сокращалась. Осенью же, по возвращении из заграницы, был куплен серый в яблоках рысак с пролеткой. Это оказалось полной неожиданностью для профессора. Рысака продавал какой-то Степан Петрович, неизвестно почему бывавший в их доме, и так вышло, что Елизавета Павловна уже с ним обо всем сговорилась.

На этот раз Муравьв серьезно рассердился. Он совершенно не понимал, зачем им рысак. Павел Васильевич многого не понимал в своей жизни. Не понимал, почему он, профессор университета, живет не на Васильевском Острове, не на Петербургской Стороне, а на улице богачей и аристократов. Не понимал, зачем ему нужна большая квартира с огромными, высокими, холодными комнатами, лишь наполовину обставленная мебелью за несколько лет, требовавшая пяти человек прислуги и неимоверного количества дров. При квартире были конюшня и сарай. Лошадей профессор в городе не держал, но в сарае при жизни жены появилась корова: младшая девочка Маша была слабого здоровья и ей требовалось парное молоко. С тех пор корова у них и оставалась для тех двух стаканов молока, которые ежедневно приносила девочке няня, жившая в их доме двадцать лет, из них десять без всякого дела. Молоко Маша тайком выливала в ведро рукомойника.

— ...Милая Лиза, — сказал профессор, — я тебе

повторяю, что рысак нам и ненужен, и не по средствам. Это, наконец, смешно! Вздор ты говоришь, будто я буду на нем ездить в университет! Профессора на рысаках не ездят, меня освистали бы студенты. И, наконец, что же это такое? Ты все-таки могла бы предварительно меня спросить!

— Папа, вы забыли! Я вас спрашивала и вы кивнули головой. Вы, должно быть, тогда думали об электромагнитной теории света, — говорила с мягким виноватым видом Елизавета Павловна.— Конечно, это моя вина: я должна была спросить вас еще раз, в другое время. Но что же теперь делать? Степан Петрович положился на нас, он обещал этими деньгами завтра заплатить очень важный долг. Не можем же мы его подвести!

— Никогда, моя милая, я тебе головой не кивал, и я очень сомневаюсь, чтобы Степан Петрович платил долги, ежели кто ему и дает взаймы. Кроме того, цена совершенно безобразная. Уж если держать лошадей, то я написал бы, чтобы нам прислали из деревни.

— Что вы говорите, папа! Как же вы сравниваете ваших деревенских лошадей с этим рысаком, который на бегах призы брал! Мы его покупаем за полцены!

— Да помилуй, зачем нам призовой рысак? — спросил профессор и остановился, высоко подняв брови. — Послушай, Лиза... Я помню, молодого князя Кропоткина увезли из тюремной больницы на каком-то рысаке!

— Не на каком-то, а на «Варваре». Он войдет в историю революции.

— Мне совершенно все равно, войдет ли этот «Варвар» в историю революции или нет, но я не имею ни малейшего желания, чтобы в историю революции входил м о й рысак. И если ты...

Елизавета Павловна вдруг расхохоталась.

— Папа, вы мне подали мысль!

— Милая, я не шучу, а говорю с тобой очень серьезно. Я не желаю иметь никакого отношения к по-

добным делам. Совершенно не вхожу в вопрос о том, хороши ли они или нет, но у меня есть свое дело в жизни, я не принадлежу ни к их, ни к вашему лагерю, и я не намерен идти на старости лет в тюрьму из за того, что какому-то юноше, может быть и очень милому, нужно устроить побег из тюрьмы. И тебе тоже запрещаю... Говорю это раз навсегда!

Елизавета Павловна, имевшая впрочем свое мнение относительно того, может ли отец запрещать ей что бы то ни было, дала ему честное слово, что рысак ни для какого побега не предназначается, что ей просто хочется ездить на острова, что она в этого серого в яблоках рысака прямо влюбилась.

— Конечно, папа, вы можете запретить и не дать денег, но помимо того, что нам будет стыдно смотреть в глаза Степану Петровичу...

— Мне не будет стыдно смотреть в глаза этому лопоухому проходимцу!

— Не понимаю, почему он вдруг стал проходимцем, вы сами постоянно зовете его обедать... Помимо этого, вы меня, папа, лишите большого удовольствия. Это, разумеется, в вашей власти.

Елизавета Павловна приняла жалобный тон, вообще совершенно ей несвойственный, — хитрость была старая, классическая. Как раз накануне она говорила Чернякову, что ея отец «соткан из противоречий»:

— Вы находите, что он сама доброта, — сказала она. — Это и верно, и неверно. Папа действительно очень добр, но только в своих поступках. Думает он очень зло. Я и от злых людей не часто слышала такие мысли, какие папа иногда выскажет так вдругъ, совершенно для меня неожиданно. То же самое и с его рассеянностью. Да, он в самом деле рассеян, когда занят своими электромагнитными теориями.... Так, кстати, я говорю: электромагнитные теории?.. А в другое время он замечает всякую мелочь и моего, и Машина туалета. Вот вы этого совершенно не видите, и большинство мужчин не видит. Говорят, он непрактичен, как малое

дитя, а к нему в житейских делах обращаются за советом самые практичные люди и обыкновенно недовольными не остаются. Вы думаете, что он слабохарактерен, а он упрям, как... (Елизавета Павловна все же не решилась сказать: «как осел»). Не знаю, как упрям! Единственное, что в нем «постоянная величина», это его совершенная порядочность. И, заметьте, она у него двойная: и природная, и головная. Он джентльмен по убеждению.

— Ну, а вы, Елизавета Павловна, — спросила Черняков, слушавший ее, как обычно, с любопытством, восхищением и с ужасом. Она рассмеялась.

— Я? Я во всем прямая противоположность папа! Если б покойная мама не была воплощенной добродетелью, то надо было бы сделать ужасные выводы!

К делу о рысаке Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на честное слово не солжет. Ея заверение, будто он кивнул головой, было конечно неправдой, но это было заверение - п р о с т о. «Честное слово» было другое дело, его ритуал свято соблюдался в семье, и обе дочери Муравьева, часто обманывавшие отца (особенно старшая), никогда на честное слово его не обманывали. Он успокоился и пошел на уступки. Серый рысак был куплен. Смета лаборатории была спрятана (и безвозвратно затеряна) под прейскурантами. Один экстренный расход повлек за собой другие. После покупки рысака пришлось нанять кучера. В добавление к пролетке поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана, — Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначале она действительно каждое утро ездила на острова с разными молодыми людьми и была в восторге от нового развлеченья. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысаке с бешеной скоростью, — «как какая-нибудь Жанна д-Арк» (он собственно хотел сказать: «как сумасшедшая», но это было почти то же самое). Позднее

ей езда надоела; в марте и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выезжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнев Павла Василича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи по случаю покупки рысака.

По понедельникам, от часа до двух, Муравьев читал специальный предмет студентам старшого курса. Это были избранные главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в последние месяцы занимало его мысли больше всего на свете: электромагнитную теорию света. Он вышел из дому в прекрасном настроении. Была вторая половина апреля, самое любимое его время в Петербурге, стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали последние потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу.

В маленькой уютной аудитории слушателей было человек десять. Кроме студентов, на первой скамейке, прямо против кафедры, сидел приват-доцент физики из другого учебного заведения. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по науке, особенно не сверстники, а младшие, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков России. Однако всякий новый знак внимания бывал ему приятенъ Этот же знак внимания относился и к нему, и отчасти к Максвеллю. Недавно созданная электромагнитная теория света была еще мало известна в Петербурге. У Муравьева в физике больше, пожалуй, чем в политике, были дружественное и враждебное направление, близкие и чужие люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклонение перед его гением дополнялось сердечным сочувствием: из Англии шли глухие слухи, будто Максвелл очень болен, хоть скрывает это от жены и ото всех.

Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью, как выдающийся ученый, независимый человек передовых взглядов и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалел о том, что популярен он

отчасти в пику некоторым другим профессорам. Не совсем была ему приятна и его репутация «блестящего лектора» (всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным): самые большие ученые, как Максвелл или Гельмгольц, «блестящими лекторами» не были. Вступительная лекция Павла Васил.евича первокурсникам в начале учебного года составляла маленькое университетское событие: на нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ея начала одна из самых больших аудиторий бывала совершенно полна; студенты сидели даже на ступеньках кафедры или стояли по стенам; его встречали и провожали долгими рукоплесканиями. Павел Васильевич не очень любил свой общий курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцию: не любил из за торжественной обстановки (на второй лекции студентов бывало вдвое меньше), из за неизбежной доли актерской игры, из за «милостивых государей», из за анекдотов, которые полагалось вставлять и которые (как и все выигрышные места первой лекции) повторялись из года в год: Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имеющие хотя бы малое отношение к физике, и всякий раз с ужасом думал: что, если в аудитории есть прошлогодние слушатели с хорошей памятью? Некоторые блестящие лекторы под конец вступительной лекции, говоря о величии науки, пускали в ход дрожь в голосе (как тенора — тремоло или фермато в конце арии). Или же им вспоминался один древний миф; большей частью вывозил Прометей со своим огнемъ. Ни на дрожь в голосе, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали впрочем и такие профессора, которые с первой же минуты первой лекции, без Прометея, без величия науки, даже без обращения к студентам, начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой тростью в висевшую на доске диаграмму. По наблюдениямъ Муравьева, это и были самые выдающиеся ученые.

Специальный курс был гораздо интереснее, чем общий, и по предмету, и по обстановке. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни милостивых государей. Он был знаком со всеми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает (хотя может стать прекрасным профессором). Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторией, удивленно-радостно помахал рукой приват-доценту, затем четко выписал очиненным мелом на доске (он терпеть не мог доску и мел) несколько уравнений, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было, — Павел Васильевич это видел по их лицам. В одном месте он сделал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил (обычно, когда он вместо «синус» по рассеянности писал «косинус», с разных концов аудитории раздавались радостные возгласы: синус, синус»...).

После окончании лекции приват-доцент подошел к кафедре и снизу вверх протянул Муравьеву обе руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обе руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о «кристально-четкой формулировке», о том, что мысль Максвелля была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. «Что-ж делать? Над этим годами надо размышлять», — подумал он. Затем он в коридоре дал какое-то разъяснение одному из способнейших студентов, который не то из самолюбия скрывал непонимание, не то просто хотел на виду у товарищей пройтись с профессором Муравьевым в ученой беседе с ним.

Павел Васильич зашел в профессорскую и там посидел полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошие отношения; он редко ссорился с людьми, хотя, когда его выводили из

себя, говорил, случалось, очень резко. В этот день разговор опять зашел о Сан-Стефанском мире, не интересовавшем по существу почти никого, и о деле Веры Засулич, напротив всех еще волновавшем. Была и свежая университетская новость, составлявшая злобу — именно злобу — дня. Профессор-юрист, превосходный рассказчик и causeur, слушавший себя с заразительным наслаждением, остановился, к общему удовольствию (кто-то, впрочем, осторожно отошел), на личности министра народного просвещения. В характеристике министра профессор следовал литературному методу Светония, который для начала почтительно отмечал достоинства своего цезаря, а затем рассказывал о нем самые ужасные невероятные истории. Поговорили и об оставке великого князя Николая Николаевича: одни предполагали, что он покинул должность главнокомандующего добровольно, другие утверждали, что великий князь поссорился с царем. Поговорили также о княжне Долгорукой (поспешно отошел еще кто-то).

Затем общий разговор разбился. Старый математик, давно взятый товарищами на свободную, необходимую и симпатичную роль «человека не от мира сего», обычно достающуюся в университетах математикам, рассказал очень недурной (и вполне от мира сего) анекдот об отсутствовавшем ботанике. Все весело смеялись, смеялся и Павел Васильевич. Почему-то он впрочем подумал, что приблизительно такие же разговоры ведутся везде в Петербурге: «Так же спорят об отставке Николая Николаевича и о княжне Долгорукой, если не ремесленники Васильевского Острова, то титулярные советники, над которыми вот уже полвека смеются в стихах и в прозе наши сатирики... Есть ведь такое ремесло — сатирики, — и довольно странное ремесло. Сатирики, впрочем, тоже водочку пьют и тоже дуются в преферансишку... Впрочем нет, они играют в преферанс: одно дело, когда люди дуются в преферансишку, и совершенно другое, когда они просто играют в преферанс... А если говорить

правду, то в Кембридже разговоры и шутки были еще элементарнее, потому что англичане, как люди, элементарнее нас. Быть может, Платоновская академия была рассадником афинских сплетен. Никакое человеческое общение без сплетен и шуточек обойтись не может и не обходится, и слава Богу, иначе мы погибли бы от скуки», — благодушно думал Павел Васильевич. Профессор философии, человек бездарный, специалист по Прометееву огню, попросил Павла Васильевича напомнить ему, в котором часу послезавтра обед. — «Какой обед?» — чуть было не спросил озадаченный Павел Васильевич, но во время вспомнил, что действительно пригласил к себе этого профессора: они до того и не бывали друг у друга, но зимой у философа умерла жена и Муравьев счел нужным выразить сочувствие приглашением. «Не забыть сейчас же сказать Лизе», — подумал он, выходя из профессорской комнаты. «Теперь и обо мне немножко посплетничают».

II.

Извозчик, которого издали подозвал профессор, оказался лихачем. Отказываться уже было неудобно. Павел Васильевич был рад, когда они отъехали от университета: ему казалось, что проходившие студенты смотрят на него недоброжелательно. По неписанному, молчаливому соглашению, в университете быть богатым человеком не полагалось. Профессора, имевшие бобровые шубы, приходили на лекции в енотовых. На лихачах и на собственных рысаках приезжали в университет почти исключительно студенты-франты, сыновья родителей-сановников, — но это было умышленным вызовом демократическому студенчеству.

Копыта лошади застучали по мосту. «Что это как будто было нынче неприятное?» — спросил себя Павел Васильевич, прислушиваясь к отчетливому ровному стуку. Он был в таком хорошем расположении духа, что не испугался неприятных мыслей. «Ну, что такое? Сту-

денты не поняли лекции, — пустяки: поработают, пошевелят мозгами, некоторые и поймут. Разговор в профессорской? Сплетни? Что-ж тут огорчаться? Это в чьих-то фальшивых стихах над чьим-то популярным гробом говорится: «Беспощадная пошлость ни тени — Положить не успели на нем»... Всегда над всеми успевает... Кажется, и немецкие похожие стишки есть: «Und hinter ihm im... im...» в каком-то «айне» — «Lag was uns alle bändigt, das Gemeine»... Конца первого стиха Павел Васильевич не мог вспомнить: «Какая может быть рифма к «Gemeine?»... Что же еще? Пожалуйте», — говорил он неприятным мыслям — и вспомнил: его чуть задела благодушно-снисходительная улыбка, с которой профессор юридического факультета упомянул о докторской диссертации Чернякова. «Ну, пока меня это совершенно не касается!»

Михаил Яковлевич все чаще бывал у них в доме. Когда приезжал обедать, непременно привозил торт или букет для старшей дочери Павла Васильевича, а младшей тут же шутливо говорил: «Вы, Машенька, еще небукетоспособны» (Он любил такие слова). Иногда Черняков брал ложу в театр и приглашал всю семью Муравьевых, при чем ложа бывала прекрасная, а на барьере стояла двухфунтовая коробка конфет из дорогой кондитерской, с двумя липкими ананасными треугольниками на бумажках поверх двух этажей шоколада с ореховыми просветами. Павел Васильевич понимал, что Черняков по всем правилам ухаживает за Лизой, и с тревогой ожидал просьбы о разговоре наедине. В свое время Михаил Яковлевич шутливым, но значительным тоном и даже с легким волнением сказал ему, что в известном возрасте надо искать счастья в женитьбе. В последнее время приглашения в ложу участились.

Профессор Муравьев по вечерам выходил редко и в театрах бывал неохотно. Он был не музыкален, сожалел об этом и даже несколько этого стыдился, в отличие от многих людей в образованном кругу, которые с вызовом называли музыку неприятным шумом. В опе-

ре он, не следя за оркестром, слушал только основную мелодию (особенно если она была ему знакома) и скоро начинал думать о другом. Но на оперные спектакли Черняков, тоже невосприимчивый к музыке человек, брал ложу редко. В балете Павел Васильевич скучал и про себя думал, что если это — искусство, то, быть может, нет оснований исключать из искусства гвардейские парады на Царицыном Лугу: там тоже разноцветно одетые люди проделывают под музыку очень стройные, красивые, размеренные движения. Впрочем, профессор Муравьев охотно признавал свою некомпетентность и в те редкие минуты, когда вообще думал об искусстве, приходил к выводу, что это дело темное, очень темное, не поддающееся научному определению. По настоящему он из всех видов искусства любил и ценил только литературу. Чаще всего Черняков приглашал их в Александринский театр. Павел Васильевич высоко ценил Островского. Однако в последнее время ему немного надоели и Островский, и особенно его подражатели: надоели пьесы о жестоких богатых купцах и о бедных приказчиках с золотым сердцем, пьесы, где непременно кто-нибудь кому-нибудь падает в ноги, и где мужчины называются Сысой Псоичами, а женщины Домнами Евстигнеевнами, где проезжие на *ярманках* разговаривают о *шампанее*, а то каются, бьют себя в грудь и кричат, что они *собственной душеньки решители*, — пьесы, где, наконец, чтобы обнаружить красоту народной души или, наоборот, чтобы показать темноту народного быта, появляется какая-нибудь мудрая *странница* Маремьяна или роковая баба Ненила. Профессор Муравьев видал в жизни немало купцов и мещан, и никто из них не назывался Сысой Псоичем. Так, конечно, выходило смешнее, но Павел Васильевич не желал, чтобы его заставляли смеяться столь простыми способами. Роковых баб он никогда не встречал, и ни один мужик при нем не называл себя собственной душеньки решителем. Раздражала его также несложность характеров, дейст-

вия, развязки, — все заранее можно было предсказать с полной точностью. «У Островского многое искупается его чудесным языком, а у этих просто ничего нет»... Он и запомнить в этих пьесах ничего не мог, несмотря на свою прекрасную память. Актеры играли хорошо, точно так же, как в пору Щепкина. В прежние времена такие спектакли приводили Павла Васильевича в восторг и казались ему чрезвычайно важными в общественном отношении. Теперь они ему нравились гораздо меньше. Все же он в ложе делал вид, будто чувствует большое художественное наслаждение, и даже в антрактах укоризненно качал головой, когда Лиза капризно говорила: «А все-таки он стал повторяться!» На что, если пьеса была Островского, Михаил Яковлевич отвечал: «Ну, никак с вами не согласен: как бытописатель темного царства, он неподражаем».

Павел Васильевич знал и ценил доброту, честность, трудолюбие Чернякова. Михаил Яковлевич был недурен собой, отличался цветущим здоровьем, имел веселый характер. Он с успехом защитил диссертацию. В кругу Муравьева выражение «хорошая партия» не было принято. Почти все профессора, общественные деятели, адвокаты, среди которых проходила его жизнь, очень заботились для своих детей о том, что понималось под этим выражением, но тщательно это скрывали. Черняков был приличной партией. Он был другого факультета, и это тоже было хорошо: очень часто, слишком часто, приват-доценты, лаборанты, оставленные при университете молодые люди женились на дочерях с в о и х профессоров; случалось, они получали со временем кафедру, как бы в виде позднего приданого,— что не мешало им весело смеяться над сходным обычаем в среде провинциального духовенства. Профессор Муравьев думал об этом морщась и никогда не приглашал в свой дом собственных ассистентов. Чернякова он тоже не очень звал, — во всяком случае не чаще, чем звал десятки других людей.

Павел Васильевич сам не знал, желает ли он выдать

замуж дочь. Временами ему хотелось сложить с себя моральную ответственность за нее, отдать ее какому-нибудь умному порядочному, твердому человеку, который отвлек бы ее от молодых людей в красных рубашках и отучил бы ее от резкостей. Несмотря на свои радикальные убеждения, Елизавта Павловна бывала грубовата с горничной, с кухаркой, а в разговорах с мужчинами щеголяла грубым тоном, точно разговаривать вежливо могли только отсталые ограниченные люди. Она любила слушать и даже рассказывать неприличные анекдоты, — этого профессор совершенно не выносил и из за таких рассказов иногда устраивал дочери настоящие сцены. Елизавета Павловна читала только самые модные книги, издевалась над игрой Рубинштейна, в разговорах о музыке защищала р е а л и з м. Однако, в отличие от младшей дочери, она не обладала музыкальным слухом и, хотя училась с детства у лучших преподавателей, играла очень плохо. Со всем этим она была очаровательна. Муравьев чувствовал, что без нея ему будет очень скучно. Он тяготился тем, что у него в доме беспрестанно толкуются какие-то чужие люди (как он говорил, «постояннего и переменного состава»), что к нему приходят обедать и ужинать как в ресторан, что у него иногда неделями и месяцами живут девицы, которых он едва знал по фамилии; но жизнь без всего этого была бы для него не настоящей жизнью. «Это наследие предков-помещиков», — думал Павел Васильевич. Оба его дочери, особенно старшая, обожали такую жизнь.

«Что-ж, если она согласна выйти за Чернякова, я препятствовать, разумеется, не буду. Он все-таки очень хороший человек. В первое время им верно придется туго, при барских привычках Лизы. Но он знает ея привычки. Я буду помогать. Можно было бы перезаложить землю и дать им сразу тысяч двадцать? Впрочем, Лиза тотчас все спустила бы... И он сам намекал, что никакого приданого не принял бы, что он совершенно независим. Конечно, он очень честный, порядочный че-

ловек, об этом и спора быть не может», — думал Павел Васильевич, глядя на панораму Невы, всегда его чаровавшую и почему-то успокаивавшую. «Вот, говорят, Петербург безобразен, «город казарменного стиля». А я ни на какой Кэмбридж, ни на какой Париж этого казарменного стиля не променяю»... Муравьев родился в Москве, но страстно любил именно Петербург, который полагалось ругать.

Он поднялся по лестнице и с удовлетворением признал, что никакой усталости не чувствует. «Очень помогают Эмские воды, катарр стал значительно слабее». Павел Васильевич не был мнителен и редко думал о смерти; однако каждая смерть, хотя бы мало знакомого человека, ударяла его по нервам. Инстинктивно он ускорил шаги, проходя мимо зеркала на первой площадке. Этой весной у него вырвали два зуба в верхней челюсти, правда сбоку, за углом рта. Дантист предлагал устроить мостик таким же радостным тоном, каким продавщицы у Ворта выхваливали платья Елизавете Павловне. На площадке Павел Васильевич теперь почти всегда испытывал безотчетное неприятное чувство, быть может потому, что остановился здесь перед зеркалом, вернувшись домой после операции. «Жаль, что нет подъемного снаряда, как в Зимнем Дворце. Но скоро они будут везде. Все-таки жизнь пока идет вперед. Когда настанет время умирать, я скажу как та английская дама на смертном одре: «Все было так, так интересно!» Он дернул шнурок. Звонок у них был странный: старый, надтреснутый и вместе необыкновенно шумный, очень долго и назойливо шипевший. «Давно пора купить новый. И следовало бы завести ключи. Зачем без нужды заставлять прислугу бегать через пять комнат?»

Не приходилось спрашивать горничную, дома ли барышни (Павлу Васильевичу всегда было неловко называть барышнями дочерей): еслиб оне были дома, он об этом знал бы еще на первой площадке. Рядом с его кабинетом была гостиная; обычно несшийся из нея шум, хохот, споры, пение мешали ему работать. Дочери

оберегали его покой: когда в двенадцатом часу профессор уходил спать, оне тотчас уводили своих гостей в самую дальнюю комнату квартиры. Но это относилось только к сну отца: предполагалось, что работать шум ему не мешает.

Профессор прошел в свой кабинет. Мебель в их квартире была большей частью дедовская, вывезенная из имения и не очень хорошая. Павел Васильевич знал, что в светских романах старые помещичьи дома с колоннами и их старинная мебель всегда изумительны по красоте. Но в своем старом деревенском доме он ничего красивого не находил, хотя очень любил его. Дом был построен не «по эскизу графа Растрелли». После многих переделок и пристроек от плана провинциального архитектора почти ничего не осталось. Большая часть мебели была работы крепостных мастеров, у которых хороший вкус мог быть лишь счастливой случайностью. От деда остались купленные заграницей картины, и одна из них была по преданию написана Тинторетто; но знатоки давно признали предание ни на чем не основанным. Дедовской мебели не хватило для огромной квартиры; часть была оставлена в имении. Многое профессор приобрел в Петербурге. У него не хватало времени и энергии, чтобы ходить по лавкам, и большей частью он покупал все в первом магазине; из запоздалых советов неизменно оказывалось, что можно было купить лучше и дешевле,— надо было только поехать куда-то версты за четыре или побегать по рынкам, где за гроши можно купить настоящие сокровища искусства. Иногда Павел Васильевич думал, что еслиб как-нибудь пшеницы родилось по двести пудов на десятину, то следовало бы поехать, например, в Париж и там купить новую хорошую и удобную обстановку для всей квартиры. И тут же сам себе отвечал, что в каждом человеке сидит Манилов, что новая мебель скоро тоже побилась бы, поистерлась и что ему опротивела бы жизнь, еслиб в его

квартире торчали какие-нибудь, хотя бы самые настоящие Louis XVI-ы, с пастушками и с цветочками.

Муравьевы обедали обычно около пяти часов — когда не в шесть, не в восемь и не в десять. После возвращения из университета Павел Васильевич пил чай, затем отдыхал часа полтора на старом диване, твердом и неудобном — но без пастушек. Над диваном висел — из уважения к преданию — Тинторетто. Больше не было картин, ни других произведений искусства. Все стены были выстланы книгами, стоявшими или лежавшими на полках разной вышины и разного цвета. Книги валялись на столах, на креслах, на стульях. Павел Васильевич не был библиофилом: он *ч и т а л* свои книги. Делал на них и пометки, загибал углы страниц, библиофилам же, смотревшим на него с презрением, говорил, что не человек для книги, а книга для человека. Старинных изданий он не любил и без колебания предпочел бы хорошее новое издание Шекспира, с биографией и примечаниями, несравненному и отвратительному Фолiо 1623 года.

В кабинете, как во всей квартире, было холодно. Печка была едва тепла. Горничная принесла поднос с чаем. Булочки были вчерашние. Профессор хотел послать горничную в булочную, — не послал и только приказал затопить печь, не жалея дров.

Напившись чаю, Муравьев взял газету, которую просмотрел утром, отправляясь в университет. «Слава Богу, что хоть больше нет «театра военных действий» — на редкость глупое выражение»... Павел Васильевич сначала, как все, увлекался мыслью об освобождении славян, но скоро война смертельно ему надоела и опротивела. Он прочел передовую статью, затем другую, близкую по заношенному содержанию к передовой, и подивился умению авторов подобных статей в тысячный раз повторять одно и то же с таким видом, точно они высказывали в высшей степени новые и интересные мысли. «Вот и это тоже называется умственной работой»...

Направлению газеты он вполне сочувствовал и часто заставлял себя думать о тех вопросах, о которых говорилось в статьях. «Да, какой же мой подход?» — и на этот раз проверил себя он. — «Есть огромная, прекрасная, богатейшая страна Россия, населенная многими народами, среди которых преобладает один, великорусский, необычайно одаренный по природе, прекрасный по своим нравственным качествам, прошедший и проходящий через очень тяжелую жизненную школу. Почему-то, по христианским ли чувствам, по привычке ли или по беспомощности, он веками терпел, кормил и поил тех, кто драл с него шкуру, даже если это были настоящие звери, вроде Бирона, Ивана Васильевича и им подобных. Только лет двадцать тому назад что-то начало проясняться в судьбе русского народа. Во первых, лучшие свободные времена как будто настают для всей Европы, несмотря на временные отходы с большой исторической дороги, — правда довольно гипотетической. Во вторых, Россией, едва ли не впервые в ея истории, правит неглупый, довольно образованный, не злой, даже добрый, человек, грешный лишь, как столь многие из нас, беспечностью, легкомыслием, слабостью характера. А так как нет ни оснований, ни возможности одному человеку править восемьюдесятью пятью миллионами людей, то лучший, единственный выход заключается в том, чтобы царь дал России конституцию. И газета совершенно права в своих глухих намеках на необходимость «доверия к общественным начинаниям». Что же делать, если им не дают говорить иначе, как на этом дурацком языке? Народ газет не читает, а царь, быть может, даже не поймет, что «доверие к общественным начинаниям» это и есть конституция? Я думаю, однако, он скоро ее даст. Все европейские страны имеют конституцию, и наша очередь не может не прийти, все равно как еслиб у других были железные дороги, а у нас их не было. Наша молодежь однако все больше склоняется к тому, чтобы заставить царя ускорить это дело. Но, во первых, она никаких к тому спо-

собов не имеет; во вторых, неизвестно, что дал бы России террор, еслиб он усилился и был доведен до логического конца; а в третьих, молодежь обманывает и других, и, особенно, себя. Моей Лизе ровно ничего в политике не нужно. Ее же сверстникам мужчинам — не всем, конечно, — хочется самим иметь власть, которой им никакая конституция не даст, и они, разумеется, пойдут гораздо дальше. Ну, а мы, старшие, должны же и мы добиваться того, что считаем нужным России? Как же именно? Что я, профессор Муравьев, могу сделать для ускорения дела конституции? Я не пойду со студентами устраивать демонстрацию на площади! И не только потому не пойду, что они почти дети, и что они хотят не совсем того же, что я, и даже совсем не того. У меня, как я и сказал Лизе,есть свое дело в жизни. Я полезнее обществу, России, народу, занимаясь только этим», — сказал Павел Васильевич тоже в десятый, если не в сотый, раз.

Это рассуждение казалось ему логически-безупречным, но нагоняло на него тоску. Муравьев не любил пессимистов и называл их нытиками. Тоскливые мысли посещали его редко — и тогда обычно влекли за собой «циклы», — Павел Васильевич часто употреблял это выражение. Так и теперь, без всякой связи с демонстрациями, он вдруг вспомнил о сверлильной машине дантиста, о необходимости мостика, и уж совсем нелепо у него всплыл цикл самых общих, старых и ненужных мыслей, создавшийся давно и раз навсегда. «Конечно, для физика жизнь есть гипотетическое колебание гипотетических частиц. Неизвестно, когда оно началось, неизвестно, когда оно кончится, но оно должно кончиться каким-нибудь довольно шумным явлением. С точки зрения странных обезьяноподобных существ, неизвестно как и зачем появившихся на второстепенной планете Земля, в тысячу двести раз меньшей, чем Юпитер, это шумное явление представится такой чудовищной катастрофой, что трудно вообразить, как мы могли бы, не лишившись рассудка, прожить остаток дня, когда бы

астрономия с точностью установила, что шумное явление произойдет, скажем, через два месяца. Для мироздания же это было бы совершенным пустяком, и еслиб действительно существовало какое-нибудь верховное существо, то оно просто, по размерам своего хозяйства, может быть, и не заметило бы маленькой неприятности с второстепенной планетой. Физик и не может рассматривать историю иначе, как крошечную надстройку над астрономией. Но если мы, физики, — или по крайней мере, я — теперь склонны считать законы природы простыми статистическими обобщениями, то о законах истории едва ли вообще можно говорить. Исторический процесс есть процесс случайный. В сущности, понятие прогресса мы, все-таки, выдумали в результате только небольшого запаса небеспристрастных, часто самодовольных, наблюдений над жизнью одной второстепенной планеты в течение двух-трех последних столетий: в шестнадцатом веке люди жили приблизительно так, как две тысячи лет тому назад, так что тогда говорить о прогрессе было бы уж совсем глупо... Да, так что же я на все это отвечал?» — спросил себя профессор Муравьев. — «Я отвечал и отвечаю, что все это нужно, необходимо забыть и подавить в себе. Уж если, по сочетанию бесчисленных случайностей, на планете Земля появилось это странное обезьяноподобное существо с интеллектуальной способностью, значительно высшей, чем у других животных, то пусть оно и устраивается так, точно никакой катастрофы быть не может, и даже так, точно каждая особь будет жить вечно, а не тридцать или шестьдесят лет. Если удалось превратить свою жизнь в хорошую, интересную пьесу, без Серапионов Мардарьевичей и Анфус Тихоновн, то можно знать, что все выдумка, что в двенадцатом часу спектакль кончится, что надо будет уходить в темь, в холод, в грязь — и все-таки можно наслаждаться пьесой и переживать ее с волнением»...

Накануне вечером Муравьев работал до часа ночи, соображая, как яснее представить студентам (в

сущности, самому себе) основы электромагнитной теории света. Спал он мало и, как всегда, после напряженной вечерней работы, плохо. Тем не менее, ему и теперь не хотелось спать. Павел Васильевич прилег на диван, накрылся старым, во многих местах прожженным пледом, взял со стола карандаш и книгу — все ту же: «Treatise on Electricity and Magnetism». Он читал и перечитывал ее уже года два, все больше удивляясь красоте и значительности ее мыслей и формул. На полях было множество простых и волнистых черточек, вопросительных и восклицательных знаков, кратких замечаний, в большинстве выражавших восторг. «Да, это им не передовая статья!» Некоторые ходы сложной мысли Максвелля были неясны и самому Павлу Васильевичу. Трудность заключалась не в математическом анализе, а в том ф и з и ч е с к о м смысле, который он находил, угадывал, предчувствовал в этих формулах. Иногда ему казалось, что сам Максвелл не вполне понимает, не вполне предвидит значение своих как будто отвлеченных рассуждений, что его формулы живут собственной жизнью и ведут неизвестно куда, но гораздо дальше, чем ведет автор. «В этом заложены силы, которые могут перевернуть мир. Что такое эти волны? Что такое свет? Мы и теперь пользуемся солнечной энергией точно так же, как ею пользовались люди три тысячи лет тому назад. Никакого нового способа для ее использования не придумано, делались только слабые попытки. Между тем, если бы удалось использовать этот гигантский, ни с чем не сравнимый, неисчерпаемый источник, то, быть может, уже совсем ни для чего не были бы нужны революции и войны. Ведь говорят же теперь умные люди, что войны ведутся за рынки, за естественные богатства, что в основе революции лежит борьба классов, борьба за материальные блага. Вот за это колоссальное богатство велась бы борьба и всего хватило бы для всех. Если бы в распоряжении Максвеллей давались те машины, те деньги, та человеческая сила,

которые так щедро и бессмысленно отпускаются всевозможным Мольтке, Мак-Магонам, Тотлебенам, то мы давно овладели бы этим секретом. И, конечно, в сколько-нибудь разумном обществе самым почитаемым, даже самым богатым человеком должен быть Максвелл или, скажем, тот человек, который нашел бы средство излечения рака. Но о Максвеллах огромное большинство людей никогда и не слышало, а вот какого-нибудь Мольтке знает весь мир. Значительная доля вины лежит и на нас самих: даже при тех ничтожных средствах, которые нам отпускаются, мы могли бы сделать больше того, что сделали. Вероятно, ключ ко всему будущему человечества лежит в тех возможностях, которые намечены в этом гениальном произведении и о которых не догадывается, кажется, и он сам», — думал Муравьев. Он перелистывал почти наудачу столь хорошо знакомую ему книгу, на мгновенье задержался на имени Остроградского, — ему было приятно, что Максвелл ссылается на русского математика, и он радостно вспомнил о том, как Максвелл хвалил его собственные работы. Скользнул по главе о световом давлении, затем по другой и вернулся к общим мыслям об энергии света. Затем его мысли стали смешиваться и пришли в то непонятно-счастливое, точно предвосхищающее иной мир, состояние, когда разумное уже почти переходит в нелепое, а нелепое кажется совершенно разумным.

Он проснулся часа через полтора, почти задыхаясь от волнения. На полу лежали книга и плед. Сердце у Павла Васильевича сильно стучало. «...882... Да, было 882, но сколько нолей? сколько нолей?» Он совершенно не мог вспомнить, что ему снилось и снилось ли вообще что бы то ни было. Дрожащими руками он поднял книгу, встал с дивана, подошел к письменному столу и сразу безошибочно нашел то, что ему н е снилось. Цифры были 882. Перед ними было много нолей, — Павел Васильевич сосчитал их глазами: шесть. Счел снова: оказалось восемь. Горничная вошла в ка-

бинет, испуганно на него взглянула и поспешно унесла лампу. Профессор стал считать снова, щурясь и закрывая ноли один за другим указательным пальцем левой руки. Число было: 0,0000000882. «Все было вздор!..» Он взял карандаш и стал вычислять, проклиная англичан за то, что они в научных работах ведут счет на фунты и футы, когда весь мир, кроме них, пользуется метрами и килограммами. Павел Васильевич сломал один карандаш, сломал другой, начал писать пером... «Разумеется, вздор!» Не снившаяся ему идея никакого практического значения не имела: так нельзя использовать солнечную энергию. «Все равно! Все равно, здесь ключ ко всему», — подумал он. Ему стало легче, точно слишком страшно было открытие , которого он не сделал.

III.

Опять зашипел звонок и, перекрывая его, прозвучал властный сильный стук в дверь: так всегда оповещала прислугу о своем возвращении Елизавета Павловна, тоже очень давно говорившая, что звонок следует переменить. В ту же секунду раздались радостные голоса, тотчас заполнившие всю квартиру. «Да, конечно, без них было бы скучно», — подумал профессор, уже совершенно спокойный и веселый. В гостиной, где стоял большой расстроенный рояль, стукнула крышка, очевидно, не поднятая, а подброшенная кверху, затем прозвучал какой-то аккорд из «Руслана», и крышка снова захлопнулась. Послышались еще голоса, испуганно-радостный крик и общий смех. Через минуту широкая дверь кабинета с шумом распахнулась, в комнату быстро вошли, держась за руки, обе дочери Павла Васильевича; звучный баритон спросил: «Можно?» и на пороге появился, весело смеясь, Черняков, в модном сюртуке с цветком в петлице. За ним следовал доктор, которого называли Пет-

ром Великим и который давно принадлежал к постоянному составу гостей.

— Папа, вы не можете себе представить, что случилось!

— Милости просим, господа. Садитесь, — сказал Павел Васильевич, приветливо здороваясь с гостями. — Что же такое случилось?.. Машенька, милая, дай нам ту коробку.

Маша подала ящик с сигарами и села застенчиво в углу подальше от лампы, точно стыдясь своей наружности. Она в самом деле была нехороша собой. В углу она и просидела до обеда, влюбленно глядя на сестру и с наслаждением вслушиваясь в каждое ее слово.

— Папа, вы равнодушны к свалившемуся на нас несчастью!

— Да, да, Лизанька, я слушаю... Не хотите, Михаил Яковлевич? Правда, до обеда лучше не курить... Что же такое случилось?

— Случилась неслыханная катастрофа! То есть, если хотите, не совсем неслыханная, потому что у нас это уже бывало... Чего, впрочем, у нас не бывало? Но нам всем все-таки надо покончить с собой. Вы знаете, что у нас сегодня обедают они: Черняков и Петр Великий. Кроме того я пригласила Владимира Викторовича?

— Кто это Владимир Викторович?

— Как же вы не помните, папа? Владимир Викторович... Ну, вот, я сама забыла его фамилию! Сейчас вспомню. Владимир Викторович, ну тот, который добровольцем ездил воевать с турками, еще к генералу Черняеву. Он был у нас два года тому назад, неужто вы не помните? Красивый, высокий блондин, бритый. Его недавно демобилизовали. Я его встретила на Невском и позвала к нам обедать. Разве я вам не говорила? Конечно, я сказала, и вы были очень рады.

— Я очень рад, но в чем же все-таки катастрофа?

— В том, что я совершенно забыла заказать обед, а эта дура Лукерья почему-то решила, что мы обедаем в городе, и ничего не приготовила! Она говорит, что у

нее не было денег. Я, действительно, забыла оставить ей деньги... Впрочем, у меня и у самой не было: я тоже забыла взять у вас. Но она могла бы взять у швейцара или в булочной, или...

— Или в Английском Банке, — вставил доктор.

— Впрочем, она вообще идиотка и если б она не готовила так хорошо, то ее давно следовало бы прогнать.

— Тем более, что ее зовут не Жюли, а Лукерья. Нельзя называться Лукерьей, правда?

— Уверены ли вы, Елизавета Павловна, что ваши народнические убеждения, в твердости которых я, избави Бог, нисколько не сомневаюсь, позволяют употреблять слова «идиотка» и «прогнать» в отношении трудящагося человека? — весело спросил Михаил Яковлевич.

— Ах, оставьте, пожалуйста, Черняков! Я так говорю обо всех.

— Обо всех можно, а о народе нельзя. Вот я пожалуюсь вашим друзьям, народным печальникам. Они вас живо приструнят.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Лиза очень любит Лукерью, — сказала, вспыхивая, Маша.

— Друзья мои, я не вижу никакой трагедии, — сказал профессор, — Подождем этого Виктора Владимировича, и я вас всех везу к Борелю.

— К Борелю, папа? Это идея... Хотя нет, к Борелю нельзя. Я не одета, и это было бы долго, а мы все голодны, как звери. Кроме того, зачем тратить тридцать или сорок рублей? Дайте их лучше мне, папа. А вот что мы сделаем: я сейчас пошлю Василия к Елисееву, и он нам все привезет. Будет холодное, но это не беда. Папа, дайте же мне денег, у меня нет ни гроша. И отдайте три рубля Чернякову, я у него взяла. Не плачьте, Черняков, вы не уйдете голодным. Машенька, скажи, чтобы накрывали... Впрочем, нет сиди, я сама распоряжусь.

Она вскочила и выбежала из комнаты. Черняков поглядел ей вслед и чуть вздохнул, — совсем слабо вздохнул, никто не мог бы заметить.

Михаил Яковлевич несколько изменился в последние три года. Он получил кафедру, пополнел, одевался теперь у Шармера, еще лучше, чем прежде. Речь его стала еще более гладкой и закругленной; в минуты волнения, или когда он хотел быть особенно убедительным, у него в голосе слышались уже не баритональные, а басовые ноты. Он так привык к профессорской речи, что ему было трудно и в разговоре произнести фразу, в которой не были бы безукоризненно согласованы главное и придаточное предложения (их бывало и по три в одной фразе; полушутливые слова «сей», «оный» он теперь употреблял не так часто). Черняков был одним из самых популярных лекторов в университете. По своей доброте и веселому характеру, он пользовался общим расположением. Дамы уже не совсем шутливо говорили, что его надо бы женить. В ответ на это он, смеясь, цитировал Чичикова: «Что ж? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того... Была бы невеста». Михаил Яковлевич любил цитаты. На лекциях цитировал Шекспира и Гете в подлинниках, сопровождавшихся переводом, а в разговорах — Гоголя, Островского, Кузьму Пруткова, — их одинаково обожал (Гете и Шекспир были т а к).

О женитьбе он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Некоторые легкомысленные курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного старого профессора хотела из за него отравиться; правда, она не отравилась, однако, хотела, и слух сам по себе окружил его некоторым ореолом. Сам он с веселым недоуменьем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Іосифа Прекрасного. Черняков по джентльменству никогда об этой истории никому не говорил; да и в роли Іосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яков-

левичу нравились многие барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.

Ученая и журнальная карьера занимала в жизни Чернякова такое огромное место, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать жене, зато целиком, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая девушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мне больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невестой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить с а л о н, что было его мечтою. Но Михаил Яковлевич был безкорыстным человеком. Он уже достаточно зарабатывал и рассчитывал скоро стать редактором отдела в одном из лучших журналов; его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тесном смысле слова, принимать раза два в месяц. И дело, конечно. не в том, чтобы непременно был первоклассный ужин, дорогие вина, хотя, конечно, это имеет известное положительное значение, — главное: какие люди бывают. А у нас охотно будут бывать самые выдающиеся люди России... Нет, нет, никакого приданого, лишь бы милая девушка», — думал дома по вечерам Михаил Яковлевич.

Незадолго до своего временного переезда в дом Дюммлеров, он снял новую, довольно большую квартиру, — с лишней комнатой для будущего будуара будущей жены, как детям шьют платье с некоторым запасом на рост. Улица была хорошая, адрес на визитной карточке был такой, какой нужно: не набережная, не Сергиевская, не Миллионная, но и не Гороховая и не Загородный проспект. Понемногу Михаил Яковлевич обзавелся обстановкой. Он покупал ее именно так, как советовали покупать Муравьеву: б е г а л по рынкам и все покупал по случаю (при чем случай ред-

ко не бывал необыкновенным). Михаил Яковлевич был одним из первых в Петербурге людей, оценивших русскую старинную мебель. В кабинете у него стояло приобретенное за безценок бюро с откидной крышкой на ремне, с множеством ящиков, с тайниками, — вещь совершенно о т е н т и ч н а я, как он говорил приятелям, показывая на ходы прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россию старинную мебель, специализировалась на червях). На бюро были в порядке расставлены мраморные канделябры, мраморный письменный прибор, с чернильницей, песочницей, разрезным ножем, лодочками для перьев и карандашей. Бумаги были распределены по ящикам, — Михаил Яковлевич только не знал, что положить в тайники; в его жизни почти ничего тайного не было. Освещался кабинет тяжелой Александровской люстрой в виде черного бронзового блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стенах висели портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста с надписью: «Herrn Professor Dr. Michael Tscherniakoff in aufrichtiger Schätzung. Rudolf Gneist.»

Однако, как ни нравилась Чернякову Елизавета Павловна, он понимал, что на заказ было бы трудно придумать менее подходящую для него жену. «Конечно, с годами дурь с нее соскочит. Она просто слишком энергична и деятельна, я не верю в серьезность ее радикальных убеждений. Все это нынешнее поветрие, влияние тех молодых людей, которых я выживу из дому. Но это «с годами», а если делать предложение, то надо бы сделать его сейчас. Между тем ее тон, ее барские замашки, возможные сюрпризы»...

— Так что-же вы думаете, господа, о замене Николая Николаевича Тотлебеном? — спросил Павел Васильевич. Черняков вздохнул и высказал свое мнение; оно, впрочем, не отличалось от мнения половины других профессоров. Доктор Петр Алексеевич пожал плечами. Назначение Тотлебена совершенно его не интересовало. Разговор ненадолго остановился.

— Ну, мы как, Машенька, как живем? — спросил Черняков. — Ах да, Коля очень просил вам кланяться. — Маша вспыхнула. Она от всего краснела. Это (и еще ее заиканье, впрочем, очень легкое) было крестом ее жизни. — Коля мой племянник, а ныне волей судеб и мой воспитанник, — пояснил Михаил Яковлевич Муравьеву.

— Да, конечно, сын вашей сестры. Мы встречались в Эмсе. Ведь ваши тоже, как мы, каждое лето ездят на воды заграницу?

— Да, из за Юрия Павловича. Сестре, слава Богу, лечиться не приходится: мы, Черняковы, здоровая порода. А вот Юрий Павлович уже три года болеет.

— Надеюсь, ничего серьезного?

— Серьезного, кажется, ничего, — нехотя подтвердил Михаил Яковлевич. Он накануне получил от сестры письмо; Софья Яковлевна сообщала, что болезнь ее мужа довольно опасна, и просила не говорить об этом Коле. Черняков, читая, подумал, что едва ли это сообщение очень Колю взволновало бы: он не любил отца и почти не скрывал этого от дяди. — Но нужны какие-то затяжные исследования, Юрий Павлович лежит в лечебнице. Вероятно, они там пробудут до июля, как это следует из письма, лишь вчера мною от сестры полученного. Колю же они, уезжая, оставили на моем попеченьи. Вследствие этого не совсем для меня удобного обстоятельства я временно переехал в их дом.

— Как же вы... воспитываете Колю? — спросила Маша, опять покрасневшая от того, что запнулась.

— Ну, работы у меня с ним мало. Учится он прекрасно, первый в классе, ведет себя тоже недурно, и целые дни читает. Этот мальчишка уже знает больше, чем я! Но зато какая самоуверенность!

— У кого это самоуверенность? — спросила снова вернувшаяся Елизавета Павловна. — Ах, у Коли. Это хорошо, я люблю самоуверенность в мужчинах.

Только не хвалите его при Маше, она и так, кажется, в него влюблена.

— Какой вздор! Ни в кого я не влюблена!

— Я тоже нет, сестра моя, и это очень печально.

— Нисколько не влюблена, а только мы играем вместе в теннис. Он отлично играет.

— Коля все делает отлично.

— Как это скучно, особенно в мальчике, — сказала Елизавета Павловна.

— Добавьте, что он страшно р-революционных взглядов, и намерен скоро приступить к изучению Карла Маркса! Впрочем, я за него спокоен: в революцию он и не сунется, а станет знаменитым адвокатом и затмит Спасовича. Он и теперь упражняется тайком в красноречии по самым лучшим радикальным образцам.

— Машенька у меня тоже сочувствует революции. Впрочем, еще года полтора тому назад она обожала императрицу и каждый день за нее молилась.

— Папа, за...зачем?.. Это не так, — вспыхивая, сказала Маша.

— Быль молодцу не укор, Машенька, — сказал Черняков. — Но если вы хотите, чтобы Коля в вас влюбился, — это чистейшая гипотеза, — то всячески восхищайтесь им, его взглядами и его дьявольским красноречием. Он обожает, чтобы им восторгались.

— Я тоже обожаю... Петр Великий, мне надо сказать вам «пару слов», как пишет Лесков. Пройдем на минуту ко мне.

— К вашим услугам, — радостно откликнулся доктор. Они вышли. Маша проводила сестру тем же влюбленным, теперь вдруг встревоженным взглядом, точно она ее ревновала к Петру Алексеевичу.

В спальной Елизаветы Павловны был такой же беспорядок, как во всей квартире за исключением комнаты Маши. На кровати и стульях было разбросано что-то белое. Петр Алексеевич поспешно отвернулся и подумал, что Елизавета Павловна, часто смеявшаяся

над его застенчивостью, верно привела его сюда нарочно. Он был очень влюбчив и тщательно скрывал это. Ему казалось, что люди всегда над ним смеются: крошечный рост определил душевный склад Петра Алексеевича и даже отчасти его жизнь. Елизавета Яковлевна достала из комода небольшой футляр с кольцом.

— Петр Великий, вы можете оказать мне услугу? Но сначала дайте слово, что вы никому ничего не скажете.

— Какая таинственность! — смеясь, сказал доктор. — И, верно, как всегда, ерунда... Ну, не обижайтесь, даю слово и обещаю исполнить, если вы меня не будете называть Петром Великим.

— Хорошо. Я принимаю... Сколько по вашему может стоить это кольцо?

— Не знаю. Почем мне знать? — изумленно спросил доктор. — Я не ювелир и отроду этого барского добра не покупал. Я не какой-нибудь...

— Но приблизительно?

— Верно, рублей сто или полтораста?

— Я тоже не знаю. Это подарок папа... Вы когда-нибудь закладывали вещи в ломбарде?

— Сколько раз! Но у меня и закладывать было почти нечего, я приносил по трешнице, а то и меньше. Вы не можете себе представить, как я был...

— Как вы думаете, сколько дадут в ломбарде за это кольцо?

— Думаю, рублей пятьдесят дадут. Неужели вы хотите заложить? — сочувственно спросил Петр Алексеевич. Он хотел было добавить: «возьмите у меня денег», но не решился. Елизавета Павловна задумалась.

— Нет, пятидесяти мне мало. Я обещала дать сто... Голубчик, сделайте это для меня: продайте кольцо. Но тотчас, завтра утром! Вы не хотите? Вам трудно?

— Мне нисколько не трудно, — сказал доктор, привыкший к тому, что на него возлагали самые скуч-

ные поручения. — Однако, уж будто это необходимо? Павел Васильевич будет очень недоволен.

— Папа? Он не заметит... Нет, заметит, но не скоро, и я что-нибудь придумаю. По некоторым причинам мне теперь не хочется просить его о деньгах. Первая некоторая причина: у него, кажется, сейчас их очень мало, я поэтому отказалась и от Бореля. А вторая некоторая причина: я на днях взяла у него пятьдесят рублей... Нет, ничего не поделаешь: продайте кольцо. На вас папа сердиться не будет.

— Пожалуйста, не говорите: «папа» — с подчеркнутым французским акцентом иронически произнес доктор. — Вы еще начнете называть Павла Васильевича «батюшка»?.. Со всем тем, я не знаю: может, в ломбарде дадут и сто, — добавил он, приняв решение заложить кольцо и добавить недостающую сумму из бывших у него семидесяти рублей. Петр Алексеевич радостно себе представил, как со временем вернет кольцо Елизавете Павловне. — Завтра утром вам и привезу.

— Какой вы милый, Петр Великий! Но я обещала в двенадцать доставить деньги.

— Я могу вам привезти в одиннадцать.

— Отлично... Или нет, мы утром едем кататься. Петр Великій, вы ангел, но уж будьте ангелом в квадрате...

— Не желаю быть ангелом в квадрате, тем более, что вы нарушили обязательство... Ну, что еще вам нужно?

— Мне нужно... От вас это не секрет. Вы знаете Н.? — спросила она, назвав имя известного радикального публициста. — Конечно, знаете, ведь вы же меня с ним познакомили. Пожалуйста, отвезите ему завтра утром сто рублей и скажите, что это от меня. Больше ничего не надо говорить: он знает, в чем дело.

— Если я попаду в тюрьму, то не иначе, как в вашем обществе. Я непременно вас выдам.

— Спасибо. Теперь мы можем вернуться.

В кабинете речь шла о Мамонтове, которого Павел Васильевич помнил по Эмсу. Черняков, вздыхая, говорил, что из его приятеля ничего не выходит.

— Вот вы спрашиваете, революционер ли он. По совести не знаю: у него семь пятниц на неделе. Он очень одаренный человек, но путаник. Посудите сами: был художником, страстно увлекался живописью, имел даже некоторый успех. Мне серьезные художники говорили, что у него большой талант... Большое дарование, — поправился Михаил Яковлевич. — Так вот, видите ли, ускакал зачем-то в Америку и оказалось, что он не художник, а журналист! А так как, повторяю, он чрезвычайно способный человек, то и как журналист он тоже чего-то добился: писал в Америке, пишет у нас, все почему-то под псевдонимами.

— «Лишній человек», Рудин? Немножко старо. Что может быть скучнее в наше время? — сказал доктор.

— Нет, какой там Рудин? Мамонтов отнюдь не герой романа: для этого он слишком безконтурный человек; романисту и ухватиться было бы не за что. Теперь он находится в Берлине по поручению какого-то журнала. Однако, я подозреваю, что дело не в журнале, а в новой даме сердца...

В передней раздался звонок.

— Это Владимир Викторович. Как бы все-таки узнать его фамилию?.. Постойте, Черняков, не рассказывайте дальше: мне интересно, что этот Мамонтов, — сказала Елизавета Павловна и выбежала в переднюю. Через минуту она вернулась в сопровожденіи высокого, худого, гладко выбритого человека с бледным лицом, с левой рукой на перевязи. Он неловко вошел в кабинет и так же неловко, без улыбки, что-то пробормотал в ответ на любезные слова хозяина, поднявшегося ему навстречу. Почему-то, однако, сразу чувствовалось, что его неловкость происходит никак не от застенчивости. Нечто очень жесткое и упорное было в его худом лице с резко выраженными чертами.

Здороваясь с Черняковым и с доктором, он, хотя невнятно, назвал свою фамилию. Елизавета Павловна радостным жестом показала из за его спины Михаилу Яковлевичу, что теперь все в порядке: она вспомнила! Фамилия гостя была как будто Валицкий или как-то так. Лицо его показалось Чернякову знакомым.

— ...Неужто прошло два года с тех пор, как вы у нас были? — говорил профессор, помнивший, что, действительно, видел этого человека; тогда он был как будто другой. — Да, знаю, вы были на войне. Вижу, что воевали. Надеюсь, ничего серьезного? — спросил он, показывая глазами на перевязь, и с неудовольствием подумал, что точно такой же вопрос задал Чернякову о Дюммлере.

— Нет, — ответил кратко гость. Он неуверенно сел в пододвинутое ему кресло и занял в нем самое неудобное, совершенно прямое положение. «Точно на козлах сидит!» — подумала Машенька, с любопытством за ним следившая. Гость беспокойно оглянулся, на мгновенье задержался взглядом на ногах Елизаветы Павловны, и тотчас отвернулся. Сама Елизавета Павловна, закуривавшая папиросу, этого не видела, но Машенька заметила и обиделась.

— Так ваши еще долго пробудут в Берлине? — спросил профессор, старавшийся равномерно поддерживать скучный ему разговор на обе стороны: молчаливый гость сидел справа, а Черняков и доктор слева.

— Сколько прикажут врачи. Может быть, моей сестре и не очень хочется уезжать: в Берлине сейчас большой съезд, у нее и там, кажется, маленькое подобие салона.

— Очевидно, у вас, Черняков, есть семейная любовь к знаменитостям, — сказала Елизавета Павловна. Маша и доктор засмеялись. Михаил Яковлевич высоко поднял брови, задетый и удивленный.

— Вот как? Я за собой что-то не замечал!

— Да вы и сегодня успели сообщить, что должны вечером быть у Достоевского.

— Я не «успел сообщить», а просто вам сказал, что должен буду уйти скоро после обеда. У меня с Достоевским пятиминутный деловой разговор об его выступлении на нашем вечере, только и всего. Право, тут нечем было бы хвастать, даже если было такой уж большой честью лично знать Достоевского.

— Я его видел в Эмсе, — сказал Павел Васильевич, тоже недовольный замечанием дочери. — У него на водах выходили постоянные столкновения с немцами из за очереди. Повидимому, он чрезвычайно нервный человек.

— Безумно нервный и раздражительный. Очень неуютный субъект. Он работает ночью, а спит днем! Так что свидания назначает только по вечерам, вот и мне назначил нынче в восемь. Кстати сказать, я не Бог знает какой его поклонник. Мой кумир, как вам известно, Иван Сергеевич, — сказал Черняков («почему бы это должно быть мне известно?» — подумал профессор). — Но, разумеется, никто не может отрицать, что Достоевский большой сердцевед, знаток человеческой души в ее взлетах и падениях.

— Эту фразу, Черняков, о взлетах и падениях я уже от вас слышала. Да верно и взяли вы ее из какой-нибудь рецензии, — сказала Елизавета Павловна, с удовольствием его задиравшая. — Ну, хорошо, не буду, не буду, тем более, что я у вас в долгу. Папа, вы отдали ему три рубля?

— А вы знаете, Павел Васильевич, на что Елизавете Павловне понадобились на улице эти три рубля? — спросил Черняков. — Она, видите ли, б р о с и л а их нищему! Этакий царский жест! Если я щеголяю знакомством с Достоевским, то вы героиня оного Достоевского... Ага, получили?..

— Они всегда пикируются. А вы, Владимир Викторович, как относитесь к Достоевскому? — спросил Муравьев, возвращаясь на правый фланг.

— Мое имя-отчество Иван Константинович, —

сказал новый гость. Павел Васильевич, осекшись, с упреком взглянул на дочь. Она весело засмеялась.

— Как это вы забыли, папа? Конечно, Иван Константинович. Вы верно думали об электромагнитной теории света... Едва ли Иван Константинович восторгается Достоевским, который восхвалял всю эту нелепую войну...

— Об этом предоставим высказаться самому Ивану Константиновичу, — вставил доктор; он был одним из немногих людей в Петербурге, еще интересовавшихся балканскими делами.

— Конечно, нам всем были бы очень интересны непосредственные впечатления человека, бывшего на фронте, — сказал Михаил Яковлевич и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Политика Биконсфильда теперь выяснилась с полной очевидностью. Я думаю, что...

— Не Биконсфильда, а Беконсфильда. Англичане произносят: Беконсфильд, — поправила Елизавета Павловна.

— Очень в этом сомневаюсь. Я всегда говорил и говорю: Биконсфильд... Я думаю все-же, что опасность войны с англичанами не так уж неотвратима, хотя Англия сейчас лишний раз показывает, что она наш исторический враг.

— Только этого не хватало бы: англо-русской войны! — с негодованием сказал Муравьев, опять вспомнив Кэмбридж, Максвелля, благодушных наивно-веселых английских профессоров. «Это они мои исторические враги!»

— Я и люди моего образа мыслей тоже войны не хотим, — ответил Михаил Яковлевич, чуть было не сказавший: «я и мои последователи». — Мы готовы всецело и всемерно поддержать идею соглашения с Англией, исходя из мудрого правила: лучше худой мир, чем добрая ссора. Но...

— Да почему же «худой» мир? Почему не хороший? Что за вздор! Чего мы с Англией не поделили?

Или, быть может, англичане тоже, как турки, совершают зверства над братьями-славянами?

— Вы говорите, Павел Васильевич, так, точно турецкие зверства кто-то выдумал!

— Вот и об этом мне тоже хотелось бы выслушать мнение Ивана Константиновича, — сказал доктор, которому надоели военные разговоры людей, не выезжавших из Петербурга. Он сам в прошлом году собирался было на войну, но потом смущенно рассказывал, что как-то не вышло. У Петра Алексеевича все в жизни обычно как-то не выходило, большей частью по недостатку денег. — Что, Иван Константинович, были зверства?

— Должно быть, были.

— Значит, вы их не видели? — радостно спросил Муравьев.

— Своими глазами не видел... Или, вернее, все было зверство, — отрывисто сказал Иван Константинович. Все немного помолчали.

— Я слышал, что наши доблестные союзники румыны отличались почище турок? — полувопросительно заметил доктор. — Ну, а мы сами?

— Мы меньше. Жестокость не в природе русского человека... Быть может, жаль, что так, — сказал Иван Константинович. Взгляд его опять остановился на ногах Елизаветы Павловны. Он снова отвернулся. Все на него смотрели с недоумением. — Во всяком случае турки прекрасный народ и солдаты такие, что смотреть любо. Наша армия уважала их в сто раз больше, чем союзников. А кроме того....

Он оборвал речь. Все здесь было ему странно и неприятно. Иван Константинович, только что демобилизованный после двух лет войны, после раны и контузии, еще не мог привыкнуть к нормальной человеческой жизни, к тому, что он больше не страдал дизентерией, что на нем не было вшей и грязной густой щетины; теперь посещение парикмахерской было главным его наслаждением). Люди, разговаривавшие с ним,

не пережили ничего из пережитого им и тем не менее смели с ним разговаривать о войне. Они просто ничего не понимали: ни те, которые восторгались войной, ни те, которые порицали ее. «Этот господин в сюртучке с цветочком верно славянофил и патриот. Только на войну забыл пойти, несмотря на цветущее здоровье»,— думал он, искоса с презрением поглядывая на Чернякова. Почему-то, несмотря на свою красивую наружность, не понравилась ему теперь и эта развязная барышня, — что-то вызывающее было в ея прюнелевых ботинках с перламутровыми пуговицами, в том, как она сидела, облокотившись на изголовье дивана, держа папиросу в левой руке. Ему было досадно, что он ни с того, ни с сего принял приглашение на обед в чужой и чуждый дом. Иван Константинович почти не видал людей в Петербурге: все думал о том, как жить дальше, какие выводы сделать из того, что он пережил.

— Вот видите, — сказал профессор. — Вы пошли воевать добровольцем из за газетных статей о турецких зверствах, а теперь оказывается, что турки прекрасный народ! И это я слышу от всех вернувшихся с фронта офицеров. У нас даже теперь странный взрыв симпатий к туркам, что, конечно, уже крайность. А вот вы, Михаил Яковлевич, все-таки мне не объяснили, почему Англия наш «исторический враг». Мой покойный отец, помнивший Аустерлиц и пожар Москвы, прожил всю жизнь в глубоком убеждении, что наш исторический враг — Франция. Ну, хорошо, я, как многие, готов допустить, что наши исторические друзья — немцы. Однако почему мы должны непременно иметь исторических врагов и в частности почему наши враги именно англичане, быть может самый культурный народ на свете?

— Я тоже очень почитаю англичан, Павел Васильевич, но что верно, то верно: интересы России прямо противоположны интересам Англии, и прежде всего в том, что мы должны так или иначе закрепиться на

проливах Мраморного моря, а для них это нож вострый. Ведь кто владеет Дарданеллами, тот владеет всем миром.

Муравьев засмеялся.

— На это Бисмарк остроумно ответил в рейхстаге, когда ему привели этот афоризм. Он сказал, что Дарданеллами уже несколько столетий владеют турки и тем не менее он никогда в Берлине не испытывал такого чувства, будто живет под властью турецкого султана. И я не думаю, чтобы это чувство испытывали вы, живя в Петербурге. А кроме того, хотя я русский человек и русский патриот, я все-же не чувствую ни малейщей потребности владеть миром.

— Но ведь так нельзя спорить. Вы ссылаетесь на шутку Бисмарка, шутка хорошая, но это шутка. А вот я вас конкретно спрошу. По Сан-Стефанскому договору мы от турок получаем Алашкертскую долину. Теперь, говорят, англичане на это не согласны. Я знаю из достоверного источника, — сказал Черняков, всегда ссылавшийся на достоверный источник особенно внушительным тоном,— что здесь и лежит камень преткновения. Сент-Джемский кабинет, скрепя сердце, идет на некоторые уступки нам, но Алашкертской долины он не отдает и делает из нея casus belli. Что-же, сходятся интересы России и Великобритании или расходятся?

Профессор всплеснул руками.

— Помилуйте, на что нам Алашкертская долина? Да я и не знаю, где эта долина находится, и сомневаюсь, чтобы это знал Биконсфильд. А если он и знает, то верно ему только позавчера это объяснили эксперты. Да пропади эта долина пропадом!

Обе барышни засмеялись. Улыбнулся и Михаил Яковлевич.

— По моему, — сказал доктор, — нельзя вообще что-то отделять и что-то присоединять без согласия населения тех земель, которые отделяют и присоединяют. Признаться, я думал, что это символ веры всей

русской интеллигенции? И не скрою, что для меня тоже, как для Павла Васильевича, ея честь, н а ш а честь, дороже всех долин на свете.

— Завещание Петра Великого: произвести плебисцит среди башибузуков! — сказал, пожимая плечами, Черняков. Он себя чувствовал единственным государственным человеком в обществе этих идеалистов.

— Если там башибузуки, то, тем более, зачем нам их к себе присоединять? Мало у нас своих Треповых? Нет, нет, вы и тут скажите, Михаил Яковлевич, что кто владеет Алашкертской долиной, тот владеет миром.

— Вы однако не думаете, Павел Васильевич, что министры Сент-Джемского кабинета и в частности лорд Биконсфильд, первый министр Англии, несут первое что им взбредет в голову?

— Я думаю, что у Биконсфильда главное дело этот их так называемый престиж: престиж Англии и его собственный престиж. Если он не добьется от нас никакой уступки, то ему в Парламент носа показать нельзя будет. И Англии будет тоже конфуз, по мнению всех других Биконсфильдов, больших и малых, парламентских и газетных... Я, впрочем, не отрицаю войну вообще. Конечно, война — позор человечества и там все как по писанному. Однако я признаю, что в известных, очень редких, случаях война может быть необходима... Вы не согласны? — обратился Муравьев к Ивану Константиновичу. Тот ничего не ответил, как будто не слышал. — По моему, к подобного рода явлениям возможен только один подход: идет ли данное явление по линии общечеловеческого прогресса или...

— Предварительно надо выяснить, есть ли эта линия и куда именно она ведет, — вдруг сердито перебил его Иван Константинович.

— Я полагаю, что это известно, — сказал Черняков: Павел Васильевич тоже удивленно поднял брови, хотя замечание странного гостя совпало с тем, что он сам думал часа три тому назад.

— Согласитесь однако, что мы идем не к средним

векам и не к татарскому игу. И я готов допустить, что наша война с турками за освобождение славян шла в согласии с этой линией общечеловеческого прогресса. Возможно, что наши балканские братья будут еще достаточно резаться друг с дружкой. Однако закон прогресса требовал их освобождения из под чужой,грубой и некультурной власти. Теперь это сделано, и слава Богу. Больше ни с кем воевать незачем.

— Позвольте, еще сделано ли это? Об этом не мешает спросить Биконсфильда. Я не вполне согласен с вашим подходом к вопросу, Павел Васильевич, но я готов стать и на вашу точку зрения. И я решаюсь утверждать, что внешняя политика английского консервативного правительства по линии общечеловеческого прогресса не идет. Биконсфильд защищает султанскую Турцию, всячески замалчивает и замазывает ея самые кровавые дела. Гладстон — совершенно иная статья. С Гладстоном мы могли бы сговориться в пять минут.

— Бог даст, сговоримся и с Биконсфильдом, но незачем выдумывать ерунду. Вы согласны, Иван Константинович, воевать еще годика два из за Алашкертской долины?

— Я не согласен, — весело сказал доктор.

— Господа, но ведь так же нельзя! — самыми низкими нотами голоса возразил Черняков. — Да загляните вы хоть в самый обыкновенный справочник! Я уж не говорю об естественных богатствах Алашкертской долины, но ведь она путь в Персию, а стратегическое значение реки Шарьян-Су ясно ребенку при первом взгляде на карту. Неужели вы серьезно думаете, что Биконсфильд противится этой статье Сан-Стефанского договора из самодурства и что наш государь ея добивается просто так? Да ведь это шутка, господа!

— Я не знаю, добивается ли ея государь теперь, но я хорошо помню, что перед войной он прямо, к большому моему удовлетворению, сказал, что никаких

территориальных приобретений ему от Турции не нужно.

— Мало ли что, Павел Васильевич, говорится, когда объявляешь войну и ищешь международных симпатий! Такие заявления ничего не стоят.

— Вот нашли вообще, на кого ссылаться: на батюшку-царя, — сказала Елизавета Павловна. Профессор с недовольным видом покосился на дочь и незаметно показал ей глазами на нового гостя, человека почти незнакомого. Иван Константинович посмотрел на на нее и ничего не сказал.

— А ведь мы с вами, Иван Константинович, встречались! — вдруг радостно сказал Черняков. — Я все себя спрашиваю, где это я вас видел? Ведь это вы играли лет десять тому назад у Пятницких на любительском спектакле. Помните, шел «Лев Гурыч Синичкин». И вы превосходно играли, все хохотали до упаду! Вы тогда еще были студентом.

— Да, был студентом, — ответил Иван Константинович. На лице его появилась и тотчас стерлась улыбка. Все удивленно на него смотрели: с трудом верилось, что этот мрачный человек играл в веселом любительском спектакле. «Ему бы какого-нибудь Отелло играть или другую венецианскую мавру», — подумал Черняков. Машенька все ловила взгляд Елизаветы Павловны, чтобы узнать, как надо относиться к Ивану Константиновичу. Взгляда сестры ей было бы для этого совершенно достаточно.

На пороге кабинета показалась горничная, сделавшая знак барышням с тревожным и решительным видом.

— Готово? Господа, пойдем обедать. Сообщаю меню: будут устрицы, горячий форшмак, холодное мясо с салатом и сладкий пирог, который принес Черняков. Больше ничего, по известным вам причинам. Но чтобы вас утешить, подадут шампанское. Довольны?

— Премного довольны, Елизавета Павловна, хоть вы нас сегодня все обижаете, — сказал Черняков.

— Рада стараться. Так вам и надо.

— А мы вас отучим нас обижать.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Ваша любимая фраза: «ну, это мы еще посмотрим». Вот и посмотрите... А не опасно есть устрицы в апреле?

— Не опасно. Чорт вас не возьмет, как говорят в высшем обществе.

— Лиза! — с упреком сказал профессор.

— Люблю форшмачек из селедочки. Особенно если и водочки к нему пожалуете. Ну, что шампанское! Мы люди простые... Как это вы написали, Павел Васильевич, о Степаныче? «Пьет пивцо и дует водку, — Семгу ест и жрет селедку»... Очень хорошо! — весело сказал доктор, мало евший, пьяневший от второй рюмки, но очень любивший говорить об еде и выпивке.

IV.

Михаил Яковлевич действительно имел право сказать, что знаком с Достоевским. Их раза два-три знакомили — всякий раз наново — на вечерах, на заседаниях, в разных общественных организациях. В душе Черняков однако не был уверен, что Достоевский помнит его фамилию. Впечатление от знакомства у него было не то, чтобы неприятное, а, как он и говорил, н е у ю т н о е. Впрочем, такое же впечатление от Достоевского выносили почти все. — «То ли дело наш Иван Сергеевич! Вот, можно сказать, рубаха-парень!» сказал как-то Михаил Яковлевич сестре. Собственно он и Тургенева знал очень мало и не имел оснований называть его «нашим». Слова-же «рубаха-парень» никак не подходили к этому старому барину, но как-то это так у Михаила Яковлевича сказалось. В Тургеневе действительно ничего неуютного не было. Он помнил и фамилию, и даже имя-отчество Чернякова, при редких встречах говорил своим высоким тонким голосом любезные слова и слушал с таким видом, точно речи

его собеседника открывали ему совершенно новый и необыкновенно интересный взгляд на Россию, на мир и на судьбы человечества. Так он разговаривал с революционерами, с либералами, с консерваторами — и только при виде крайних ретроградов свирепел и тотчас от них уходил.

Черняков с готовностью принял возложенное на него поручение заехать по делу к Достоевскому. Других охотников не было, оттого ли, что Достоевский еще совсем недавно пользовался репутацией крайнего ретрограда, или потому, что в его обществе люди себя чувствовали не совсем легко. Многие считали его сумасшедшим. Михаилу Яковлевичу давно хотелось побывать у этого писателя; тем не менее подъехал он к дому у Греческой церкви с легкой тревогой. «И дом какой-то неприятный»...

На звонок долго не отворяли дверей. Затем послышались торопливые шаги. Женский голос сказал — неожиданно очень у ю т н о (в голосе с л ы ш а л а с ь улыбка): «Сейчас, сейчас, подождите минуточку» (хотя Черняков дернул шнурок один раз и довольно робко). Отворила дверь женщина с простым миловидным лицом, одетая так просто, что Михаил Яковлевич даже не мог разобрать, жена ли это, горничная или няня. «Скорее всего няня. Есть женщины от природы н я н е о б р а з н ы е»... В передней было полутемно. Тускло горел огарок свечи. Немного пахло керосином.

— Вы к Федору Михайловичу? Пожалуйте в кабинет. Он через минуточку выйдет, — сказала женщина. Несмотря на «он» и «выйдет», у Чернякова оставались некоторые сомнения: может быть, все-таки няня? Он поклонился с достаточной для д а м ы учтивостью, но все-же не так, как поклонился бы, например, незнакомой жене профессора. — Вот сюда положите, — с приятной улыбкой сказала женщина, показав на ветхий сундук, покрытый серым сукном. «Сундук тоже нянеобразный», — подумал Михаил Яковле-

вич, приветливо улыбаясь. Он осторожно положил на сундук свое новенькое модное демисезонное пальто и шляпу, с удовлетворением заметив, что сукно совершенно чистое (огарок горел над сундуком).

Кабинет был освещен лампой и двумя очень высокими свечами, стоявшими на письменном столе неприятно-близко одна к другой, по обе стороны маленькой чернильницы. Михаил Яковлевич, всегда очень интересовавшийся тем, как живут люди, особенно люди умственного труда, с любопытством огляделся и вздохнул. Ему редко случилось видеть столь неуютную, мрачную комнату. Правда, порядком и чистотой кабинет Достоевского не уступал его собственному, но все было чрезвычайно бедно. «За эту мебель старьевщик даст рублей десять, да и заплачено было верно немногим больше», — подумал Михаил Яковлевич. Он был огорчен тем, что так плохо живет знаменитый русский писатель. «Этот письменный стол верно шатается, — предел ужаса, — и под ножку надо подкладывать кусочки картона»... Впрочем, кусочков картона как будто не было. У стены стоял старенький обитый красноватым репсом, очень потертый диван, а около него табурет с книгой, стаканом и свечой (тоже очень высокой). «Очевидно на этом диване он и спит. Как неприятно это зеркало в черной раме». Было еще несколько жестких стульев, другой дешевенький стол, крытый красной скатертью, с аккуратно сложенными книгами. «Вот только икона, кажется, хорошей работы», — смущенно думал Михаил Яковлевич, редко видевший иконы в домах, в которых он бывал. «Да, очень плохо живет. Неужто он так беден? А говорили, что он стал лучше зарабатывать, будто бы даже платит долги. В наш Фонд он давно не обращался. В свое время Лавров устроил, помнится, скандал из за того, что ему дали слишком много, но это ведь было очень давно. Не внести ли предложение о ссуде ему из наших новых: бессрочных и беспроцентных?» Михаил Яковлевич знал, что Достоевскому, почти без возражений, дадут и пять-

сот, и тысячу рублей, при чем у радикальных членов Комитета будет особенно корректный вид, подчеркивающий, что они не возражают против денежной помощи ретрограду. Такой же вид бывал у консервативных членов Комитета, когда просил о ссуде нуждающийся радикал. Фонд, несмотря на нападки на него, работал очень хорошо. Черняков понимал, что тут никто не будет задавать вопросов: не пьет ли проситель, и сколько именно он зарабатывает, и нет ли у него богатых родных, и не могла ли бы работать его жена? — все-таки Достоевский. «В случае надобности я дам поручительство», — решил Михаил Яковлевич. Он занимал в Комитете очень хорошее положение; не только никогда не брал ссуд, но аккуратно вносил и членский взнос, и даже отчисление от заработка, именовавшееся Дружининской копейкой (этой копейки не платил почти никто). «Сам же ему сюда и привез бы деньги», — подумал Черняков, представляя себе, как, в ответ на смущенные растроганные выражения благодарности, будет ласково и ободрительно говорить: «Ну, что вы, что вы, Федор Михайлович! Это честь для нашего Фонда. И не вы нас, а мы вас должны благодарить, за художественное наслаждение, которое вы нам доставляете»...

Впрочем, все это лишь проскользнуло в воображении Михаила Яковлевича: так он был занят наблюденьями. Черняков сначала постоял в ожидании хозяина, затем сел рядом с письменным столом, у высоких свечей. «Точно оне над гробом горят... Вообще и дом, и кабинет такие, как будто здесь было когда-то совершено убийство. А может, мне так кажется именно потому, что тут живет Достоевский? Значит, здесь написаны «Преступление и Наказание», «Бесы», «Идиот»? Нет, он, кажется, нередко меняет квартиры. Но верно за этим письменным столом»... Достоевский, очевидно, только что работал. На столе лежал исписанный лист бумаги. Михаил Яковлевич невольно на него взглянул, — «ну, что-ж, ведь это не частное письмо, да я и не

читаю, а только смотрю, как он т в о р и т»... Лист был исписан так густо, что невозможно было бы вставить еще хотя бы одно слово. Казалось, что на листе писали и сверху вниз, и снизу вверх, и еще были отдельные вставки, обведенные чертами и кружками. В углу был пером нарисован какой-то похожий на Достоевского старик, тоже обведенный четыреугольником; к голове старика справа, слева, сверху, снизу подступали строчки. И еще где-то между строчек выделялись слова, каллиграфически выписанные более крупными буквами. Их можно было разобрать, Михаил Яковлевич с любопытством пригнулся к столу. «Paris»... «Russie»... «Rachel»...— «Странно, очень странно!» — подумал Черняков, писавший свои научные работы совершенно иначе: у него мысли так и отливались в безупречно правильные предложения, разве что изредко приходилось заменять причастием слово «который», если оно приходилось слишком близко от другого «которого», — Михаил Яковлевич, как Флобер, читал себе вслух каждую страницу. Он жаловался друзьям и товарищам по науке на м у к и т в о р ч е с т в а, но иногда сам удивлялся тому, как легко и хорошо пишет. «Вот тебе и их вдохновенье!»

Он опять встал и нервно сделал несколько шагов по комнате. Почему-то в этом кабинете он чувствовал себя смущенным и даже как будто виноватым. «Да, что-то и порядок такой, какой бывает на кладбище»... Михаил Яковлевич бросил взгляд и на книги, лежавшие на красной скатерти. Сверху лежала брошюра: отдельное издание заключительных глав «Анны Карениной», выпущенное Львом Толстым после того, как Катков отказался их напечатать. «Вот граф Толстой зарабатывает пером очень недурно. Ему за «Анну Каренину» «Русский Вестник» отвалил двадцать тысяч. Столько, сколько я зарабатываю в шесть-семь лет», — с неудовольствием, как при всякой несправедливости, подумал Черняков. «И слава тоже не та. Должно быть, бедный Достоевский завидует Толстому, как мне завидовал

Энгельман (это был московский приват-доцент, кандидат на доставшуюся Чернякову кафедру экстраординарного профессора). Что-ж, все мы люди, все человеки»... Книга, лежавшая на табурете около дивана, оказалась Евангельем. Смущение Михаила Яковлевича еще усилилось. Он вынул из петлицы цветок и сунул его в карман.

V

В комнату вошел хозяин дома, в старом пальто поверх жилета, со стаканом чаю в руке. Он остановился и с недоумением взглянул на посетителя, точно ожидал кого-то другого. Действительно, когда он три дня тому назад получил письмо с просьбой о разрешении побывать у него по делу, ему почему-то показалось, что Черняков кто-то другой. Теперь он вдобавок забыл фамилию человека, которому назначил свиданье, и совершенно не знал, кто это такой. «Кажется, кто-то скучный?» Приятных людей для него давно больше не было (разве два-три человека в мире); но этот был как будто не слишком неприятный.

— Очень рад, — сказал он негромким глуховатым голосом, который тотчас привлекал внимание. — Прошу покорно садиться. Чаю не угодно ли?

Михаил Яковлевич поспешил напомнить, кто он. Он ждал, что хозяин скажет: «Помилуйте! Разумеется, я вас отлично знаю». Однако хозяин этого не сказал, — только повторил «прошу покорно садиться», сам сел на стул у письменного стола и тотчас раздраженно спрятал в ящик свой расписанный лист, как будто догадавшись, что гость в него заглянул. Затем он вынул из картонной коробки очень толстую гильзу и молча стал ее набивать, чуть опустив голову и глядя исподлобья на гостя небольшими светлокарими, усталыми, недобрыми глазами, — точно он ожидал, какое еще будет скучное и неприятное дело.

К собственному своему удивлению, Михаил Яков-

левич изложил свое дело сбивчиво; где-то даже прилагательное было не согласовано с существительным. Главной причиной столь ему непривычного смущенья был теперь именно упорный, сбоку на него направленный взгляд этих маленьких странных глаз. Черняков что-то читал об особом, будто бы сверлящем, взгляде каких-то знаменитых писателей; его учитель профессор Гнейст говорил ему, что Гете орлиным взором видел с первого взгляда человека насквозь: это Гнейст слышал от другого профессора, который слышал это от Эккермана. Черняков встречался со многими известными писателями и не замечал, чтобы они орлиным взором пронизали насквозь людей. Однако, Михаил Яковлевич признавал Достоевского знатоком человеческой души в ея взлетах и паденьях не только потому, что читал об этом в каком-то журнале. «Записки из Мертвого Дома» действительно чрезвычайно ему нравились; он не раз на них ссылался в своих университетских и публичных лекциях, как впрочем и многие другие профессора, особенно криминалисты. Нравилось ему и то, что у Достоевского все выходит так затейливо. «Вдруг к какой-нибудь этакой блуднице нагрянет в дом сразу человек тридцать, и князь при тридцати чужих непрошенных гостях сделает предложение, а блудница тут же бросит в камин сто тысяч рублей и велит корыстолюбцу их вытащить и взять себе, а когда корыстолюбец откажется, подарит ему эти сто тысяч, а он их ей из гордости вернет. Или ввалится в дом шайка радикалов, чтобы шантажировать, тоже при толпе гостей, хорошего, ни в чем неповинного человека уже напечатанной ими о нем пасквильной статьей, а он, по своей доброте, даст шайке десять тысяч, а главный шантажист сначала скажет, что мало, а потом по гордости от всего откажется, и тут же с шантажистами и с гостями начнется разговор о Христе и о частных интимных делах, при чем все у всех будут читать в душе как в открытой книге, и потом исступленно с ненавистью друг на друга завопят... Мастер, мастер сочинять»,

— думал испуганно Михаил Яковлевич. — «Это уж у него непременно: люди говорят о божественном и подслушивают у чужих дверей. Я вот о божественном мало говорю, но зато и у дверей никогда не подслушиваю... Если он потребует, чтобы я сжег сто тысяч, то я не сожгу, да у меня с собой только четвертная. И камина здесь, слава Богу, нет, у нас везде больше печи... Ох, лицо у него — жуть!»...

Черняков встречал этого писателя только в многолюдном обществе и, хотя смотрел на него с любопытством (на него всегда смотрели с любопытством все люди, даже очень его не любившие), не мог и з у ч и т ь его лицо. Вблизи, при свете свечей и лампы, измученное лицо Достоевского было совершенно восковым. Что-то как будто очень простое и очень русское было в форме его головы, в негустой, сливавшейся с усами, русой бороде. Все черты его лица были как будто самыми обыкновенными, но Михаилу Яковлевичу казалось, что ему никогда в жизни не попадалось столь необыкновенное, страшное лицо. «Именно страшное! Верно, такие бывают на каторге, и ему там никто не удивлялся... А может, это у меня и самовнушение. Да что ты на меня уставился? Читай, читай в моей душе что тебе угодно, ничего худого не прочтешь! А вот о тебе самом разное говорят!» — думал с некоторым раздражением Черняков, вспоминая то, что говорили о Достоевском мастера из литературного мира. Правда, Михаил Яковлевич, человек порядочный, благожелательный и нелегковерный, не придавал большого значения таким рассказам. В профессорских кругах тоже не было недостатка в недоброжелательных, злобных и завистливых сплетнях. «Но это все-таки совершенно другое дело. Конечно, Энгельман распускал слухи, будто я скатал диссертацию у Гнейста, но он не станет, например, рассказывать, что я нахожусь в связи с моей сестрой. Это уж их специальность, «учителей жизни», — думал Черняков, забывший, что самые худшие слухи о Достоевском при нем передавал именно профессор,

впрочем несерьезный, второго сорта. Хозяин дома продолжал слушать, не сводя глаз с гостя (не сводил их даже тогда, когда отхлебывал чай из стакана). «Ну, читай, читай, сделай милость», — думал Михаил Яковлевич, излагая дело, по которому он приехал. Ему было поручено просить Достоевского выступить на благотворительном вечере. Лицо хозяина прояснилось: видимо, он ждал большей неприятности.

— Рад бы душой. Слишком ценю и честь, и цель вашего вечера, — сказал он тем же глухим голосом. — Но как раз в это время не могу: вышло мне ехать в Москву... Вы ведь знаете, я никогда не откажу, если дело хорошее.

Михаил Яковлевич действительно знал, что это правда. Несмотря на дурную политическую репутацию Достоевского, его участие, особенно в последние два-три года, почти обеспечивало полный сбор в больших залах: в Благородном Собрании, в Кредитном Обществе. Для благотворительных организаций он был кладом.

— Ну, что-ж, Федор Михайлович, очень жаль, если вы никак не можете. Мы все-же рады тому, что, так сказать, в предварительном порядке заручаемся вашим согласием выступить на следующем нашем вечере, — сказал Черняков и приподнялся. — Простите, ради Бога, что потревожил.

— Надеюсь, вы не разгневаетесь. Ведь это без моей вины,— сказал хозяин. Он бросил папиросу в бронзовую пепельницу-плетушку и положил руку на рукав Чернякова. Михаил Яковлевич заметил, что манжеты у него были снежнобелые. Пальто, которое он носил вместо халата, тоже было без единого пятнышка, хоть очень старое и потертое. — Посидите со мной, а? Давайте, чаю выпьем.

— Мне совестно отрывать у вас драгоценное время. Ведь вы, говорят, Федор Михайлович, по вечерам работаете на радость всем вашим бесчисленным почитателям, он них же первый есмь аз, — сказал Черняков. Ни с кафедры, ни в другом доме Михаил Яковле-

вич, вероятно, не сказал бы: «от них же первый есмь аз», но в этом кабинете он почему-то чувствовал потребность говорить не совсем так, как обыкновенно. Он был очень доволен приглашением. Достоевский принадлежал к другому лагерю и, как говорила брату Софья Яковлевна, в последнее время стал «профетом некоторых салонов». Но так как он был преимущественно романист, то это большого значения не имело: романистов Михаил Яковлевич считал людьми безответственными, которые в политике ничего не смыслят и потому могут говорить что им угодно. Вдобавок, Достоевский как будто в последние годы опять менял лагерь. Он сказал теплую речь над могилой Некрасова, и его последний роман был напечатан не в «Русском Вестнике», а в «Отечественных Записках»; редакторы серьезных журналов смотрели на политические взгляды романистов приблизительно так же, как Михаил Яковлевич.

— Я велю подать чаю, — выходя из кабинета, сказал хозяин. Он был недоволен, что оставил у себя посетителя: жаль было терять время. Михаил Яковлевич, теперь чувствовавший себя свободнее, встал и опять прошелся по комнате. — «...Да что-же ты воду даешь вместо чаю!» — послышался из соседней комнаты раздраженный голос хозяина. «С женой он говорит или с горничной? Нет, горничной он не сказал бы «ты», — с любопытством думал Михаил Яковлевич. «Ну вот: а теперь уже не чай, а пиво! Нет, впрочем, так хорошо, спасибо, Аня», — сказал глухой голос. Хозяин дома вернулся с двумя стаканами крепкого, почти черного чаю.

— Ведь вы по вечерам работаете, Федор Михайлович? — спросил Черняков, чуть было не сказавший «изволите работать» (этого он не сказал бы даже министру народного просвещения). Михаил Яковлевич хотел было добавить: «а я всегда пишу утром», но почувствовал, что подобное замечание было бы неприличным: так на него действовал этот небольшой сутулова-

тый человек в дешевеньком пальто вместо халата. — Я вижу у вас «Анну Каренину», — полувопросительно начал он.

— Да-с, так точно, «Анну Каренину», — сердито перебил его хозяин и принялся набивать гильзу при помощи лежавшей на столе вставочки. — Вы курите? Не угодно ли попробовать?.. Нет, я себе набью другую, я не люблю готовых, да так и вдвое дешевле, — добавил он еще сердитее. — А ведь я знаю, о чем вы думаете, — после недолгого молчанья сказал он, в упор глядя на Чернякова и чуть поднимая голос. — Вы думаете, что верно Достоевский завидует графу Льву Толстому... Да, да, вы именно это думали! — почти закричал он. — Я знаю, что вы это думаете!

— Помилуйте, Федор Михайлович, я в мыслях не имел! Почему же вы должны завидовать Толстому, а не он вам? — сказал Черняков, совсем смутившись. Хозяин сердито фыркнул и закурил папиросу. — У него свое, у вас свое.

— Да, да, думали, думали... Я даром, что людей не узнаю, я подспудные мысли чувствую, я вас знаю. — Михаил Яковлевич почувствовал: «я таких, как вы, знаю». — Ну, хорошо-с, вы желаете услышать, что я думаю об «Анне Каренинной», коли это вам неизвестно? Я думаю, что это чудо искусства, какого ни один другой человек не создаст во всем мире! Да, во всем мире, а не то, чтобы какой-нибудь ваш Тургенев! Пусть ваши немцы и французы попробуют!... Ну, хорошо. Но о чем же это чудо написано, а? Кто у него там есть? Опять все те же московские б а р и н ы, чорт бы их побрал! — Михаила Яковлевича, которому приятно ласкал слух старо-московский говор Достоевского, удивило, что он говорит «барины», а не «баре»; удивляли и некоторые другие его выражения. «Может так надо? Какой-же однако профет великосветских салонов, если он бар посылает к чорту?» — Еще спасибо графу Льву Толстому, что у него главный-то герой на этот раз не

князь и не граф, а просто дворянин. Конечно, родовитый, тоже из более высшего общества, хоть с весьма странной и даже, можно сказать, удивительной фамилией. По моему, все евреи — Левины, а русских Левиных никогда ни одного и не бывало. Но все-таки не князь. И на том спасибо. А то до сих пор у него всегда бывали графы и князья. Даже барона, кажется, ни единого нет? Может, ему неловко стало перед нашими гражданственниками, а? Дай, думает, возьму один раэск просто хорошей фамилии дворянина, так и быть, уступлю демократии? Впрочем, граф Лев... Он ведь всегда так пишет: князь Андрей, граф Спиридон. Или нет графа Спиридона, а?... Граф Лев и раньше шел на уступки демократии. Помните охоту в «Войне и Мире»? Там две собаки родовитые, тысячные, по деревне за собаку плачены, но зайца берут не оне, а дешевая, совсем даже простого происхождения собака. Ругай, кажется, ее зовут. Прямо, можно сказать, апофеоза демократии!.. А как эта охота написана, а? Где уж мне! Это вы правильно сказали.

— Да помилуйте, Федор Михайлович, когда-же я это говорил? И не говорил, и не думал....

— Где уж мне так написать охоту? Я не охотник и барскими забавами никогда не занимался. И ружья никогда в руках не держал, кроме как когда служил рядовым в ссылке... А ужин у дядюшки, когда Наташа русскую пляшет, а? Скажите-ка, кто в вашей Европе так напишет, а? Только я об этом и писать не стал бы. И неправда, будто уж я так плохо пишу. Неправда!

— Да кто же говорит? — почти безнадежно сказал Михаил Яковлевич. — По важности поднимаемых вами вопросов наше общественное мнение, напротив, склонно отводить первое место в нашей литературе именно вам. Да еще Ивану Сергеевичу Тургеневу, — твердо прибавил Черняков.

— Мне купно с Тургеневым?.. Так-с. Ну, хорошо... Только я вправду им завидую, и Толстому, и Тургеневу, и всем писателям, которые происходят из поме-

щиков. Я условиям их жизни и работы завидую! Они на народных хлебах могут работать как им угодно. Я не про то говорю, что я женины юбки закладывал, что жена, больная, кормившая ребенка, простуженная, ходила под снегом закладывать последнюю шерстяную юбку. Вы это верно слышали (действительно о заложенной юбке жены Достоевского Черняков слышал не раз). Я никогда на хорошей ноге не жил, и сейчас, как видите, не комфортно живу, а случалоось, жил с женой на пятидесяти рублях в месяц. Да вовсе и не в том даже дело. Я про все унижения говорю, как мне отказывали в каком-нибудь грошевом авансе или манкировали самым малым почтеньем, и о том как это сказывалось в моем сочинении. Тургенев может описывать со всеми своими литературными почесываньями, как он с ней тоскливо в последний, — о, нет, в предпоследний — раз поцеловался в лучах умирающего пурпурно-оранжевого заката, под тенью веерообразного оранжево-золотистого рододендрона, — ищи в курсах ботаники. А кроме вранья о тоскливых предпоследних поцелуях и правды о рододендронах — потому что рододендроны-то он действительно видел и знает и помнит — Тургеневу решительно нечего сказать. А я их не знаю, но мне все это и пренеинтересно. Только ваши Тургеневы ни от кого не зависят, и им поэтому издатели платят вдвое больше, чем мне. Следовательно, платят за талант и за имение. А Достоевского, понятное дело, можно прижать, ему жрать нечего!.. Но уж будто у меня таланта вдвое меньше, чем у них? О Тургеневе я говорить не буду, чорт с ним! А Толстой, конечно, чудо... Жаль, что я его никогда не видел. Может, потому и говорю «чудо», что не видел. А все у меня есть что людям сказать. Это вы хорошо говорите: «у вас свое, у него свое», — сказал он, успокаиваясь.

— Я знаю, что ваш жизненный путь был очень, очень тяжел, Федор Михайлович, но я знаю и то, что критика в последнее время о вас писал с должным и столь заслуженным признанием.

— Будто? Критики наши меня ненавидят. Находят, что я ужасно мало реалист, да и не обрел их ужасно либеральную святыню. Но я другие понятия имею о действительности, чем наши реалисты. Ихний реализм не изображает и сотой доли жизни, да они о девяноста девяти долях и не подозревают. Я реалист, а не они и не ваш Тургенев! И уж подлещаться к нашим афишованным прогрессистам не умею, и этого не будет, отметьте: обстоятельство капитальнейшее. А впрочем, я давно позабыл, что критики обо мне писали. Я плохо помню даже то, что сам пишу. У меня ведь падучая, вы верно слышали? — спросил он, подозрительно глядя на Чернякова. — Эта болезнь отшибает память... Вот вы обиделись, что я вас не узнал. — Михаил Яковлевич почувствовал себя еще неуютнее. Он точно испытывал желание застегнуть пуговицы сюртука. — И верно, не узнал, но я никого не узнаю! — Он вдруг улыбнулся. — Недавно вызвали меня в часть по какому-то там ихнему делу. У нас ведь формальности неизбежимы... Не люблю полицию, ох не люблю, — вставил он, морщась. — Ну, пошел. Они меня слишком знают, ничего, вежливы, особенно в последнее время: как-то видно известились о моих новых знакомцах. Спрашивают для какой-то формы то, другое. — «А как, спрашивают, господин Достоевский, была фамилия вашей супруги до замужества?» Стою я... Как в самом деле была ея фамилия? Хотите верьте, хотите нет: забыл! Они смотрят на меня, выпучив глаза. Верно думали: «пора тебя, старичек, свезти на седьмую версту!» Так я и не вспомнил! Пришлось вернуться домой и спросить жену. Сниткина ея фамилия. Да-с, не Болконская и не Курагина, и не Левина, а Сниткина... Вы смеетесь?

— Извините великодушно, Федор Михайлович. Но это у вас, конечно, было просто случайное затмение.

— Какое там затмение! Я и сочинения свои перезабыл. Что написал до Сибири, то помню, а больше

ничего. Пишу роман и не знаю, что было в первых главах, забываю, как кого зовут! А старое... Ну вот, «Преступление и Наказание». Я слишком помню, что там убийство... Нет, нет, вы не говорите, убийство там не худо написано. — Черняков беспомощно развел руками. — Помните, как он там стоит и ждет, а? У-у, как написано! — Он вдруг затрясся. — Я, когда писал, то и сам мог убить! Пускай немец так напишет, а? Да и сам граф Лев, он ведь только своих графов и знает, а зачем же граф Спиридон этаким неблагородным манером кокнет по голове старуху-процентщицу? Тем более, что у него все графы Спиридоны — люди добродетельные, даже когда развратники, — насмешливо сказал он. — Что добродетельный граф Лев в этом понимает?.. Ну, хорошо, о чем же я говорил? Да вот, недавно я «Идиота» перечитывал. Читали? Ничего не помню, точно чужой роман читаю. И сам, ей Богу, словно думаю: неважно он написал, я бы, пожалуй, мог лучше. А вот до одной сцены дошел. У-у-у!.. — он опять затрясся. — Нет, нет, это вышло — дай Бог каждому. А вы может этой сцены вовсе и не приметили... И дома не приметили вовсе, ну вот, где он ее убивает, ну, как его звать? Как же его звать? — спросил он, болезненно морщась.

— Рогожин? — сказал Михаил Яковлевич, к большой своей радости вспомнив имя.

— Вот, вот, Рогожин, — скаазл хозяин. Он взглянул на гостя ласковее. — Так вы помните? Ну, а вы думали, что, когда он писал, то у него может был припадок его страшной болезни, что писал он больной, беспамятный и одурелый, без гроша, боясь, что если не сдаст в срок, то не получит нового аванса и его с женой на улицу выбросят, а?

— Я слышал и больше, чем понимаю. Но тем не менее вы, Федор Михайлович, добились всероссийской известности и являетесь признанным украшением нашей литературы.

— Спасибо на добром слове, хоть вы мне выска-

зываете больше, чем я стою. Конечно, в жизни встречаешь не одне грубые нападки. Кто знает, может вы и правы. Вот недавно меня академиком избрали. Диплом прислали, хотите взглянуть? — Он с усмешкой вынул из ящика и подал Чернякову большой лист. Михаил Яковлевич, никогда не видевший дипломов Академии Наук, с любопытством начал читать: «Imperialis Academia Scientiarum Petropolitana virum clarissimum Theodorum Michaelis filium Dostoiefski...» — но хозяин дома перебил его:

— Вот и в Париж зовут, на международный конгресс писателей, — сказал он и засмеялся. — Ничего они моего, разумеется, не читали, но верно им кто-то сказал: «Достоефски». Может, Тургенев и сказал? Он-то, должно быть, будет каким председателем или будет, скажем, с Виктором Гюго под ручку ходить, этак ужасно мило разговаривая с этаким ужасно милым парижским акцентом. Так вот он, верно, подумал: пусть и Достоевского пригласят и пусть он, бедненький, меня увидит во всем моем сиянии под оранжево-фиолетовыми лаврами. Но я не поеду. Так и не услышу, как он пропищит свои причесанные пошлости с этакой самой что ни есть либеральнейшей иронией.

— А можно ли узнать, что вы теперь пишете, Федор Михайлович?—спросил Черняков, которому было неприятно оставлять без возражений грубые слова о Тургеневе. — Хотя, кажется, спрашивать не полагается?

— Есть в голове и сердце большая вещь и просит выразиться. Но хватит ли сил? У меня через «Дневник писателя» и падучая усилилась. Хочется все сказать обнаженно и откровенно, ужас как хочется. Как Бог даст, как Бог даст... Однако, что же вы чаю не пьете? И папиросы мои вам, верно, не понравились. Крепкие?

— Действительно, Федор Михайлович, уж очень крепкие. Такие папиросы, если вы, как я предполагаю, потребляете их в большом числе, не могут не отразиться на вашем здоровьи.

— Ничего не поделаешь. Я не могу курить сигары

по сто тридцать рублей сотня... Видел в магазине такие сигары! Да я и привык к своему табаку... Что же однако я вас не угощаю? — сказал он и не без труда встал, опираясь обеими руками на стол. Он подошел к шкафчику и вытащил оттуда вазочки с пастилой, с конфетами. — Не угодно ли? Я за работой всю ночь курю, пью чай и заедаю разными сладкими штуками, так до утра и работаю. Чаю еще не желаете?

— Нет, благодарствуйте,— ответил Черняков, едва допивший и первый стакан этого невозможного чаю. Михаил Яковлевичу очень хотелось курить, но он теперь не решался вынуть свой серебряный портсигар. — Так значит, вы на парижском конгрессе не будете?

— Не буду-с. Хотя Виктора Гюго я желал бы узнать. Немного узнаешь, разумеется. Его Мизерабли — гениальная вещь. Тютчев, правда, мне говорил, будто мое «Преступление и Наказание» лучше, и искренне говорил, но это неправда: где мне до Гюго?.. О чем мы говорили? Да, всероссийская слава... Я недавно был у гадалки-француженки... Вы, понятное дело, гадалкам не верите? Ну, да разумеется, нет! Как профессору верить в гадалок, он и в Бога разве через силу может верить, да и то перед студентами конфуз. Ведь вы кончили курс естественником? Нет? Ну, все равно... Гадалка Фильд, что живет в Басковом переулке. Я и сам не то, чтобы уж очень верил. Врунья верно, но интересная врунья. Ах, какая умница! — сердито говорил он, набивая папиросу. — Ее мне умный человек рекомендовал, известный мне с весьма и весьма хорошей точки.

— Что-же такое она вам предсказала?

— Много... И хорошее, и дурное. Кое-что уже сбылось, хоть вы не верите... Она предсказала, что мне предстоит мировая слава, что меня цветами будут засыпать, что по мне люди будут с ума сходить. Вот что она предсказала, если вы хотите знать!

— Да может быть, она просто читала ваши произведения?

— Ничего она не читала и даже знать не знала, кто я такой. Меня иностранцы не знают. И жаль, там люди пообразованнее чем у нас, с нашей национальной бестолковостью. Там даже социалисты есть образованнейшие. Лассаль, например, — с удивлением сказал он. — А у нас все Нечаев на Нечаеве сидит. Или мальчишки только что из гимназии отменяют Христа.. Да что об этом говорить! Я о политике и говорить не хочу.

— Вы, однако, и пишете на чисто-политические темы. Вот ведь вы требуете присоединении к России Константинополя и креста над святой Софией. Я сам стою за распространение нашего влияния на Балканах. Но для этого нам Константинополь не нужен. И как бы мы ни относились к туркам, все же едва ли можно отрицать, что русское национальное сознание не требует креста над святой Софией, тогда как для каждого турка крест над святой Софией это конец его национальной жизни. Тут он на стену полезет.

— Да, да, все не так, не так понимают! — сказал раздраженно хозяин дома и начал объяснять, почему он недоволен Сан-Стефанским миром, почему Константинополь должен стать и станет русским. «Конечно, он хорошо говорит, вернее не хорошо, а своеобразно и красочно, он во всем очень персонален. Но по существу его мысли более или менее совпадают с тем, что говорят настоящие ретрограды. Я на каждый его довод мог бы ответить десятью, только едва ли нужно спорить», — думал Черняков.

— Разрешите сказать, Федор Михайлович, что мне трудно с вами согласиться. По моему...

— Да это скорее на чудо походило бы, еслиб вы со мной согласились!.. Впрочем, не сочтите в какую-нибудь дурную сторону... Я после работы долго не засыпаю, все думаю... Жить мне уж недолго. О царе думаю... О революции тоже... Ох, будет в России революция — и какая страшная! А знаете, кто будет ея

первой жертвой? Буква ять! Первым делом, отменят букву ять... Пустячек? Конечно, пустячек: мне она и не нужна совсем. Но это еще как взглянуть? В известном смысле и не пустячек и даже вовсе не пустячек. Будет, будет великое упрощение. Это бы еще тоже не беда, да только ох, глупое оно будет... Да, думаю о революции, о революционерах. Как они на такое дело решаются? Ведь чтоб убить человека надо слишком хорошо его знать, надо все о нем знать, а? А тогда, может, и не убьешь? Ведь на такое дело надо уходить, как когда-то отшельники в пустыню уходили, покончив все счеты с миром: и с мелким, будничным, и с большими страстями. А они разве так на это идут, а? Может, один из ста, если есть их сто человек? А другие врут себе и другим: человек на это мастер. Другие же о них еще больше врут. Может, те, что идут, совсем даже обо всем этом не думают, а?

— Может быть... Может быть, и Николай с Дубельтом тоже не очень думали, когда вас на каторгу сослали?

— То-то и есть. Если так, то чем же они лучше жандармов? Те тоже рискуют жизнью. Вот обо всем этом я думаю. Только о либерал... — Он запнулся: видимо, хотел сказать «о либералишках». — Только о либералах и об аристократишках не думаю с их пищеварительной философией. Вы все-же меня не считайте ретроградом. Я был на процессе Веры Засулич и всей душой желал ея оправдания и рад был оправданию. Был бы судьей, оправдал бы, не задумываясь ни на минуту.

— Вот видите, Федор Михайлович. А у нас, хотя суд ее оправдал, полиция ее разыскивает и хочет арестовать. Такие у нас порядки.

— Да что вы мне это говорите, точно я полицию защищаю!.. Как вы смеете мне это говорить? — вскрикнул он. «Однако, совершенно невозможный человек, надо поскорей уйти подальше от греха», — тоже раздраженно подумал Михаил Яковлевич. — Я че-

тыре года на каторге был. Вы понимаете ли, что это значит! Это был а д ! Ад, говорю я! Я был на каторге, а не Тургенев с либералишками и с гражданственниками! — Он опять спохватился. — Ради Бога, голубчик, извините, я никак не хотел манкировать вам уваженьем... Я плохо спал днем. Кажется, скоро будет припадок падучей, я ведь вперед чувствую... Да, думаю об этих несчастных юношах. И о бедном царе нашем тоже думаю постоянно. Он хороший человек, прекрасный даже человек, но укушенный страстями. И то, подумайте, наследье-то у него какое, кровь какая, а? А должен бы быть прекрасный, потому, что ему для с е б я желать нечего... Недавно приехал ко мне Арсеньев, воспитатель великих князей, и говорил мне, — знаете, как у них смешно говорят, — его величество государь император, мол, изволил выразить пожелание, чтобы вы познакомились с их высочествами. Его величество изволит, мол, высоко вас почитать и соизволил сказать, что вы могли бы оказать на них благотворнейшее влияние. И всяких еще таких слов от имени царя наговорил. — Он вздохнул. — Четыре года просидел на каторге, едва вернулся живым, а теперь оказывай благотворнейшее влияние. Ну, что говорить... Поехал я во дворец знакомиться с великими князьями, обедал с ними. Ничего, очень приятные юноши. — Он опять вздохнул. Михаил Яковлевич засмеялся.

— И что же? Верно угощали вас шампанским? Покутить они любят.

— Я их не лучше и другие их не лучше. Много и врут о них, особенно о царе.

— По моему, большому писателю, как вы, Федор Михайлович, вообще н е с л е д заниматься политикой, — сказал Черняков (в другом доме он не сказал бы и «не след»). — Ваша область иная.

— Эх, на вас все одно не угодишь! Занимаешься политикой — плохо. Не занимаешься — еще хуже... Вот мне на днях какие-то студенты прислали письмо: требуют, чтобы я подписал протест против нападения

охотнорядцев на студентов. И не поляки, а русские студенты с чисто-русскими фамилиями: Милюков, Самарин... Да мне тогда пришлось бы целый день подписывать протесты! Точно я одними охотнорядцами в мире недоволен! — Он засмеялся. «А может, тебе и не очень хочется ссориться с царем, если во дворец стали приглашать», — подумал Черняков. — Ну, да вы все равно мне не верите... Я в с е м в мире не так уж, чтобы слишком доволен! — сказал он и дрожащими руками стал набивать новую папиросу.

VI.

— Ну, вот, ваши французы-то, — начал он еще более глухим голосом. Михаил Яковлевич уже не возражал, принимая на себя ответственность и за с в о и х французов, и за с в о и х немцев, и за с в о и х либералишек, и за с в о е г о Тургенева. — Ваши французы-то, а? Они как будто начинают борьбу с католичеством, а? Сами себе яму роют!

— Ведь вы, кажется, должны бы этому сочувствовать. Насколько мне известно, вы католицизм не очень любите?

— Да разве во мне дело? Дело в них самих! Как же они, пусть не умом, то своим вековым инстинктом не чувствуют, что если не будет католичества, то будет социализм?

— Почему? — спросил Черняков, высоко подняв брови с искренним удивлением. — Я этого не вижу. А кроме того, многих из тех во Франции, кто ведет борьбу с чрезмерными клерикальными влияниями, этим жупелом, как выражается кто-то у Островского, и не запугаешь. Они социализма и хотят.

— Не могут они его душой хотеть, потому что тогда конец франкам А они только франки на земле и любят, и гражданственники, и либералы, и ретрограды. На чем другом, а на этом они сходятся.

— Все-таки, извините меня, это странно, Федор

Михайлович, — сказал Черняков раздражавшийся все больше. — Я действительно неверующий человек или, скорее, пантеист, но я уважаю всякую искреннюю веру. Что-ж это вы предлагаете: религию для защиты франков?

— Как я предлагаю! Я о них, о ваших французах, говорю. Мне-то все равно, а им каково без франков будет, а?

— Не скрою... Не сердитесь, Федор Михайлович, но меня удивляет одно обстоятельство. Вот вы гуманист, а ведь собственно вы все нации не любите: французов не любите, немцев не любите, поляков не любите, англичан не любите. Неужто свет сошелся на одних нас, русских? Французы прекрасный народ, которому человеческая культура очень многим обязана.

— Да вовсе не о том мы говорим! И нисколько я французов не ругаю, хоть гордость у них пребезмерная. Только все-же они нам антитез, как и вся Европа. В Европе сейчас ничего нет кроме денег и их дьявольской власти. Было, многое было, великое было, да ничего не осталось. Осталась разве еще общая их ненависть к России. Ведь нас все одинаково ненавидят: и немцы, и французы, и англичане, и поляки. Если Бисмарк нам завтра объявит войну, то ваши Гамбетты сейчас же к нему примажутся.

— Да почему? Из чего сіе следует? Почему им нас ненавидеть?

— Потому что они — и тоже не умом, а тем же своим инстинктом — чувствуют, что Россия носительница какой-то новой идеи. А им хочется оставаться на своих исплясанных идейках, на «бессмертных принципах 1789 года». И они чувствуют — как и я, — что России на эти бессмертные принципы наплевать.

— Я этого никак не думаю! Было бы очень печально, еслиб это было так. Вы знаете, право, эти бессмертные принципы 1789 года не так уж глупы, как представляется нашим ретроградам, — сказал Черняков. Если прежде он был просто раздражен, то теперь

почувствовал себя оскорбленным. Со всеми своими недостатками, Михаил Яковлевич был человек очень искренних убеждений. — Почему вы думаете, что во Франции будет социализм?

— Потому, что на бессмертных принципах далеко не уедешь. Что-ж делать, народ такой грубый, что не согласен жить одними бессмертными принципами. Уж очень они измочалились.

— А Россия, конечно, дело другое? Чего же, по вашему, хочет Россия?

— Какая Россия? Аристократия наша, все из более высшего общества, они ничего не хотят. Этим только за Виардишками волочиться, обирать народ и сигары курить по сто тридцать рублей сотня.

— А сам русский народ? У него все благополучно? Социализм и всякие ужасы это будет только во Франции?

— Везде так будет! — Он не рукой, а головой показал на икону. — Его отнимите, и уж наверное все, все достанется Антихристу! Вы мне вместо Христа не смейте Гамбетту сажать! — вдруг, вскочив, закричал он.

Позднее — до конца своих дней — Черняков, вспоминая эту сцену, с трудом понимал ее. Он говорил себе и другим, что Достоевский был человек двух плоскостей: «В одной плоскости был человек как человек, консервативный литератор, очень умный и злой собеседник. А в другой-уж я не знаю, кто такой он был». Михаил Яковлевич на свой лад рассказывал, что голос Достоевского вдруг окреп, что он поднял голову, что глаза у нег вдруг засверкали. «Я никогда ничего такого в своей жизни не видел и не слышал! Добавьте это восковое страшное лицо гипнотизера и вам станет понятно, почему на литературных вечерах курсистки, и не одне курсистки, падали в обморок, слушая, как он читает Пушкинского «Пророка». Я сам это слышал позднее, уже незадолго до его кончи-

ны... Нет, я в обморок не падал, но это, доложу вам, тоже был номер! Когда он произносил «И сердце трепетное вынул», он наклонялся и вытягивал вперед руку, точно держа в ней что-то дрожащее, точно с отвращением и ужасом на это глядя. Затем голос его начинал расти, все рос и рос, — где только у него силы брались? — и все кончалось бешеным исступленным криком: «Глаголом — жги! — сердца людей!». Великий актер? Какой там актер! Он и в самом деле был этакий Иеремия!»

Так через много лет рассказывал Михаил Яковлевич, очень на себя досадуя, что тогда-же, на свежую память, не записал всего, что говорил Достоевский (но он в ту пору еще не был так знаменит, чтобы полагалось записывать его слова: его р а н г только приближался к этому). Смысл слов Достоевского вспоминался Чернякову не вполне ясно. Ему запомнились слова, что все кончится антропофагией, что свобода перейдет в рабство, а социализм станет страшным, кровавым, и вместе пошлым адом. Михаилу Яковлевичу как будто ясно помнилось, что это связывалось Достоевским с исчезновением христианства в мире. Однако, быть может, он предсказывал, что антропофагия неизбежна и в том случае, если христианство не исчезнет. Люди, даже самые умные, по его словам, занимались пустяками, совершенно не видя главного. Они прочно устраивались в своем доме, обзаводились комфортом, украшали комнаты, ссорились, дрались, мирились, не замечая, совершенно не замечая того что из их воздуха медленно уходит кислород что им скоро нечем будет дышать и неизбежно предстоит задохнуться.

Эти мысли были совершенн чужды и непонятны Чернякову. «Какой к о н к р е т н ы й смысл оне могут иметь?» — спрашивал себя Михаил Яковлевич, терявшийся, когда речь заходила об Антихристе и о подобных предметах. Но тогда, в мрачном кабинете Достоевского, он, к собственному изумлению, поддался

чарам гипнотизера, — другого слова Михаил Яковлевич ни тогда, ни позднее не мог придумать.

Отдельные фразы все-же несколько точнее сохранились в памяти Чернякова, хотя, вероятно, и их тронуло время.

— ...Нет, не видят! Ничего не видят! Весь мир бродит в потемках! — почти исступленно говорил глухой, ни на какой другой не похожий, голос. — Даже не слышат подземных ударов! Даже не понимают, что близко землетрясенье! Даже красного цвета не отличают! А ведь и это не самое главное! Все, все погибнет, и хуже всего то, что ничего не будет жаль! Я один вижу, потому что чувствую не так, как другие люди, верно из за моей страшной болезни. Я и сам хватаюсь за соломинку: за наш народ. Он просвещен веками страданий. Быть может, еще в Батыево нашествие, он в лесах, спасаясь от врагов, пел: «Господи сил, с нами будь!...»

И только конец разговора (если э т о можно было называть разговором) Черняков запомнил совершенно точно. Достоевский вдруг перед ним остановился, — Михаил Яковлевич, давно замолчавший, только смотрел на него испуганно. Гипнотизер как будто успокоился. Он тоже немного помолчал.

— На каторгу бы вас надо, — сказал он неожиданно совершенно иным голосом, уже без прежней ярости, а спокойно, ласково, почти задушевно.

— Как?

— Говорю, хорошо было бы вам пойти в каторжные работы. Я вам давеча сказал, будто на каторге был ад. Не верьте мне, это ложь. То есть, ад-то был, но я за истинное счастье считаю, что побывал в этом аду. Я там Христа нашел, и за это одно вечно буду благодарен Николаю. Все я принял в жизни и за все, за все, до последнего дня буду благодарить Господа! Я на каторге понял жизнь. И вам от души желаю поскорее попасть в каторжные работы. Вы вернетесь и перерож-

денным, и счастливым, и многое понимающим человеком.

Но как ни был Черняков взволнован, озадачен и расстроен, он не хотел идти для счастья в каторжные работы и лишь молча смотрел на своего собеседника тем же, почти бессмысленным взглядом.

Довольно далеко от кабинета послышался плач ребенка. Хозяин дома изменился в лице и поспешно вышел. Михаил Яковлевич стал приходить в себя. Минуты через две из соседней комнаты послышался разговор: — Да что ты, Федя! Нельзя же так расстраиваться из за пустяка! Подождем до завтра, право?» — «Ничего не подождем!» — «Да Леша здоровый мальчик. Зачем ты волнуешься?» — «Сейчас же, сию минуту надо послать за доктором!» — говорил взволнованный глухой голос.

Михаил Яковлевич на цыпочках вышел в переднюю, надел пальто и вернулся в кабинет. На пороге появился хозяин. Лицо у него было совершенно белое. Черняков простился и ушел так же на цыпочках, бесшумно затворив за собою дверь, с облегченьем покидая этот мрачный дом. Недели через три Михаил Яковлевич узнал, что маленький сын Достоевского умер от падучей болезни.

Часть пятая

I.

УЧАСТЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

«Пишущий эти строки не с легким сердцем делится с читателями своими выводами о будущем Соединенных Штатов. Выводы эти сложились в результате «ума холодных наблюдений — и сердца горестных замет». Что-ж делать, надо смотреть правде в глаза.

В моей первой статье я как мог описал ужасное положение вещей в южных штатах, безчинства так называемых карпетбаггеров, преступления Ку-Клукс-Клан. Клаузевиц цинично, но справедливо сказал, что по существу политика есть продолжение войны, только другими способами. Гражданская война в Америке продолжается, и взаимная ненависть, вероятно, теперь больше, чем была при Линкольне. Она вообще не может ни исчезнуть, ни, боюсь, даже ослабеть. Под названием Соединенных Штатов (вернее было бы говорить: «Разъединенные Штаты») скрываются два разных государства, из которых одно завоевало другое, На штыках сидеть нельзя, и второе государство, вероятно, скоро освободится, при благосклонной — о, разумеется, совершенно бескорыстной! — поддержке некоторых западных держав (об этом ниже).

В настоящей заключительной своей статье я хотел бы остановиться на проблемах общего характера. За-

ранее, не обинуясь, предупреждаю читателей, что вынужден буду утомить его цифрами.

Пишущий эти строки оценивает общественные явления с точки зрения учения известного немецкого экономиста Карла Маркса. Люди, читавшие «Капитал» (к сожалению, пока вышел только первый том этого гигантского труда), знающие главы о прибавочной ценности и о капиталистическом накоплении, без сомнения помнят формулу:

$$S = \frac{s}{v} + V$$

$$P \times \frac{\grave{a}}{a}\ n$$

где S означает массу прибавочной стоимости, s массу прибавочной стоимости, поставляемую отдельным рабочим, v переменный капитал, ежедневно авансируемый для приобретения индивидуальной рабочей силы, V общую сумму переменного капитала, p стоимость средней рабочей силы, степень эксплоатации a (прибавочная работа), a число рабочих n.

Недостаток место, к сожалению, лишает пишущего эти строки возможности остановиться на раскрытии выводов из этой грозной формулы Маркса, — отсылаю читателей к соответственным главам «Капитала». Скажу лишь, что это поистине «Мане-Текел-Фарес» на стене капиталистического хозяйства и соответствующего ему политического строя»...

Николай Сергеевич перечел в кофейне начало статьи, вздохнул, отпил глоток чаю и задумался. Формула собственно была в статье ни к чему. Но ему не хотелось ее вычеркивать.

Первая статья, напечатанная им в большом петербургском журнале, доставила ему одну из лучших радостей всей его жизни. Он перечитал ее раз десять и,

еслиб не две ужасные, позорные опечатки, был бы счастливым человеком. За первой статьей последовали другие, — радость уже была меньше. Эта статья; которую он должен был в тот же день отправить в редакцию из Нью Иорка, ему не нравилась.

Цирк имел немалый успех в Филадельфии на выставке, устроенной по случаю столетия Декларации Независисимости, затем переехал в Нью Иорк, где успех был меньше. Делать в цирке Мамонтову было нечего. «Так и непонятно, зачем я с ними поехал! И с Катей ничего у меня не будет, пока она не расстанется с Карло», — все чаще говорил он себе.

На стенах кофейни в Ист-Сайде висели портреты Косцюшко, Мицкевича, Кошута, Вейтлинга, Карла Шурца (которого впрочем многие завсегдатаи недолюбливали). Николай Сергеевич уже знал большинство завсегдатаев. Все они были политические эмигранты, все в Европе в чем-то участвовали, все писали брошюры, все считались знаменитостями. Однако, несмотря на излучения мании величия, в кофейне было уютно. Чай подавали в стаканах, можно было получить «кофе по варшавски», печенье было венское, на деревяных палках на стене висели европейские газеты, немец лакей, тоже эмигрант, но без литературного таланта, знал, кто анархист, кто социалист, кто оставляет начай пять сентов, кто десять, кто в двенадцатом часу ночи закажет сосиски, а кто бутерброд с сыром, кому подавать светлое пиво, кому темное. Чернильницы и перья он немедленно приносил всем. На столике у входа продавались брошюры. Авторы тут же их надписывали с благосклонно-равнодушным видом.

В одной купленной у автора из вежливости брошюре Мамонтов и нашел ту формулу, которая означала «Мане-Текел-Фарес» капиталистического хозяйства. Сначала Николай Сергеевич хотел было сверить брошюру с «Капиталом», но как на зло книги у него под рукой не было. Он не был вполне уверен в том, что

«Мане-Текел-Фарес» заключался именно в этой формуле, хотя, помнилось, так говорил ему автор брошюры. «Да, дрянная статья, вдобавок недобросовестно написанная», — угрюмо подумал он. — «Впрочем, кажется, все они так пишут... В печатном виде впрочем статья, как всегда, выиграет»... Нет, формулу надо бы выкинуть... Да и буквы я объяснил довольно плохо»...

Эту статью он написал отчасти на зло тем радикальным читателям журнала, которые видели в Америке новый благословенный мир: некоторые из них уезжали в Соединенные Штаты и основывали там трудовые или коммунистические колонии. «Я по природе неконформист, но, отталкиваясь от одного конформизма, всегда неизбежно впадаешь в другой», — думал он. Вероятность близкой гибели Соединенных Штатов еще усиливалась от того, что он все время находился в дурном настроении духа. Были некоторые сомнения: пропустит ли цензура строки о конце капиталистического строя? На этот предмет была сделана оговорка о России. Николай Сергеевич знал, что русский читатель поймет цель оговорки и только от нея насторожится:

«Считаю нужным оговориться: этот прогноз никак не может относиться к нашей родине: и хозяйственный строй у нас не может быть назван капиталистическим, и общие законы экономического развития нашей страны все-таки не могут считаться тождественными с северо-американскими.

Перехожу без околичностей к общим соображениям о капиталистическом накоплении в С. Штатах:

Читателя, много слышавшего об американских дядюшках, быть может, несколько удивит то обстоятельство, что понятіе «миллионера» ново в Америке, как ново и самое слово. Первым американским миллионером был некий Пьер Лориллард. Он умер в 1843 году, оставив состояние в один миллион долларов. Тогда об этом кричали все газеты; тогда же и было создано слово миллионер, которое в начале печаталось в кавычках или курсивом. Десятью годами позднее в одном Нью

Иорке уже было двадцать пять миллионеров, а в Филадельфии девять. Впрочем, и богатейшие из них; как Корнелий Вандербильт, имели тогда состояния, не превышавшие суммы в два миллиона долларов. Сколько миллионеров есть в Америке теперь? «Сочесть пески, лучи планет — хотя и мог бы ум высокий»...

В этой среде богачей идет однако со сказочной быстротой процесс концентрации капитала. Ни для кого не тайна, что везде в мире (за исключением России) деньги дают политическую власть. Это в особенности верно в отношении Соединенных Штатов, как наглядно доказало недавнее дело Tweed Ring, облетевшее все газеты мира. Оказалось, что и палата представителей, и сенат, и министры, и провинциальная администрация, и даже суд находились в руках ничем не брезгавших богачей. Но какими же суммами располагали эти богачи? У них были миллионы, быть может кое-у кого десяток миллионов. Теперь создаются богатства иного размера. Если не по имуществу, то по доходу богатейшим человеком в Соединенных Штатах сейчас признается чикагский миллионер Маршал Фильд. Его доход исчисляется в семьсот долларов в час! Вот истинный властелин капиталистического мира, и нетрудно понять, в какую сторону эта власть мир ведет. Правда, сей почтенный человек сам как будто мало интересуется политикой, но у него есть или будут внуки, уже родившиеся в богатстве и верно не слышавшие о трудящихся людях. В их полное безотчетное, бесконтрольное распоряжение должно перейти это колоссальное богатство, и не надо быть пророком, чтобы предсказать, какую грозную реакционную силу они представляли бы в Соединенных Штатах... еслибы еще успели вступить во владении ростущим с каждым часом богатством чикагского дельца.

Впрочем, последнее мало вероятно, как, надеюсь, будет ясно читателю из нижеследующего.

Соединеные Штаты пока поддерживают мирные отношения со всем миром. «Национальное богат-

ство» как будто ростет. В 1870 году у Lake Superior найдена железная руда. В 1859 году в Пеннсильвании открыта нефть. Только что закончившаяся выставка в Филадельфии, привлекшая в Фэрмонт Парк около десяти миллионов посетителей, показала в своих Machinery Hall, Agricultural Hall, Memorial Hall и в других hall-ах, им же несть числа, ряд новых технических открытий и усовершенствований. Казалось бы, тишь да гладь Божья благодать. Однако пресловутая «Черная пятница» на нью-иоркской бирже у всех в памяти. По стране прокатилась волна банкротств. Она продолжается по сей день, и темп ея ростет с катастрофической быстротой. Чтобы не быть голословным, приведу лишь несколько цыфр:

Таблица I.

Год	Число разорившихся предприятий
1873	5.000
1874	5.830
1875	7.740
1876	9.092

Не буду утомлять читателей выкладками. Однако, если на основании этих грозных данных начертить кривую банкротств, то окажется, что к 1910 году в Соединенных Штатах не останется н и о д н о г о не разорившегося предприятия! Если, разумеется, к тому времени капиталистический строй не будет заменен другим, более рациональным и более отвечающим потребностям страны и времени.

Выше я употребил ходячее выражение «национальное богатство». Чтобы пояснить его предельное лицемерие, я приведу краткие цыфровые данные о заработках трудящихся классов Америки:

Таблица II.

Род труда	Еженедельный заработок трудящегося (в долларах и центах)
Батрак	9.90
Горнорабочий	10.00
Столяр	11.02
Плотник	12.38
Маляр	13.00
Кузнец	16.43
Механик	16.65
Котельщик	17.00

Можно ли жить на эти деньги? Конечно, можно — поскольку так живет огромное большинство американцев. Они сыты, кое-как одеты и обуты. С внешней стороны американская толпа даже не производит впечатления нищеты. Но поговорите с людьми из кругов, защищающих интересы трудящихся масс. Они скажут вам, что, например, детская смертность в Соединенных Штатах ростет со сказочной быстротой. Страна была бы уже в стадии вымирания, еслиб не постоянный приток иммигрантов из Европы, кстати сказать, беспрерывно подтачивающий, изменяющий, преобразующий то, что можно было бы — с натяжкой — назвать «национальным духом» Америки. Мне приходится бывать в некоторых кофейнях Нью Иорка, где за день не услышишь ни одного английского слова.

Нехитрые — или, напротив, слишком хитрые — люди уверяют, что материальное положение рабочих улучшается или будет улучшаться. Увы, известный Лассалевский железный закон заработной платы с полной ясностью показывает, что никакого ея увеличения в капиталистическом хозяйстве быть не может. Восемь лет тому назад образовавшаяся в Америке группа «Рыцарей труда» выдвинула лозунг 8-часового рабочего дня. О, святая простота! Эти наивные «рыцари» дума-

ют, что кучка людей, которым принадлежит американское «национальное богатство», пойдет на такую уступку рабочему классу, впрочем едва ли и возможную при нынешней системе хозяйства. Пишущий эти строки не хотел бы ссылаться на verba magistorum, но ему приходилось видеть копию письма Фридриха Энгельса, одного из ближайших соратников Маркса. Он высказывает убеждение, что положение американского рабочего, как впрочем и западно-европейского, будет все ухудшаться и ухудшаться. Возможно даже, что скоро начнется процесс эмиграции из Соединенных Штатов.

Долго ли будут трудящиеся классы терпеть такое положение вещей? Грозные симптомы не оставляют сомнений в том, что недолго, очень недолго. Не так давно скончавшийся вождь американского пролетариата Силвис стоял за «небольшое кровопускание» («a little blood-letting»). Боюсь, что кровопускание будет, напротив, большим. Недавно по стране прокатилась волна забастовок. Очень неспокойно сейчас на железных дорогах, особенно, по слухам, в Балтиморе и в Охайо. Вполне возможно и даже вероятно, что эти забастовки будут подавлены в крови. Однако в конечном исходе борьбы сомневаться не приходится. Карл Маркс еще в 1866 году высказал мнение, что Соединенные Штаты вступили в революционную фазу своей истории. Он же сейчас утверждает, что в этой фазе мощным союзником американского рабочего будет американский фермер и американский негр.

Да, в стране создалась революционная ситуация. Доверие к принципам свободы и равенства можно считать конченным. Неслыханный скандал, связанный с только что закончившимися президентскими выборами, нанес этому доверию последний, решающий и сокрушительный удар. Пишущий эти строки давно не был в России и не знает, что именно сообщила читателям об этих выборах наша повседневная печать. Читатель наверное не посетует, если эта история будет восстановлена в его памяти. В июне прошлого года рес-

публиканская партия выбрала или, как здесь говорят, номинировала, своего кандидата в президенты Соединенных Штатов. Наиболее авторитетным деятелем партии, выигравшей гражданскую войну, был Джемс Блэн, в самом деле имеющий немалые общественные заслуги. Тем не менее — или вернее поэтому — Блэн избран кандидатом не был: против него ополчились закулисные таинственные силы. После многочисленных баллотировок партийным кандидатом был избран губернатор Хайес, полное ничтожество даже по мнению его избирателей (вероятно, именно сему обстоятельству он и обязан своим избранием). Кандидатом демократической партии был Самуил Тилден. Его ничтожеством назвать нельзя. Он имеет заслуги по борьбе с той же финансовой камарильей Tweed Ring. Желая нажить на этом политический капиталец, демократы решили повести кампанию под лозунгом оздоровления нравов. Иными словами, демократическая партия стоит за прекращение финансового пиратства. Цель, что и говорить, почтенная, но... В разгар избирательной кампании выяснилось, что сам Тилден, апостол «чистой и неподкупной демократии», проделал, в качестве юрисконсульта железных дорог в Миниезоте, аферу, мягко выражаясь, сомнительную. Что-то у него оказалось неладным и по части уплаты его собственных налогов. Тем не менее Тилден получил около половины выборщиков в избирательной коллегии: 184 из 369. Ему не хватало лишь одного голоса для избрания. Хайесу досталось в коллегии 165 мест. Относительно двадцати оставшихся голосов шел ожесточенный юридический спор, изложением которого я не буду занимать читателей. Для его разрешения была, в результате всяких махинаций, избрана «беспристрастная» комиссия из 15 человек. В этой комиссии оказалось 8 республиканцев и 7 демократов и, очевидно по случайному совпадению, она, большинством 8 против 7, отдала двадцать спорных мест республиканскому кандидату. Таким образом Хайес был избран президентом 185 голосами против 184, хотя на народ-

ном голосовании он получил несколько меньше голосов, чем его конкурент. Итак, какая-то сомнительным способом составленная комиссия большинством одного голоса принимает решение, которое создает одному из кандидатов фальшивое большинство в один голос в избирательной коллегии!!

Комментарии излишни.

Только люди, видевшие своими глазами эту избирательную кампанию, видевшие впечатление, произведенное результатами выборов, могут понять их значение для будущего Америки. Теперь достаточно ясно, что при псевдо-демократической системе номинальными правителями, президентами Соединенных Штатов, могут — в лучшем случае — становиться лишь люди ничтожные, являющиеся игрушкой в руках подлинных закулисных — впрочем даже почти не закулисных — правителей. Разочарование в этой системе охватило всех и вся. В кофейнях только и слышишь: «Довольно с нас всей этой лжи, всей этой коррупции, всей этой пародии на народоправство!» Пытливая мысль человеческая начинает работу над созданием новых, подлинно-демократическим форм государственности. Нынешнему же государственному строю Соединенных Штатов приходит конец. В кругах, представляющих подлинные интересы народа, определенно высказывается мнение, что генерал Хайес не только 19-ый по счету, но и последний президент Соединенных Штатов.

Теперь внешнее положение страны. Читатель знает, что в последнее десятилетие отношения между Вашингтоном с одной стороны и Лондоном и Парижем с другой оставляли желать лучшего. Вернее говоря, эти отношения были просто плохими. Нечего скрывать правду: для рядового янки Англия была, есть и будет историческим врагом Соединенных Штатов. Поддержка, оказывавшаяся британским (и французским) правительством южным штатам в пору гражданской войны, нашумевший инцидент с Алабамой и связанный с ним международный третейский суд, подлили масла, много

масла, в огонь исторической вражды. Что касается Франции, то напомню лишь, что всего десять лет тому назад американская армия генерала Шеридана была двинута на юг, чтобы заставить уйти из Мексики экспедиционный корпус Наполеона III. Оффициальным мотивом была пресловутая доктрина Монроэ. Но ни для кого не тайна, что не в ней была сила: сила была в борьбе за мексиканский рынок.

Теперь позволю себе, для уяснения моей мысли, привести еще одну таблицу. Это цыфры ввоза и вывоза, определяющие внешнюю торговлю Соединенных Штатов:

Таблица III.

Год	Ввоз в С.Ш.	Вывоз из С.Ш.	Превыш. ввоза	Превыш. вывоза
	в тысячах доларов			
1790	23.000	20.205	2.795	
1800	91.253	70.972	20.281	
1810	85.400	66.758	18.642	
1820	74.450	69.682	4.758	
1830	62.721	71.671		8.950
1840	98.259	123.669		25.410
1850	173.510	144.376	29.134	
1860	353.616	333.576	20.040	
1870	435.958	392.771	3.187	
1871	520.2			
1872	636.6			
1873	642.1			
1874	567.4			
1875	533.0			
1876	460.7			

Николай Сергеевич с досадой вспомнил, что не вписал в Таблицу III данных о вывозе из Соединенных

Штатов за последние шесть лет: как раз, когда он переписывал цыфры, в комнату вошла Катя и работа была отложена. «Без этих цыфр не пошлю. Минимум добросовестности все-таки соблюдать надо! И формулу выпущу....»

В первый раз, когда он в подстрочной сноске поставил длинное название отчета какой-то комиссии вместо того, чтобы сослаться на брошюру, цитировавшую этот отчет, Мамонтов был смущен. «Что если немец ошибся в годе или в странице!.. Хотя кто же там будет проверять, в России ни одного экземпляра этой брошюры нет. Она во всем мире только в этой кофейне и продается... Да и не велико в конце концов преступление: ну, взял из вторых рук, выводы во всяком случае правильные»... Затем, случилось, он написал в статье лишнюю страницу только для того, чтобы вставить забавную цитату. Николай Сергеевич видел, что добросовестность у него все уменьшалась по мере того, как он терял интерес к работе.

«Вдумчивый аналитик сделает выводы из этой таблицы. В течение всей своей истории Соединенные Штаты были страной импортирующей. Только два раза за первые три четверти века американский вывоз превысил ввоз, в 1830 и в 1840 году, но превысил лишь на очень незначительную сумму и благодаря случайным политическим и экономическим осложнениям в Европе. Кроме того (и главное) самые размеры внешней торговли Соединенных Штатов были тогда весьма малы. В 1874 году случилось событие, чреватое огромными политическими последствиями: ввоз в Америку стал быстро падать, а вывоз столь же быстро рости. Соединенные Штаты из страны импортирующей стали страной экспортирующей. Общее мнение американских экономистов, communis doctorum opinio, говорит, что превышение вывоза над ввозом будет и дальше увеличиваться с все растущей быстротой. По оптимизму, свойственному американцам, они не учитывают гроз-

ных политических последствий этого как будто невинного экономического факта.

В самом деле, что следует из вышеприведенных цыфр? Безделица: только то, что на этом пути Америка неизбежно и неотвратимо столкнется с вековой царицей морей и внешней торговли Англией. Опять-таки, по имеющимся у пишущего эти строки сведеньям частного характера, на эту грозную опасность указывают и марксисты, в частности тот же Фридрих Энгельс, один из самых крупных политических умов современности. В несколько меньшей степени конкурренткой Соединенных Штатов явится и Франция. Можно даже предполагать, что и молодой германский промышленный капитал, уже выходящий на арену борьбы за мировые рынки, окажется заинтересованным в борьбе с дерзким американским конкуррентом, на которого можно было не обращать внимания, когда его вывоз измерялся лишь десятками миллионов.

Экономические конфликты в недрах капиталистического общества неизбежны, неотвратимы и неразрешимы. С неумолимостью Немезиды они ведут к кровопролитным войнам. Если война вспыхнет между Соединенными Штатами и мощной англо-французской коалицией, к которой, по мнению некоторых здешних немецких публицистов, неизбежно присоединится Германия, то шансы Соединенных Штатов на победу будут, разумеется, равны нулю. Помимо неравенства сил, на стороне европейских держав тысячелетния воинския традиции, без которых, как согласно утверждают все военные авторитеты, воевать немыслимо. Пусть читатель добавить к этому сказанное выше: безвыходный экономический кризис, революционное настроение в рабочих кругах, тлеющая и могущая вспыхнуть каждый день гражданская война между северянами и южанами... Вывод достаточно ясен.

Около ста лет тому назад, в ту пору когда строилась нынешняя американская столица, знаменитый французский философ Жозеф де Мэстр писал, что эта

столица скорее всего никогда достроена не будет; что если она и будет достроена, то не станет столицей; что если станет столицей, то не будет носить имени Вашингтона; и что едва ли вообще будут существовать Соединенные Штаты. Мне недавно напомнил это предсказание (разумеется, безмерно преувеличенное) один немецкий публицист, много лет живущий в Нью Иорке и являющийся очень осведомленным, чутким и вдумчивым наблюдателем всего того, что происходит во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов.

Читатель поверит мне, что я пишу эти строки с горьким чувством. Я нахожусь в Соединенных Штатах уже несколько месяцев. Мне многое нравится здесь чрезвычайно; всего больше нравится сам американский народ, добродушный, гостеприимный, трудолюбивый и веселый. Именно его бодрое настроение и вызывает в случайно сюда попавшем наблюдателе жгучее чувство недоумения и сочувствия. Со всеми недостатками своего хозяйственного строя, Соединенные Штаты заслуживали бы лучшей участи. Но.. amicus Plata sed magis amica veritas.

Н. Зверев

Мамонтов поставил под статьей число, месяц, год. Затем положил статью в конверт, расплатился и вышел.

Они жили в самой оживленной, веселой части города, на Union Square (нью-иоркцы говорили, что эта площадь выстроена по образцу парижской Place Vendôme, — Николай Сергеевич только разводил руками). Жили они почти роскошно. Антрепренер хорошо платил, Мамонтов вдобавок старался незаметно принимать на себя часть расходов Кати и Рыжкова; это облегчалось тем, что они не знали ни слова по английски. Вечера обычно проводили на модной Bowery, либо в театрах, либо в Atlantic Gardens. Вместе осматривали достопримечательности Нью Иорка: городскую железную дорогу Elevated, огромное здание «Нью Иорк Трибюн», мраморный особняк миллионера Стюарта.

Иногда Николай Сергеевич ездил с Катей верхом по покрытому зеленью Бродвэю. Ему казалось, что он хорошо ездит. Карло, повидимому, этого не думал.

В гостиннице Westmoreland Карло и Катя занимали комнаты рядом. Это очень мучило Мамонтова. Впрочем, двери между номерами не было. На стук Николая Сергеевича в комнате Кати никто не ответил. Карло выглянул в корридор и обычным бесстрастным голосом, с обычным отсутствием улыбки, сказал, что Катя у парикмахера.

— Возможно, вы заходите ко мне?

— Если я вас не обеспокою, — ответил Мамонтов. Карло уже был одет для представления.

— Катя сейчас приходит.

— Волнуетесь? — спросил Николай Сергеевич, стараясь улыбаться возможно приветливей. Он никогда не знал, о чем говорить с Карло.

— Нет, — кратко ответил акробат.

— Я видел Андерсона, он мне сказал, что нынче полный сбор. Это, конечно, из за тройного сальтомортале.

— Публика любит тройного сальтомортале.

— Катя хочет от вас потребовать, чтобы вы навсегда от этой штуки отказались... Это в самом деле так опасно?

— Не так, но опасно.

— Зачем же вы делаете? Вы могли бы зарабатывать достаточно денег и без этого.

Карло презрительно усмехнулся.

— Денег? Денег не интересует меня.

— Разве нельзя без тройного сальтомортале? Ведь вы уже несколько раз показали, что можете.

— Я делаю тройного сальтомортале потому что... это мой натур.

Мамонтов засмеялся.

— Ну, значит, до свиданья в цирке. У меня еще есть маленькое дело, и на почту надо зайти... Вы при-

едете с Катей?... После представления поедем ужинать к Дельмонико.

Никакого дела у него не было, и на почту незачем было заходить, так как он решил не отсылать пока статьи. Мамонтов закусил в ресторане, погулял и отправился в цирк.

Подходя к Гипподрому, он увидел, как Карло и Катя входили в артистический подъезд с 26-ой улицы. «Этаким собственником идет!» — вдруг с бешенством подумал Николай Сергеевич.

Часть шестая

I.

13-го июня 1878-го года в берлинском дворце Радзивилов, незадолго до того купленном германским правительством для канцлера, началось одно из главных исторических представлений 19-го века.

Оно сошло хорошо и гладко. Только что закончившаяся русско-турецкая война происходила далеко, в местах с названьями, которых никто в западной Европе не мог ни произнести, ни заучить, ни запомнить. Погибло не более полумилиона людей, включая зарезанных, повешеных и посаженных на кол. В отличие от других конгрессов, на Берлинском было решительно некого ненавидеть: на Венском Конгрессе была ненависть к Наполеону, на Версальской конференции — к немцам; но нельзя было серьезно ненавидеть диких башибузуков или курдов, если они и сажали на кол людей. Это было тем более неудобно, что большинство делегатов защищало Турцию от чрезмерных требований России. Участники Конгресса, недоверчиво со вздохами порицая зверства, говорили, что в сущности балканским христианам жилось не так уж плохо.

Монархическая Европа умела ставить свои спектакли (этот был из них последний в таком роде). Все страны прислали самых блестящих своих государственных деятелей, которые вдобавок в большинстве, хоть не все, были очень умными, опытными, отлично воспитанными людьми. Тон в течение всего Конгресса, за

исключением нескольких драматических минут, был мирный, приятный и джентльменский. По принятому заранее постановлению, делегаты были в военных или придворных мундирах. Переводчики не требовались: тогда был общий французский язык, его знали все, — некоторые, как князь Горчаков, «лучше, чем французы», и даже один из англичан, лорд Рессель, говорил по французски правильно, с таким произношением, что французам было не слишком противно его слушать. Князь Бисмарк по опыту знал, что для успеха важных политических переговоров хорошие вина имеют громадное значенье; по его приказу, министерство иностранных дел отпустило на угощенье делегатов немало денег, и лучший берлинский ресторатор Борхард устроил в комнатах, соседних с залой заседаний, буфет, о котором долго вспоминали высокопоставленные берлинцы. В этом буфете обычно и разрешались споры.

Берлинский Конгресс отличался от других, конечно, не «атмосферой». Он проходил в той же насыщенной цинизмом «атмосфере», в какой проходили и другие международные конгрессы, конференции, совещания. Как всегда, его участники в большинстве этого не замечали, либо по глупости (немногие), либо по привычке, как человек, годами работающий на химическом заводе, больше почти не чувствует запаха хлора, либо по недостатку времени: у них достаточно было более важного дела. Те члены Конгресса, которые могли, умели и желали заниматься идейным анализом своих и чужих поступков, говорили себе, что грязь необходима в интересах их страны или человечества. О человечестве говорилось достаточно, как во всех подобных случаях. Но если на Венском Конгрессе кое-кто, хотя очень плохо и нелепо, еще заботился об общем благополучии, то в Берлине об этом говорили просто автоматически: чесали язык — тоже по привычке и потому, что этого требовали правила приличия и «общественное мнение». Государственные люди, одни сознательно, другие бессознательно, считали общественное мнение вежливым

синонимом массового идиотизма, — с ним, однако, надо было считаться и перед ним даже приходилось расшаркиваться. Все-же оно большого значения не имело, так как существовали отличные, испытанные способы его видоизменять или даже фабриковать. «L'opinion publique? On peut toujours s'asseoir dessus» сказал через полвека после того французский политический деятель, великий специалист по международным совещаниям.

Как всегда, ходили анекдотические, на самом деле совершенно верные, рассказы про государственных людей, не имевших никакого понятия о вопросах, которые они обсуждали. Русская делегация забыла привезти из Петербурга карты Балканского полуострова, и секретари, в поисках карт, метались по берлинским магазинам. Англичане карты привезли, но совершенно в них не разбирались и с отчаяньем расспрашивали русских; особенно всех встревожил какой-то Мустафа-паша, неожиданно, к общему огорчению, оказавшийся не человеком, а географическим пунктом. Дизраэли, Горчаков, Шувалов, Сольсбери подолгу разыскивали на одинаково незнакомой им карте те города, реки, долины, о которых ожесточенно спорили. Это тоже большого значения не имело: были эксперты, отыскалось все.

Берлинский Конгресс отличался от других и не тем, что никто ничего не предвидел: так бывает на всех международных конгрессах и совещаниях. Но, по случайности, на нем, будто по заказу, решительно все вышло как раз наперекор желаниям, ожиданьям, надеждам его участников. Успехи оказались неудачами, победы — поражениями, то, что представлялось выгодным или необходимым, оказалось бесполезным и губительным, — разумеется, не для заправил Конгресса, а для их народов. Хотя бессмыслие сделанного выяснилось в значительной части очень скоро, высокие награ-

ды, полученные большинством делегатов, за ними остались, и их историческая репутация не пострадала.

За несколько месяцев до того, Россия, после своей победы, заключила с турками предварительный Сан-Стефанский мир. Находя его слишком для себя тяжелым, турецкое правительство обратилось с тайной просьбой о защите к державам, которые были крайне недовольны русской победой, — к Англии и Австро-Венгрии. Оне потребовали и добились пересмотра условий Сан-Стефанского договора на международном конгрессе. Самый созыв его был всеми признан блестящей дипломатической победой английского, австрийского и турецкого правительств.

В результате Берлинского Конгресса Россия получила от Турции все, что должно было к ней отойти по Сан-Стефанскому миру, кроме города Баязета и Алашкертской долины; по сравнению с отошедшими к России Карсом, Ардаганом, Батумом, это была ничтожная уступка. Но зато, неожиданно, державы-заступницы, никакого участия в войне не принимавшие, получили от Турции — Англия остров Кипр, Австро-Венгрия — Боснию и Герцеговину. По значению и размерам, эти земли было неизмеримо важнее Баязета и Алашкертской долины.

Австро-Венгрия после Берлинского Конгресса заняла (а через 30 лет и формально к себе присоединила) Боснию и Герцеговину, в которых не было ни австрийцев, ни венгров. По случайности, в боснийской столице был в 1914 году убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Началась мировая война. Одной из основных причин ея, по несколько запоздавшему мнению отставных австрийских государственных людей, было присоединение Боснии и Герцеговины. Эта война положила конец существованию австро-венгерской монархии.

Главной же победительницей Конгресса общественное мнение всех стран признало Англию. Она одержала целых три блестящих побед.

Первой было бескровное приобретение Кипра,

уступленного султаном «добровольно», в обмен на обещание впредь защищать Турцию от нападений России. После этой добровольной уступки турки затаили глухую ненависть к англичанам, и по словам турецких государственных людей, выступление Турции на стороне Германии в 1914 году было помимо прочего «отплатой за Кипр». Из за «безкровной победы» Биконсфильда бесчисленные англичане впоследствии погибли на берегах Мраморного моря, в Месопотамии, в Палестине. Еслибы Биконсфильду предложили в 1878 году приобрести, разумеется, «навсегда» (на Конгрессе все было навсегда) Кипр с потерей в десять раз меньшего числа людей, он без сомненья отклонил бы это предложение или был бы свергнут парламентом: оппозиция и тогда считала сделку с Турцией совершенно ненужной и крайне опасной.

Второй, наиболее важной, победой англичан на Берлинском конгрессе был раздел Болгарии. По русскому плану, вся Болгария должна была составить единое самостоятельное государство. Лорд Биконсфильд добился того, что она была разделена и часть ея оставлена, на особых условиях, в составе турецкой империи. Настаивая на этом, грозя войной, мобилизуя вооруженные силы Англии, Биконсфильд исходил из положения, казавшегося ему совершенно бесспорным: Болгария, освобожденная Россией, станет ея верным союзником и вассалом; следовательно, ослабляя Болгарию, он ослаблял и Россию. Но по непредвиденной случайности из этого ровно ничего не вышло: через восемь лет после Конгресса, несмотря на его твердые постановления, разделенные земли Болгарии объединились, — только еще немало пролилось крови. По другой случайности, оказалось, что благодарность у государств необязательна: в обеих мировых войнах Болгария выступила на стороне Германии.

Третьей победой Биконсфильда было то, что Россия не получила долины, которая была в то время очередным пунктом умопомешательства великих государ-

ственных людей. По случайности, самое название ея было забыто через год после Конгресса (теперь его нет во многих больших энциклопедических словарях). Быть может, долина и имела огромное стратегическое значение, еще не выясненное историей, но, благодаря блестящей победе Биконсфильда, Сольсбери и британских военных экспертов, долина и речка оказались в следующую войну в руках враждебной англичанам коалиции.

За эти свои три дипломатические победы Дизраэли и Сольсбери получили от королевы Виктории высшую награду, орден Подвязки. На вокзале в день их возвращения в Лондон, толпа долго орала: «good old Dizzy!»... Но оппозиция, из зависти ли или нет, негодовала, и Гладстон, к большому удовольствию либеральной партии, публично выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Биконсфильда. В ответ на что Биконсфильд, к такому же удовольстию консервативной партии, выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Гладстона: «I do not pretend to be as competent a judge of insanity as the right honourable gentleman».

Дизраэли совершенно искренне считал Россию историческим врагом Англии. Больше всего на свете он боялся русского похода на Индию. И в том, и в другом он был, при всем своем редком уме, вполне на уровне мысли любого англичанина, читавшего консервативные газеты. К Германии Биконсфильд относился благожелательно и даже любовно. В молодости он признавал немцев мечтателями, людьми чистого созерцания, живущими мысленно в голубом небе. Так тоже думало большинство рядовых англичан. Отторжения Эльзаса и Лотарингии Дизраэли, как почти все англичане, не одобрял, но и после этого события до конца своих дней продолжал думать, что со стороны немцев миру опасность не грозит. Эти ценные мысли вполне разделял маркиз Сольсбери. Известие о союзе между

Германией и Австро-Венгрией, направленном против России, он назвал «великой радостью». Оба, Биконсфильд и Сольсбери, собирались присоединиться к австро-германскому союзу и незадолго до своего ухода в отставку вели об этом переговоры с Бисмарком.

Князь Бисмарк после своей попытки нападения на Францию в 1875 году почти убедился в том, что война с одной великой державой неизбежно повлечет за собой для Германии также войну с другой или с другими. Иногда ему казалось, что «игра не стоит свеч»; чаще — что это слишком страшная игра: на сомнительную карту пришлось бы поставить все,— его страну, его дело, его славу. Поэтому Бисмарковская политика 1878 года была противоположна той политике, которую он вел в 1875 году. Теперь канцлер называл себя добрым европейцем, говорил, что никакой новой войны больше не нужно, что он в мыслях не имел и не имеет нападать на какую-либо страну, что он даром не согласился бы присоединить к Германии хотя бы клочек чужой земли, так как убедился на примере Польши, что нельзя уничтожить культуру чужого народа и его стремление к самостоятельной жизни. Может быть, Бисмарк действительно иногда так думал: он все же был человеком девятнадцатого века, а не пятнадцатого и не двадцатого. Скорее, он допускал, что можно думать и так, не будучи совершенным идиотом. Однако ему никто не верил. Напротив, именно либеральные мысли канцлера вызывали у его собеседников особенную тревогу. Европейские дипломаты были убеждены, что ни одному его слову верить нельзя, и ломали себе голову лишь над тем, *зачем* он лжет и *кого* именно хочет теперь обмануть.

Выстрел Карла Нобилинга (последовавший вскоре за делом Геделя) тоже встревожил князя. Конечно, это был прекрасный повод для преследования левых токарей и адвокатов. Для его внутренней политики, это был чрезвычайно удобный выстрел. Зато для войн и завоеваний странное происшествие на Унтер ден

Линден было неприятным предзнаменованьем. При своем огромном опыте, Бисмарк знал, что в мире возможно решительно все: возможна даже германская революция. Война могла быть отличным средством против революции, — но только победоносная, блестящая и очень быстрая война вроде затеянных им в 1866-ом и в 1870-м году. На такую войну теперь шансов было мало.

Вдобавок, нервное расстройство у князя все росло. Мысль о том, что против Германии готовится коалиция, становилась у него почти манией. Его друг и поклонник граф Шувалов говорил ему: «Vous avez le cauchemar des coalitions!» Бисмарк это подтверждал. В 1878 году целью его очередной внешней политики был союз с какой-либо могущественной державой или, еще лучше, с двумя могущественными державами: он очевидно исходил из мысли, что, если в критическую минуту обманет один союзник, то, быть может, не обманет другой, — конечно, не по своей честности, а из вражды к первому союзнику. Союз с консервативными империями, как Россия и Австро-Венгрия, был бы канцлеру несколько приятнее, чем другие. Но он предлагал также союз Англии в противовес возможной франко-русской коалиции. Подумывал и о союзе с Францией в противовес коалиции русско-английской: одно время очень опасался, что Гладстон, на зло Биконсфильду, заключит союз с Россией. Бисмарк был убежден, что во внешней политике нет никаких принципов и нет даже прочных интересов, что каждая страна может в любую минуту завязать тесную дружбу со вчерашним лютым врагом: это было делом двух месяцев газетной болтовни. Ему не могло не быть известным, что союзные и всякие другие договоры выполняются сторонами только в том случае, если это им выгодно и пока это им выгодно. Тем не менее и он заключал союзы, отчасти подчиняясь общему психозу, отчасти надеясь, что соблюдать договор окажется выгодным обеим сторонам.

Чтобы ослабить другие державы, князь Бисмарк очень соблазнял их колониальными завоеваньями, надеясь, что оне в них надолго завязнут. Канцлер подсовывал Франции Тунис, Англии — другие африканские земли, ничего не имел против распространения русского влияния в Азии и даже на Балканах. Азиатов и африканцев он уж совершенно не считал людьми, — с него было достаточно европейцев. Колониальные завоевания Бисмарк признавал бессмысленным делом, полезным только министрам для рукоплесканий в парламентах и генералам для получения орденов. Он оставил немецким историкам и государственным деятелям трудную задачу: как согласовать преклонение перед гением Бисмарка с признанием того, что «Германия задыхается от отсутствия колоний»? Этой задачи они не разрешили по сей день. Конечно, и гений может ошибаться, но мог ли все-таки гений не понимать самых простых, элементарных вещей?

По своей убежденной беспринципности, князь Бисмарк, единственый из людей Берлинского Конгресса, ни в чем не ошибся, так как ничего не утверждал и все считал возможным. В остальном этот трагикомический конгресс точно имел целью опроверженье философско-исторических теорий, от экономического материализма до историко-религизного учения Толстого. Все было чистым торжеством случая, — косвенно же, торжеством идеи грабежа, вредного самому грабителю.

По существу философия князя Бисмарка кое-как могла обеспечить Европе систему довольно прочного, хотя и худого мира. Однако, его характер, мучительные болезни, отвращение, которое ему внушали люди, очень осложняли дело. Как почти у всех знаменитых политических деятелей, но еще сильнее, чем у большинства из них, у Бисмарка личные антипатии смешивались с политическими воззрениями и влияли на них. Он не хотел созыва Конгресса в Берлине. Канцлер чувствовал себя все хуже и просил императора уволить его в отставку, ссылаясь на то, что из за

своих многочисленных болезней больше никуда не годится, — впрочем, отлично знал, что Вильгельм его отставку отклонит; иначе, вероятно и не предлагал бы ея: чувствовал, что в отставке будет погибать от скуки, от безделья и от презрения к своим преемникам. Другие государственные люди очень завидовали его роли председателя на международном конгрессе, призванном решить судьбы мира. Князь Горчаков откровенно говорил: «Je ne puis me présenter devant Saint Pierre sans avoir présidé la moindre chose en Europe».

Но Бисмарк почти не ждал удовольствия от предстоявшего спектакля. Большинство участников Конгресс чрезвычайно его раздражали. Особенную антипатию у него вызывал именно Горчаков, упорно считавший его своим учеником и по старой привычке обращавшийся с ним свысока. «Вы обращаетесь с нами не как с дружественной державой, а как со слугой, который не достаточно быстро появляется на звонок», — в разговоре с ним огрызнулся Бисмарк. В случае разногласий Горчаков говорил: «L'Empereur est fort irrité» таким тоном, точно раздражение императора Александра должно было быть решающим доводом для Германии. Бисмарк злобно отвечал: «Et le mien donc!» Не прощал он русскому канцлеру и роли, сыгранной Россией в 1875 году.

Помимо всего прочего, князь (как еще только несколько людей на земле) знал, что на Конгрессе будет разыгрываться и чистая комедия. Разделявшие Англию и Россию главные вопросы уже были благополучно разрешены. За две недели до Конгресса Шувалов и Сольсбери подписали три конвенции, предрешавшие все важное: Англия соглашалась на отход к России Карса, Ардагана, Батума. Россия отказывалась от Баязета, от долины и давала согласие на раздел Болгарии.

Соглашение это держалось в величайшей тайне. Случился однако скандал, небывалый в истории анг-

лийской дипломатии. Один из служащих министерства иностранных дел продал текст англо-русского соглашения газете «Глоб», которая его и опубликовала перед началом Конгресса. Соглашение вызвало в Англии изумление и негодование. Рядовые англичане не верили, что правительство сделало историческому врагу столь большие уступки. О бескровном приобретениии Кипра им еще не было известно: этот сюрприз Дизраэли, отлично знавший и англичан, и свое ремесло, держал про себя, чтобы подать его «под занавес».

Позднее государственные люди весьма неудачно пытались объяснить, почему именно хранилось в тайне англо-русское соглашение, хотя оно немедленно успокоило бы волновавшийся мир. В действительности, кроме профессиональной любви к тайнам, главной, хоть, быть может, полусознательной, причиной было то, что предварительное соглашение лишало эффекта предстоявший конгресс. Английские и русские министры понимали важность драматизма в зрелищах подобного рода. Он был очень полезен и для внутренней политики, так как сильно действовал на общественное мнение. Когда-то Дизраэли в откровенном разговоре назвал лучшим удовольствием государственного человека сознание противоположности между действительным ходом событий и тем представлением, которое о них себе создают посторонние люди. Он и в 1878 году не хотел отказываться от этого удовольствия.

В палате лордов граф Грей запросил министра иностранных дел: не может ли благородный лорд разъяснить, соответствует ли истине одно сообщение, появившееся в одной газете и очень взволновавшее эту палату и эту страну? Маркиз Сольсбери, человек очень порядочный и в частной жизни чрезвычайно правдивый, невозмутимо ответил, что сообщение, появившееся в одной газете, совершенно недостоверно и не заслуживает дверия палаты («wholly unauthentic and not deserving the confidence of your Lordships' House»). После окончания Конгресса оказалось, что га-

зета сообщила чистейшую правду. К тому времени бескровное приобретение Кипра весьма укрепило положение правительства. Все-же другой член оппозиции граф Розбери задал вопрос: не обманул ли благородный лорд эту палату и эту страну, назвав совершенно недостоверным и не заслуживающим доверия палаты одно сообщение, появившееся в одной газете? Маркиз Сольсбери так же невозмутимо произнес в ответ нечто совершенно невразумительное. В печати-же кто-то добавил морально-политический комментарий: если бы маркиз Сольсбери, в ответ на вопрос графа Грея, подтвердил появившееся в газете «Глоб» сообщение об англо-русском соглашении, то его голову надо было бы сначала увенчать венком за верность правде, а затем отрубить за измену государству.

Так как маркиз Сольсбери государству не изменил, то интерес к Конгрессу и волнение в мире были чрезвычайно велики. Газеты шумели. Биржи трепетали. В действительности же шедшие на Конгрессе грозные дипломатические бои в большинстве случаев мало отличались от тех сеансов цирковой борьбы, когда борцы заранее соглашаются об исходе. Как известно посетителям цирков, таким сеансам, именно для прикрытия обмана, всегда придается особенно драматическая форма: борьба длится очень долго и изобилует волнующими происшествиями. Посетителям цирка известно и то, что на этих представлениях, несмотря на предварительный сговор, борцы часто заражаются волнением галерки, по настоящему приходят в ярость, осыпают друг друга недозволенными ударами, экспромтом придумывают непредусмотренные «мосты» и «нельсоны». Так и на Берлинском Конгрессе, несмотря на его общий джентльменский тон, граф Биконсфильд, при спорах по второстепенным вопросам, запальчиво говорил о «кэйзус беллай» и в доказательство того, что все кончено, заказывал экстренный поезд для отъезда в Англию; а князь Горчаков повышал свой стар-

ческий голос и в непритворном гневе бросал на стол разрезной нож из слоновой кости.

II.

В освещенном лампами, выстланном мягким ковром коридоре ему попалась та самая горничная. Николай Сергеевич остановился и закурил папиросу. На лестнице был дневной свет. Везде были ковры, канделябры, цветы, гоблены. Только что выстроенный «Кайзергоф» считался чуть ли не самой роскошной гостиницей в Европе, — говорили, что он лучше парижского «Гранд-Отеля»; он и выстроен был отчасти на зло Парижу. Теперь, перед началом Конгресса, гостиница была совершенно переполнена. В бельэтаже большое отделение занимал граф Биконсфильд. В «Кайзергофе» жили также корреспонденты богатых газет. Мамонтову удалось достать маленькую комнату по протекции госпожи фон-Дюммлер, которая жила здесь давно и имела в третьем этаже прекрасный номер из двух комнат.

На площадке бель-этажа, между лестницей и коридором, сидел полицейский. Едва ли кто-либо собирался произвести покушение на Дизраэли. Пришло только одно письмо с ругательствами, да и то написанное без горячности каким-то унылым антисемитом-англофобом. Биконсфильд, а заодно и министр иностранных дел маркиз Сольсбери, кратко назывались «Saujuden»; призывалось также Божье проклятие на Англию. Адресовано было письмо лорду В. Е. Cohnsfield- -у, и, видимо, остроумной шуткой автор письма отвел душу; может быть, ради этой шутки и было написано все письмо. Полиция знала, что без писем с ругательствами и угрозами никакой политический съезд не может обойтись. Но незадолго до того на Унтер-ден-Линден Карл Нобилинг выстрелом дробью ранил престарелого императора Вильгельма. Начальник полиции приставил охрану ко всем участникам

Конгресса. Перед их гостиницами и посольствами стояли часовые.

В кофейне в четыре часа дня берлинские дамы пили «Меланж» и ели пирожные с битыми сливками. Все столики были заняты. Мамонтов издали увидел Софью Яковлевну. Она сидела в углу с молодой немкой, которой Николай Сергеевич не был представлен, — знал только, что это добрая знакомая Дюммлеров и что Софья Яковлевна называет ее Эллой. Он поклонился, радостно улыбаясь. Софья Яковлевна наклонила голову без всякой улыбки. «Сердится?» — спросил себя Мамонтов. Он сделал вид, будто кого-то искал. «За что бы она могла сердиться?»

Николай Сергеевич прошел во вторую кофейню «Кайзергофа», называвшуюся «Wiener Café». Здесь теперь за большим столом собиралась международная аристократия журнализма «для обмена информацией и мыслями». На самом деле, «мыслями» они не занимались, хотя это были люди неглупые, способные, а иногда (впрочем довольно редко) и очень образованные. Их интересовала только «информация». Но каждый известный журналист имел свои связи и тщательно скрывал от других получаемые им сведения. Весь смысл работы заключался именно в том, чтобы немного раньше других узнавать новости или, вернее, слухи о предстоявших новостях. Собственно лишь газеты, издававшиеся в одной и той же столице, должны были бы между собой соперничать. Однако соперничали друг с другом все международные репортеры. В газетном мире коммерческий интерес переходил в чисто-спортивный. Кроме двух-трех д о б р я к о в, все за этим столом скрывали все и даже заметали следы (для чего отчасти и был нужен «обмен информацией»). Это не мешало добрым, иногда даже дружественным, отношениям между прославленными журналистами. Как всякие спортсмены, они имели свои законы, свои обычаи, свою этику. Как всякие спортсмены, они знали друг другу настоящую цену. Каждый из них позеленел бы от досады,

еслиб узнал, что другому удалось раздобыть что-либо ценное, но он отдал бы должное мастерству соперника.

Большинство в этой группе журналистов составляли весело-циничные люди, давно ничему не удивлявшиеся, видевшие преимущественно не-показную и непривлекательную сторону того, что волновало мир. Им было совершенно все равно, кто одержит верх на Конгрессе; они всех государственных деятелей считали обманщиками и мошенниками, отличающимися друг от друга только по ловкости, силе и значению. Эти люди были как у себя дома во всех странах Европы. У каждого из них в прошлом значился какой-либо особенный важный подвиг, вроде интервью с Османом-пашей в осажденной Плевне, полета на воздушном шаре к повстанцам, телеграфного сообщения о бегстве королевы Изабеллы во Францию за два дня до бегства. Это были их чины и ордена.

Замкнутая группа мировых репортеров почти не общалась с другими журналистами. Средний репортер мог считать для себя честью, если ему удавалось посидеть за столом аристократии. Выйти в большие люди мог любой корреспондент, но выходили только немногие: так, каждый наполеоновский солдат носил в своем ранце маршальский жезл, однако не каждый его получал. Все зависело от счастья, от способностей, от энергии, от нахальства, от физической выносливости. Международные репортеры проводили жизнь в вагонах, в гостиницах, в трактирах, в колясках, в повозках, видели чуму и холеру, страдали дизентерией на фронтах, иногда жили неделями в землянках под дождем, без горячей пищи, среди крыс и насекомых, для того, например, чтобы первым (т. е. раньше других журналистов) проникнуть за русскими войсками в Плевну. В «Кайзергофах» проходила только лучшая часть их жизни, да и там они поневоле жили скромно, так как в большинстве уже были больными людьми. Катаррами страдали почти все. В этой роскошной кофейне они, за исключением нескольких отчаянных американцев и

англичан, пили только минеральную воду. Семей своих (если у них были семьи) они, случалось, не видели месяцами.

Мамонтов уже раза два сидел за аристократическим столом кофейни: Россия была теперь всем особенно интересна; русского языка почти никто не знал, Николай Сергеевич не отказывался излагать содержание статей в петербургских и московских газетах (в телеграммы попадало не все важное). Международные репортеры были ему и очень интересны, особенно вначале, и немного противны своей уверенностью в том, что все в мире покупается и продается, — надо только назначить соответственную цену (именно с тех пор, как его самого все чаще посещали у д о б н ы е мысли, разные формы цинизма в других людях стали ему чрезвычайно неприятными). «Жаль конечно, что нельзя спросить, относится ли к ним самим этот закон природы. Противнее всего, кажется, их убеждение, что никакого другого миропонимания нет и быть не может, разве только среди глупорожденных»...

Николай Сергеевич не подошел к большому столу, хотя его едва ли встретили бы недоумевающие, презрительные взгляды. Другой стол был занят второстепенными журналистами, которые не жили в «Кайзергофе». Они нравились Мамонтову гораздо больше. В большинстве это были честные, бедные, не злые и трудолюбивые люди, всячески ругавшие свое ремесло и влюбленные в него тайной любовью: ничем иным они и не могли бы заниматься. Некоторые из них еще были молоды и имели шансы на переход в высшую группу. Другие уже состарились и карьеры не сделали, либо по невезенью, либо по недостатку необходимых свойств. Писали же они не хуже (а многие лучше) знаменитых репортеров. К Мамонтову они относились очень хорошо, ценили его любезность, ценили то, что он живет в «Кайзергофе» и не чванится. Им не приходило в голову, что он живет здесь на свои деньги. Еслиб это стало им

известно, они все же остерегались бы его как сумасшедшего.

После окончания контракта Кати и Рыжкова он вернулся с ними в Европу. Его американские корреспонденции имели некоторый успех. Редакция журнала предложила ему отправиться в Берлин на конгресс. Журнал был беден и платил только за статьи с листа. Однако Николай Сергевич принял предложение. Говорил другим, что хочет повидать знаменитых государственных людей. Говорил себе, что в Берлине на досуге обдумает свои планы. «Надо, наконец, решить, что с собой делать. Я живу все со дня на день, живу п о к а м е с т, и так долго жить нельзя».

Старый венгерский журналист, лондонский корреспондент будапештской газеты, взявший Николая Сергеевича под свое покровительство, помахал ему рукой. Это был приятный, образованный и остроумный человек, много на своем веку видевший и слышавший. Неприятно в нём было то, что он всегда острил и, как большинство говорунов, привирал, — впрочем довольно невинно, быть может даже этого не замечая. Мамонтов сел рядом с ним и спросил о новостях. «На Конгресс никто из нас допущен не будет, отказали и тем господам», — сказал венгр с некоторым злорадством и продолжал рассказ об интимной жизни Диззи. Мамонтов не сразу догадался, что Диззи это лорд Биконсфильд, а Мэри-Анна его жена.

— ...Диззи всем ей обязан. Он за ней получил четыре тысячи фунтов годового дохода. Вы знаете, что его денежные дела неважны, у него большие долги, он всю жизнь жил не по средствам. Мэри-Анна его обожала. Она мне говорила: «Диззи женился на мне из за моих денег, но во второй раз он женился бы на мне по любви». Как ни странно, он тоже ее любил, хоть она была на двенадцать лет старше его. В день ея похорон мне было страшно на него смотреть, — сказал венгр и не докончил, показав глазами на дверь. В зал вошел

маленький толстый пожилой человек с огромной лысой головой, с пышными бакенбардами, спускавшимися на воротник помятого сюртука. Это был Бловиц, новый король журналистов, венгр по рождению, французский гражданин и корреспондент лондонского «Таймс». Он снял шляпу, повесил ее на вешалку, отер лоб платком и, кивая в ответ на почтительные поклоны, пошел к маленькому столику. Если для рядового журналиста было повышением в чине сидеть за столом аристократии, то для Бловица это было бы понижением. Лакей пододвинул ему стул и побежал за бутылкой Аполлинариса. Бловиц развернул газету, не читая ея: давал понять, что просит не мешать ему. Из бокового кармана сюртука у него торчал золотой карандаш, но это был скорее символ, вроде как в аптеках стеклянный шар с покрашенной водой: Бловиц сам не писал; интервью он помнил без записей от первого слова до последнего и ошибался только тогда, когда ему было нужно ошибиться; статьи же свои диктовал секретарям. Вид у него был грустный и озабоченный. Теперь у Бловица было только одно желанье в жизни: узнать и напечатать раньше всех других текст договора, которым закончится Конгресс.

Венгерский журналист шопотом сообщил, что в свое время Бловиц и его любовница утопили в Марселе мужа любовницы. Молодой датский журналист, широко раскрыв глаза, спросил, как же он не на каторжных работах. Все засмеялись наивности молодого человека: «Бловиц — на каторжных работах!» Мамонтов, впрочем, уже знал, что в этой зале принято всех известных людей считать уголовными преступниками. За столом поспорили о том, получит ли Бловиц интервью у Бисмарка: канцлер, будто бы ненавидевший короля журналистов, заявил, что не пустит его к себе на порог. Но, как ни был Бисмарк известен своей смелостью, это заявление вызывало у опытных людей недоверие.

— ...Да, конечно, председателем будет Бисмарк,

как хозяин. И слава Богу: он изнемогает от жары и хочет возможно скорее уехать в Киссинген. Значит, дело не затянется, — говорил венский журналист.

— Дизраэли очень понравился Бисмарку. Он сказал: «Der alte Jude, das ist der Mann!»

— А вы слышали последний анекдот о князе Горчакове. Он был на каком-то оффициальном обеде в Берлине и сказал, что все было холодное кроме шампанского.

— Ах, это я давно слышал о Диззи! — перебил венгр. — Когда подали шампанское, он сказал: «Слава Богу, наконец хоть что-нибудь теплое!» Знаете ли вы, кстати, что Диззи и Горчаков были когда-то влюблены в одну и ту же даму: в маркизу Лондондерри?

— Это, вероятно, было в эпоху Тридцатилетней войны!

Разговор коснулся того, когда Дизраэли и Горчаков могли потерять способность к любви. «Почему она сердится? И не лучше ли оставить ее в покое, с ее больным стариком?» — думал Мамонтов.

— ...Простите, я не слышал вашего вопроса, — сказал он венгру. — На сеансе? На каком сеансе?

— Разве вы не знаете? Сегодня у вас в «Кайзергофе» показывается новое изобретение: телефон Белля. Входная плата...

— Ах, да, телефон. Ну, в Америке его уже показывали в разных городах. Впрочем, я там не удосужился посмотреть. Сеанс скоро? — спросил Мамонтов, вспомнив, что надо написать письмо Кате. — Через четверть часа? Тогда, пожалуй, можно пойти.

— Все равно, нам решительно нечего делать, — сказал печально датский журналист, выразив то, что молча думали другие: печати почти ничего не сообщалось, она питалась сплетнями.

Датский журналист рассказал анекдот о делегатах Турции. Николай Сергеевич, больше для практики в немецком языке, поделился ходившим по русской колонии рассказом о том, как Шувалов обедал у Бисмар-

ка. «Подали суп с какими-то пупками», — говорил Шувалов. — «Попробовал я, — гадость неимоверная, просто невозможно есть. Князь меня спрашивает: отчего же вы не едите, дорогой друг? Чудесный «Таубензуппе», неправда ли?» Я обрадовался: не знал, что это «Таубензуппе». — «Не могу, говорю, я человек православный, а мы голубей не едим». — Ах, да, я забыл», — сказал Бисмарк, — «но тогда позвольте мне взять у вас вот это». Полез вилкой в мою тарелку и вытащил один за другим все пупки»...

Все смеялись. Последовало еще несколько анекдотов, острот и шуток. Мамонтов посмотрел на часы и встал.

— Я пойду с вами, — сказал венгр. — Мориц, заплати за меня, завтра буду платить я. Надеюсь, я и Блейхредер имеем у тебя неограниченный кредит.

Николай Сергеевич вышел в читальный зал, сел за письменный стол и написал следующее письмо:

«Милая Катя, как Ты? Я очень по Тебе соскучился. Неужто ты продолжаешь голодать, глупенькая? Право, брось. Я вообще против всего этого и жалею, что Ты послушалась Алексея Ивановича. Очень может быть, что акробатам нельзя полнеть, но, повторяю в сотый раз, совсем и не нужно, чтобы Ты оставалась акробаткой. Все это вздор. Вздор и то, будто Ты «без цирка не можешь». А вот что Ты купаешься в море, это отлично. Очень Вам обоим завидую, так хотел бы приехать к Тебе, но что поделаешь! Нет буквально ни одной свободной минуты. Я надеюсь, что проклятый Конгресс все же не очень затянется, и надо ли Тебе говорить, что вечером того дня, когда он кончится, я выеду к Вам в Герингсдорф. Целую Тебя крепко, мое сокровище, извини, что пишу меньше, чем хотелось бы, но, повторяю, занят целый день. Мой самый сердечный привет Алексею Ивановичу и скажи ему, чтобы он не смел морить Тебя голодом. Надеюсь, деньги уже пришли: я послал позавчера не триста марок, как Ты хотела, а

пятьсот. Умоляю Тебя не скупиться и ни в чем себе не отказывать»...

Он прочел письмо и задумался. «Как условны и малозаметны границы между правдой, полуправдой и ложью! Почти все что я написал — правда, но она переходит в полуправду. Прямой лжи впрочем нет. Разве «проклятый конгресс» и «надо ли тебе говорить?» Главное, во всяком случае, чистейшая правда... Да, конечно, я люблю Катю и даже мало сказать «люблю», и нельзя не любить ее, она прелестна... С Дюммлершей все вздор», — опять подумал он, тревожно чувствуя, что подозрительны эти его рассуждения о любви к Кате (прежде он не рассуждал), что подозрительно даже слово «Дюммлерша», точно он хотел сделать серьезное несерьезным. «Разумеется, я никогда не брошу Катю, это было бы подлостью. Катя — существующий факт. Но эта?» Он опять попробовал то, что называл «ключом цинизма»: «У Дюммлерши ко мне повышенный интерес. Это связано с ея бальзаковским возрастом, с ее одиночеством, с болезнью ее мужа, с сознанием, что ее «жизнь кончается», как она сама же мне сказала — и тотчас пожалела, что сказала... Но еслиб у меня была голова на плечах, то я держался бы от нея подальше: так все это может оказаться тяжело, сложно и даже гадко... Как жаль, что у меня нет головы на плечах!»

Телефонный сеанс происходил в двух комнатах, из которых одна выходила на Вильгельмштрассе а другая на Цитенплатц. В переполненной людьми гостиной, на высоком табурете стояло сложное, напоминавшее пресс, сооружение, с катушками, винтами, проволокой. Молодой доцент, руководивший сеансом, подливал из бутылочки жидкость в какую-то чашку. В гостиной были рядами расставлены стулья. Во втором ряду Мамонтов увидел Софью Яковлевну все с той же немецкой дамой. Николай Сергеевич сел в другом конце комнаты:

венгерский журналист издали показывал на свободный стул рядом с ним. Доцент попросил всех занять места.

В гостиную поспешно вошел управляющий «Кайзерофа» и что-то сказал вполголоса доценту. По комнате пробежал взволнованный гул: «Английская делегация! Лорд Биконсфильд!» В дверях показались люди в мундирах. Первый из них был Дизраэли, которого Николай Сергеевич уже видел утром в холле гостиницы. Лорд Биконсфильд с порога быстро взглянул на зал и с ласковой улыбкой подошел к эстраде. За ним, переваливаясь, вошел грузный человек с большой бородой, похожий наружностью на русского профессора или земского деятеля. Лицо его решительно ничего не выражало. Венгерский журналист прошептал, что это Боб: министр иностранных дел, маркиз Сольсбери.

— Почему они оба так нарядились?

— Кажется, они были у кронпринца. Нравится вам Диззи?

Николай Сергеевич всматривался в лицо Биконсфильда, который интересовал его еще больше, чем Бисмарк. «Премьер и романист, какое необыкновенное сочетание! Он не похож ни на премьера, ни на романиста». В наружности Дизраэли не было почти ничего семитического, но на англичанина он тоже не походил. «Пока Сольсбери сделает одно движение, он сделает пять, в этом, должно быть, его сила в их медленно думающей стране. Что-то в нем есть актерское»... Лицо у Биконсфильда было очень умное, чуть насмешливое и скорее привлекательное. Управляющий представил ему доцента. Первый министр и в него стрельнул взглядом, крепко пожимая ему руку. «Романы его плохие, но человек он, разумеется ,необыкновенный»...

— Он всегда весело улыбается, — говорил венгр. — Между тем, поверьте, ему совсем не весело. Еслиб вы знали, сколько у него врагов! Он говорит, что любит бывать на похоронах: «всегда приятно, — по крайней мере от одного освободился навсегда»... Я убежден, что Диззи в мыслях не имеет воевать с Россией. Он

отлично знает, что Англия совершенно не готова к войне. Когда Англия бывает готова к войне? И в случае неудачной войны Гладстон немедленно свернет ему шею. Между тем Виктория истерически требует победы, а он сам же ее приучил вмешиваться в государственные дела. Ему надо, не доводя до войны, запугать Горчакова, угодить Виктории, удовлетворить партию, которая все-таки на него смотрит как на странное экзотическое явление, хотя и очень полезное. Я уверен, он не спит ночами, думая обо всем этом. А посмотрите на его улыбку! — Дизраэли сел слева от эстрады в принесенное ему кресло, вставил в левый глаз монокль и осматривал зал. Мамонтову показалось, что взгляд первого министра остановился на Сефье Яковлевне. «Конечно, она здесь лучше всех!» — с гордостью подумал Николай Сергеевич. — Я его знал еще в ту пору, когда он приводил в бешенство англичан своими зелеными брюками и бархатными жилетами в цветочках. Но это давно кончено, он больше не изображает ни Байрона, ни Бруммеля.

— Да, глаза у него совсем не веселые, — сказал Николай Сергеевич. «На том маскараде, если я пойду, тоже буду так сидеть в кресле, опираясь на шпагу, улыбаясь снисходительной, насмешливой и грустной улыбкой». — На вид он старый, талантливый и знаменитый актер.

— Смотрите, Боб нюхает жидкость в бутылочке. Он говорит, что настоящее его ремесло химия и что министр иностранных дел он по ошибке. А этого вы знаете? — спросил венгр, показывая глазами на молодого, красивого человека, севшего рядом с Сольсбери. Он не носил мундира и был одет очень хорошо и своеобразно. «Я не знал, что в Англии концы галстуха засовывают под двойной воротник. Надо запомнить», — подумал Мамонтов. — Это Артур Бальфур, секретарь и племянник Боба. Диззи его очень высоко ставит. Мне в Лондоне говорили, что после Диззи будет Боб, а

после Боба его племянник. Так что вы видите сразу трех премьеров. Вот, кажется, начинают...

Доцент сказал вступительное слово об изобретении Белля. Николай Сергеевич плохо слушал, занятый наблюдениями. «В профиль она гораздо лучше, чем en face», — подумал он и поспешно отвел глаза: Софья Яковлевна быстро, точно украдкой, на него взглянула и тоже тотчас отвернулась, улыбаясь своей соседке еще веселее, чем раньше. Мамонтов с восторгом заметил, что румянец на ея лице проступил сильнее. «...И тому, что, быть может, вам представляется забавной игрушкой для развлеченья, предстоит немалое будущее. В этом нет ничего невозможного!» — сказал доцент. «Да, да, предстоит немалое будущее... Ничего, ничего нет невозможного!» — почти бесознательно, восторженно повторил Николай Сергеевич.

В комнате раздались апплодисменты. Доцент попросил добровольцев из публики выйти во вторую снятую для сеанса гостиную и там произнести несколько слов перед публикой, как укажет его товарищ. «Слова будут слышны здесь, несмотря на большое растояние». Он говорил как фокусник на ярмарке, заверяющий зрителей в том, что никакого обмана не будет.

— Можно говорить все что угодно? Обыкновенным голосом? — недоверчиво спросил кто-то.

— Все что вам угодно. Прошу только говорить громко и отчетливо. Кто еще желает? Разумеется, выходящие потом вернутся сюда. Мы будем говорить из обеих зал, — добавил доцент, понимавший, что каждый предпочтет остаться в этой комнате. Несколько человек все же вышло. Доцент наклонив сначала спину, затем голову, спросил по английски Дизраэли:

— Не угодно ли будет вашему превосходительству послушать?

Биконсфильд, улыбаясь, взял трубку. Он не был на недавнем сеансе у королевы Виктории, на котором сам Белль показывал свое изобретение. «Да, замечательный актер!» — думал Мамонтов, с сочувственным

любопытством взглядывая в его лицо. «И улыбка актерская, и трубку взял по актерски, и в каждом движении сказывается артист».

— Marvellous! Simply marvellous! — сказал первый министр и передал трубку соседу. Маркиз Сольсбери, все время сидевший неподвижно с хмурым видом, послушал и ничего не сказал.

— Я думаю, этому архиконсерватору неприятно все новое, — сказал венгр. — Вдруг из за этого телефона Англия как-нибудь непредвиденным образом пойдет к собакам? Он вроде того французского канцлера, который при старом строе, как живое воплощенье традиций, один имел право не носить траура после кончины короля, чтобы было живое доказательство: в мире ничего не меняется, уже есть, слава Богу, другой король.. А его племянник имеет такой вид, точно ему все безумно надоело: и Боб, и Диззи, и Конгресс, и телефон, и он ни во что это не верит: может быть, телефон, а может быть чревовещатель, и не все ли равно?

Доцент попросил лорда Биконсфильда сказать по телефону несколько слов. По комнате пробежал радостный гул. Дизраэли слегка развел руками, не без труда поднялся и подошел к рупору.

— Надо придумать что-нибудь очень глубокое, — весело сказал он, оглянувшись на лорда Сольсбери, который ничего не ответил: все так же грузно сидел в кресле без улыбки. Доцент, наклонившись над рупором, радостно прокричал, что сейчас скажет несколько слов его превосходительство, первый министр Англии, граф Биконсфильд. Дизраэли придвинулся к трубке, на мгновение закрыл глаза, точно обдумывая свое слово, и сказал нараспев:

Can you tell me what I think?
Yes, I know your thought't is drink.

Смех послышался не сразу. Сначала надо было понять, что это шутка, потом оценить ее. Некоторые слушатели поняли очень скоро, другие после первого объяснения, третьи — после повторного. Бурный хохот

перенесся в запруженный теперь людьми коридор. Там хохотали на веру.

III.

Журналисты молчаливо признавались на Конгрессе общими врагами, которых однако надо было щадить. Допускали их только в вестибюль канцлерского дворца. Поэтому наиболее известные и наиболее гордые из репортеров во дворец не явились. Николай Сергеевич пришел в двенадцать часов, после раннего завтрака. Ждать в вестибюле было очень скучно. Он вышел на Вильгельмштрассе, выпил, зевая, за углом стакан пива, погулял на Унтер-ден-Линден, посмотрел на дом, откуда Карл Нобилинг выстрелил в престарелого императора — дом был как дом, — и вернулся, раздражив проверявшего билеты чиновника: журналисты должны были сидеть в вестибюле, а не выходить на прогулку. Венгерский корреспондент, оторвавшись от блокнота, сообщил Мамонтову последние новости: «Князь с утра свиреп как зверь. Только что выпил залпом бутылку портвейна!» — Для Бисмарка у него не было уменьшительного имени.

В час дня в вестибюль спустился В е с ь м а о с в е д о м л е н н ы й и с т о ч н и к. Так назывался у журналистов старый чиновник, который давал им неофициальные сообщения о важных событиях, почему-либо казавшиеся Бисмарку желательными. Эти сообщения помещались в газетах без ссылки на правительство. Было еще другое, несколько менее важное лицо: и с т о ч н и к з а с л у ж и в а ю щ и й д о в е р и я. Оно отличалось от предыдущего тем, что доля правды в его сообщениях была меньше. По мнению опытных журналистов, в сообщениях «Весьма осведомленного источника» бывало не более двадцати пяти процентов вранья, тогда как «Источник заслуживающий доверия» мог себе позволить и пятьдесят. Старый чиновник любезно пригласил репортеров осмотреть зал

заседаний. Все, переговариваясь вполголоса, пошли за ним вверх по лестнице.

Посредине огромной комнаты на ковре стоял покрытый коричневым сукном стол покоем, с круглыми чернильницами, перьями, карандашами, бумагой, ножиками у каждого кресла. Был еще другой, прямой стол поменьше, с картами, папками и брошюрами. Весьма осведомленный источник остановился у основания покоя, спиной к завешенным портьерами окнам, и показал на третье кресло справа.

— Вышла маленькая неприятность... Маленькое неудобство, — поправился он: неприятностей здесь не бывало. — Тут можно поставить только шесть кресел, четное число. Поэтому кресло председателя стоит не по середине... Князь велел поставить его третьим справа, потому что у него душа лежит ближе к правой стороне, — смеясь, сказал Весьма осведомленный источник, решивший, что можно поделиться с журналистами столь невинной шуткой. Она была встречена почтительным смехом и почти всеми занесена в записные книжки. Венгерский корреспондент набросал на блокноте план залы заседаний. Старый чиновник поглядывал на него с неудовольствием, точно это была военная тайна.

Затем журналистам было показан буфет. Там распоряжался секретарь Конгресса фон Радовиц. Вид у него был озабоченный: как и Бисмарк, он понимал значение буфета для успеха международных совещаний. Радовиц улыбнулся журналистам приветливо, хотя тоже несколько беспокойно, как будто они могли что-то испортить или испачкать в Радзивилловских гостиных. Хорошее настроение печати имело некоторое значение для успеха, но на это было жалко тратить шампанское. Репортеры спустились по лестнице, обмениваясь кислыми шутками относительно буфета.

К двум часам лакеи, презрительно поглядывавшие на журналистов, выстроились. В вестибюль торопливо вошел Радовиц. Делегаты стали появляться почти одновременно, как «воины» или «поселяне» перед танцами

в большой оперной сцене. К парадным дверям одна за другой подъезжали коляски. Во дворец входили люди в раззолоченных мундирах. Венгр называл Мамонтову членов Конгресса, отмечая в блокноте порядок их появления.

— Граф Корти, представитель Италии... Два часа одна минута, — вполголоса говорил он Николаю Сергеевичу. Он похож на японца, правда?... Русские, конечно, опоздают: это ваша национальная черта... Кроме того, Горчаков лучше умрет, чем приедет раньше Диззи... Вот и несчастные турки. Заметьте, оба — инородцы. Этот — Каратеодори, грек турецкой службы. Абдул-Гамид понимает, что условия Конгресса будут для Турции невеселые, и потому нарочно прислал христианина, чтобы ему можно было потом отрубить голову. Отрубить голову мусульманину все-таки грех. А это Мохаммед-Али. Слышали? Он немецкий дезертир, бежавший из Германии в Турцию из за каких-то темных дел, принявший там Ислам и выслужившийся лучше не спрашивать как. Константинопольские вельможи серьезно думали, что угодят Бисмарку, прислав делегатом немца! Между тем князю противно на него смотреть... Вот и мои! — радостно прошептал венгр, почтительно кланяясь входившему офицеру в белом с красным мундире, похожем на русский лейб-гусарский. Этот офицер, граф Андраши, с помятым, надменным, как будто подкрашенным лицом и с вьющимися кудрями, еле ответил на поклон, пожал руку приятно улыбавшемуся Радовицу и направился к лестнице. За ним шли другие венгры, в бархатных доломанах, в ментиках, с цепями, в шляпах с орлиными перьями. Австро-венгерская делегация была самой картинной из всех. — Тридцать лет тому назад Франц-Иосиф собирался повесить этого самого Андраши, как опасного революционера, — сказал венгр. Удивительно, что он говорит «Франц-Иосиф», а не «Францль»», например, и не «Иоська», — подумал Мамонтов. В вестибюле появился Дизраэли. «Вошел превосходно. Верно, так Каратыгин появлялся

на сцене в роли Велизария!.. Собственно, теперь можно идти домой, что-ж так стоять без конца. Выпью холодного лимонада и лягу спать, устал. Дома и читать нечего. Можно было бы поработать? Нет, лягу спать. Катя верно тоже спит... Или болтает с Алексеем Ивановичем? Должно быть, очень уютно они живут»... Он в первый раз пожалел, что не поехал с Катей на море.

— Это ваш: граф Шувалов... Семь минут третьего... Он один из самых красивых бояр, каких я когда-либо встречал, — сказал венгр, щеголяя своим знанием России. — Вы бы мне потом рассказали о нем что-нибудь пикантное. Из его интимной жизни, но такое, чтобы можно было напечатать. У нас это очень любят. Я мало его знаю, даже почти незнаком.., Ах, какая колясочка! Я купил бы этих лошадок, еслиб были деньги... Ну да, это Горчаков. Я говорил вам, что он приедет позже всех... Это еще что такое? Я забыл: ведь он не может подняться.

Лакеи помогли восьмидесятилетнему князю сесть в кресло и понесли его вверх по лестнице. Горчаков с опущенной трясущейся головой, проплывая перед зеркалом, поправил прядь желто-седых волос и что-то сердито пробормотал по французски. «Может быть, вспоминает царскосельское время, как он бегал взапуски с Пушкиным... Нет, нехорошо жить так долго!» — подумал Мамонтов.

— Я думаю, мы можем теперь идти домой, — сказал он.

— Да, нам сюда шампанского не пришлют, — ответил венгерский журналист и положил блокнот в карман. — Я угощу вас не шампанским, но холодным пивом. Вы столько раз за меня платили, сегодня моя очередь.

В два часа Бисмарк в черном генеральском мундире, головой возвышаясь над сопровождавшими его людьми, вышел из своих комнат. Он молча осмотрел зал заседаний и буфет. Радовиц робко о чем-то докла-

дывал, опасаясь вспышки гнева: он тоже слышал, что князь много выпил с утра и очень дурно настроен. Бисмарк заезжал с визитом ко всем делегатам, и все оказались дома. Это его разозлило: у людей могло-бы хватить ума, — не отнимать у него времени. Ему были противны почти все члены Конгресса, кроме Шувалова, Дизраэли и Корти. Но в самом деле князю особенно было гадко здороваться с Мохаммедом-Али. Другие делегаты этого чувства не поняли бы. У Биконсфильда, как у романиста, над всем преобладало любопытство; он с большим интересом познакомился бы с самим Калигулой. Маркиз Сольсбери был забронирован британскими дипломатическими традициями, сознанием, что он маркиз Сольсбери, и глубоким убеждением в том, что все его поступки определяются интересами Англии: да он и вообще о подобных вещах не думал, — мало ли кому надо пожимать руку?

— Шампанское французское? — сердито спросил Бисмарк, прерывая соображения Радовица о вероятном ходе первого заседания.

— Клико, как ваше сиятельство изволили приказать, — ответил Радовиц. Он взглянул на часы: надо было идти вниз. Канцлер направился в зал заседаний. Источник заслуживающий доверия выплыл иноходью из боковой двери и вполголоса доложил князю что-то по делу, касавшемуся фарфорового завода. Дело было очень спешное, канцлер велел о нем напомнить до начала заседания. Испуганно снизу вверх на него глядя, Источник заслуживающий доверия вдруг запнулся и обомлел.

— Что? Скажите ему, что я их оттуда вышвырну к чорту со всем их фарфоровым...! — закричал на весь зал Бисмарк. В ту же секунду на его лице появилась любезная приветливая улыбка. Протянув вперед обе руки, он пошел навстречу графу Корти.

Часть седьмая

I.

Рассыльный принес коробку от костюмера. Николай Сергеевич не нашел у себя в кармане мелочи и дал на чай полталера. Изумленный рассыльный поблагодарил и торопливо ушел, опасаясь, что сумасшедший иностранец спохватится и потребует сдачи. «Глупо... Глупо все, что я в последнее время делаю! А потом удивляюсь, что так много уходит денег», — сердито подумал Мамонтов. Мысли о том, что его состояние тает с небыкновенной быстротой, были еще не самые неприятные из его мыслей, но оне отнимали много времени. Он находил, что думает о деньгах и производит подсчеты слишком часто. «Это портит характер, если есть еще чему портиться. Вдобавок, от подсчетов денежные дела не поправляются».

Николай Сергеевич перенес коробку на свой маленький стол, принялся развязывать шнурки и потянул не за тот конец. Образовался узел. Где-то были ножницы. Он стал разыскивать под бумагами, папками, книгами. Попадались перья, карандаши, пепельница, песочница, — ножниц не было. Книги с грохотом повалились на пол, листы статьи разлетелись. У него от раздраженья затряслись руки. Он разорвал шнурок, на пальцах остался след, стенки коробки вдавились. Ножницы тотчас нашлись: оне были за лампой, на видном месте.

В коробке лежали шпаги, длинные красные чулки,

красная шляпа, под ними красный кафтан. «Некрасивое слово «кафтан», что-то с ним связывается широкое, приземистое. И еще что-то касающееся табака, что бы такое?... «При шпаге я и шляпа с пером»... Мефистофельские штаны непременно на мне лопнут, что тогда?» Он надел шляпу и подошел к зеркалу в золоченой раме, новенькому как все в этой гостинице. Николаю Сергеевичу стало и смешно, и совестно. «Пошел четвертый десяток, мысли одна хуже и мрачнее другой, но сколько еще осталось глупой, чисто-телячьей жизнерадостности! Правда, гораздо меньше, чем было прежде... Как же пройти по вестибюлю гостиницы, если из под пальто будут торчать красные чулки? Меня примут за сумасшедшего и будут совершенно правы. Уж лучше было выбрать костюм Валленштейна или маркиза Позы. У этого «гофлиферанта» был весь Шиллеровский гардероб... Да, Герцен так восхищается Шиллером и уж ему-то это никак не идет: в Герценовский «идеализм» я поверю только тогда, когда поверю в свой собственный. Его «идеалистические» страницы производят такое впечатление, будто тут по ошибке пропущены кавычки или будто ему под идеалистическим соусом почему-то удобнее высмеять еще кого-либо из добрых знакомых, особенно из бедных эмигрантов. Так он и «благословлял» Шиллера... Где это я читал, что Шиллер был лицом и фигурой необыкновенно похож на верблюда?»

У Мамонтова был тяжелый день, — день тех мыслей, которые он называл удобными. Обычно это бывало при неудачах. Жизнь его не налаживалась, работа шла нехорошо, д е л о с Софьей Яковлевной не подвигалось. «Собственно и д е л а никакого нет... Да, объясняй жизнь и действия людей в худшую сторону, — объясняется, если не все, то по крайней мере девяносто процентов. А будешь объяснять иначе, не объяснишь почти ничего»... Он приписывал свои новые настроения зрелищу Берлинского Конгресса, постоянному общению с журналистами и особенно «атмосфере Кайзергофа». Николай Сергеевич на каждом новом месте

пытался уловить то, что называл атмосферой. В этой огромной роскошной гостинице никто никого не знал и никто никем не интересовался, незнакомые люди, садясь рядом в кофейне или в салоне, вежливо говорили «Mahlzeit» или «Tn' Abend», охотно помогали друг другу зажечь сигару, пили хорошіе ликеры, слушали прекрасную музыку, иногда обменивались соображениями о погоде, о наружности проходивших дам, о «Тристане» или о князе Бисмарке. Что-то еще добавляло обилие иностранцев, слышавшаяся везде французская и английская речь, даже уходившая медленно вверх подъемная машина, в которую еще не без опаски входили иные из вновь прибывших гостей. Здесь стыдно было только одно: не иметь денег. Николаю Сергеевичу казалось, что каждому из живущих в «Кайзергофе» людей было бы неприятно оказаться в обществе нуждающегося человека, — никак не потому, что перед ним было бы совестно (такое чувство он иногда замечал у богатых русских), а именно неприятно, как человеку высокой касты в Индии мучительно находиться по близости от парией. Атмосфера «Кайзергофа» говорила, что жизнь во всех отношениях прекрасна, что здесь для каждого будет сделано решительно все, что нужно только каждую неделю, или за полчаса до отъезда, платить по счету, который подавался на тарелочке почтительным человеком в новеньком мундире с натертыми до блеска пуговицами, — «столько приятного за одну неприятную минуту». Порою Николай Сергеевич, преодолевая смущенье, отвечал атмосфере «Кайзергофа», что через год-другой ему, вероятно, будет нечем платить по этим беленьким бумажкам с красивой печатью и с росчерком. Но это было возражение изнутри. — «Разумеется, это ваше дело, сударь», — учтиво говорила атмосфера, — «но вы как-нибудь устройтесь, достаньте, а мы всегда будем вам чрезвычайно рады». Иногда же Николай Сергеевич возражал атмосфере извне: — «Все это, конечно, так, но вот в Париже, лет семь тому назад, в пору Коммуны люди ели крыс, даже в «Гранд-Отеле».

— «Ах, в «Гранд-Отеле» едва ли ели крыс, едва ли», — недоверчиво вставляла атмосфера «Кайзергофа». — Теперь только что кончилась другая кровавая война»... — «Да ведь Бог знает где, на каких-то Балканах!» — «В России начинается кровавая революция». — «Неужели? Как это неприятно! Но не у нас... Да что же хваленая русская полиция унд ди Козакен? Мы очень, очень надеемся, что и в России ничего такого не будет»...

«Будет, ох, будет», — и теперь подумал Николай Сергеевич. — «Не может быть, чтобы т е еще долго все это терпели, когда их в тысячу раз больше, чем этих Кайзергофских»... И сразу он почувствовал, что именно з д е с ь, а не в мыслях о Кате, о Софье Яковлевне, о предстоящем разорении, было самое важное, даже самое тревожное. «В России начинается кровавая революция, которая, быть может, распространится на весь мир. И не может быть ничего глупее и постыднее, чем заниматься вздором, писать картинки, ездить по балам в такое страшное и ответственное время... Но опять-таки что здесь «объективная правда», и что субъективное вранье любующегося собой — без всякого основания — человека? Собственно... Меня губит слово «собственно»... Собственно, всякое время в истории было страшное и ответственное, и верно ни в какое время никакие ужасы, происходившие на растоянии пятисот верст, никому не мешали веселиться, дурачиться, жить так, точно нигде ничего не происходит»...

Где-то часы пробили пять. Николай Сергеевич никак не мог выяснить, где именно находятся эти часы, в бессонные ночи нагонявшие на него тоску. Он жил в Берлине уже несколько недель, из них почти месяц жил один: Катя была на море. Она поставила себе целью потерять десять фунтов в весе. Алексей Иванович прямо ей заявил: либо похудеть, либо бросить цирк. Об измене цирку Катя не хотела слышать. По ея требованию, Николай Сергеевич вел переговоры с труппами Ренца и Саломонского. Впрочем, он надеялся, что из дела ничего не выйдет. Кроме выстрела Катя ничего не

знала. После первой недели в Герингсдорфе от нее пришло восторженное письмо: потеряла три фунта. Затем восторг у нея ослабел. Вторая неделя дала фунт, — Катя объясняла это происками рыжей ведьмы, хозяйки пансиона, которая кормила их не тем, чем следует (на полях была приписка Рыжкова: «все неправда, она жрет пирожные, хоть бы вы повлияли, Николай Сергеевич!»).

В конце июня Николай Сергеевич навестил их в Герингсдорфе, не предупредив о своем приезде. С вокзала он отправился в пансион, оставил там, к неудовольствию хозяйки, свой чемодан и пошел на берег их разыскивать. Еще издали он услышал восторженный звонкий смех Кати. «Прежде этот смех, как говорится, сводил меня с ума... Нет, я и теперь люблю его, он меня раздражает только, когда я и без того раздражен», — подумал Николай Сергеевич, тут же себя выругавший: место и время были неподходящие для самоанализа. Катя издали его увидела. В первую секунду она остолбенела. Потом начались восторженный визг, хохот, вопросы, заботы, негодованье, — он вечером хотел уехать. Катя потребовала, чтобы он тут же раздобыл костюм и пошел с ней купаться. «Да я сам об этом мечтал всю дорогу!» — сказал весело Мамонтов, глядя на нее и держа ее обеими руками за руки. Он не видал ее в купальном костюме.

— ...Они дают напрокат, и всего за ихний четвертак... И чистый костюм, совсем не противно. Я тоже в первый день взяла напрокат, мы тут встретили одного русского, старичка, и он для меня купил этот. Правда, очень красивый? Ах, как жаль, что здесь нельзя целоваться!.. Мы прямо отсюда пойдем домой... Ты знаешь, мы теперь не завтракаем, а рано пьем чай! Я чтоб похудеть, а Алешенька за компанию. Сами чай варим, покупаем ветчину, колбасу, яйца. Ветчина здесь чудная! Хотя у нас лучше, если от Елисеева... Иногда я и варенье ем, но редко и немного, боюсь Алешеньки. Нет, ты не смеешь сегодня уезжать, это просто безобразие,

я тебя не отпущу! — говорила она после купанья. — Просто возьму и не отпущу!

— Катенька, что делать, этот конгресс. Завтра очень важное заседание, я и то едва мог уехать.

— Проклятый конгресс! Но как же было с рыжей ведьмой? Ты ей всё сказал?

— То есть, что же я должен был сказать? Какое «все»?.. Догадалась ли? Может быть, и догадалась, не знаю. Я просил поставить мой чемодан у Алексея Ивановича. Его комната далеко от твоей?

— На другом конце коридора! — радостным шопотом сообщила Катя. — Ты знаешь, у него позавчера опять был припадок сумасшествия!

— Что?.. Ах, да, — вспомнил Николай Сергеевич. Ему было известно, что раза два в год солидный, рассудительный, ласковый Алексей Иванович жестоко обижался, без понятной причины, из-за какого-либо пустяка, на самых близких ему людей, — при жизни Карло обычно на него. В этих случаях Рыжков дрожащим голосом, но стараясь быть совершенно спокойным, объявлял, что навсегда покидает их семью, и начинал чрезвычайно деловито обсуждать денежную сторону разрыва. Никаких договоров у них никогда не было. Алексей Иванович «принимал на себя всю вину», требовал, чтобы весь материальный ущерб был отнесен на его долю, и даже предлагал «заплатить неустойку». Карло слушал его хладнокровно, не спорил, не возражал, соглашался и на возмещение ущерба, и на неустойку, и на все, что угодно, зная, что к вечеру сумасшедший русский успокоится. Договорившись обо всем, Алексей Иванович уходил к себе, начинал укладывать вещи и плакал от горя и обиды. Затем к нему приходила Катя и шопотом сообщала, что Карло «вне себя», что она за него очень боится: — «Еще может покончить самоубийством!» — говорила Катя, широко раскрыв глаза. Касалась она происшествия и по существу и доказывала Рыжкову, что никто его не обижал, а, напротив, он сам жестоко обидел их обоих. Еще немного позднее появлялся Карло

и происходило взаимное объяснение в любви. Эти периодические происшествия Катя и называла припадками сумасшествия Алексея Ивановича. Николай Сергеевич, сам их несколько раз наблюдавший, говорил, что тут «общечеловеческая физиологическая потребность обижаться». На Катю Алексей Иванович обижался реже. В таких случаях примирителем бывал Мамонтов. Теперь они, очевидно, помирились и без него.

— Да, да, был припадок и очень долгий! Можешь себе представить, он к рыжей ведьме пошел и начал ей знаками объяснять, что уезжает! Хорошо, что она не понимает ни одного слова. Что-ж ты думаешь, он позвал старичка для перевода! Но тот до вечера не мог прийти, а мы до того помирились. Такого припадка у Алешеньки не было с Нью-Иорка! — испуганно говорила Катя, совершенно как о падучей болезни.

— Из-за чего же это вышло?

— Из-за того, что я его не послушалась и купила себе сладкий пирог... Один раз и совсем маленький! А кроме того, из за тебя! — сказала она и опять залилась смехом. — Он требует, чтобы я уговорила тебя жениться на мне! Такой глупый!.. Ты не озяб? Сегодня вода холодная, вчера был первый холодный день, а то просто рай земной. Просто возвращаться жаль!

— Катенька, да сиди здесь сколько захочешь! Ведь ты говоришь, что тебе надо похудеть.

— А разве я не похудела? — возмущенно спросила она. — Вот ты увидишь!

К чаю они вышли в четвертом часу. Алексей Иванович, раскладывавший пасьянс, как будто и не заметил их отсутствия. «Кажется, к вечеру будет дождь», — сказал он (всегда верно угадывал, какая будет погода), «садитесь, Николай Сергеевич, гостем будете». В последнее время Мамонтову бывало с ним неловко, хотя он был так же благодушен, как прежде. Алексей Иванович несколько сдал после несчастья с Карло. У него появились морщины. Он усиленно тренировался в своем деле. — «Надо, надо работать, Катенька!» — бодро

говорил он, — «чтобы нам с тобой не остаться без куска хлеба».— «Что вы, что вы, Алешенька, я вас всю жизнь буду кормить, а вы только живите до ста лет», — отвечала Катя взволнованно. — «Ты прокормишь!» — говорил он, смеясь уже почти по-стариковски, — «за тобой не пропадешь». Речь и манеры у Алексея Ивановича становились все более степенными. Ничего умного или интересного он не говорил, но Мамонтову иногда бывало приятно его слушать. Что-то необыкновенно успокоительное всегда было в его рассудительных словах. Николай Сергеевич не знал (все забывал спросить), откуда родом Рыжков; ему почему-то казалось, что верно Алексей Иванович родился где-нибудь в Костромской Ипатьевской слободе или в какой-либо избе рыбака на берегу Камы.

Через полчаса все было сказано о цирке, о погоде, о море, о Герингсдорфских ресторанах и о худении Кати. Николай Сергеевич даже заговорил о политических событиях. Больше от скуки он стал развивать свои республиканские взгляды. Катя его не слушала. Алексей Иванович слушал, разинув рот, и смотрел на Мамонтова так, как, вероятно, Инка Орехон смотрел на Пизарро, когда тот ему объявил, что приехал из неведомой страны и намерен обратить их в свою веру.

— Да как же можно без царя, Николай Сергеевич?

— Вы видели, как. Живут же в Америке люди без царя и лучше живут, чем мы.

— Так то в Америке!

— У нас еда гораздо лучше, чем в Америке, — сказала Катя, украдкой добавляя себе варенья (Алексей Иванович смотрел на Мамонтова). Из-за худения у нее мысли были особенно заняты едой. — У них даже нет селянки на сковороде! Я больше всего люблю селянку на сковороде... Нет, поросенка с хреном и со сметаной, пожалуй, не меньше люблю. А больше всего на свете Гурьевскую кашу... Да, больше всего на свете! — подтвердила она, немного подумав, — И ничего этого у них нет, а еще говорят, будто они все выдумали! И

никакой обезьяны немец тоже не выдумал. У них только колбаса хорошая, это правда. Да еще мне нравится, что они к мясу подают компот, а больше, ей Богу, ничего здесь нет.

— Да чего же и требовать от Селедочной Деревни? — сказал Алексей Иванович, которому русский знакомый перевел слово «Герингсдорф». Мамонтов перестал говорить о политике. Он недолюбливал то, что называл Елисеевскими разговорами русских заграницей; но от Алексея Ивановича и при этих разговорах, как всегда, веяло приятной успокоительной скукой. «Может быть, и им со мной скучновато», — подумал Мамонтов.

После второго купанья в море и ужина, он простился с ними на вокзале, — они с Катей давно целовались при Алексея Ивановича, который, впрочем, отворачивался. Проделаны были все формальности, вплоть до маханья платочками и шапочками после отхода поезда. Отойдя от окна вагона, Мамонтов вздохнул. Ему бывало скучно разговаривать с Катей и грустно с ней расставаться. Вдобавок, действительно, пошел дождь. «Будут, бедные, весь вечер сидеть на балконе у «рыжей ведьмы». Впрочем, они, когда вдвоем, наверное, не скучают», — успокоил себя он и не без удовольствия подумал о возвращении к свободной холостой жизни.

В Берлине он проводил время недурно. Журналистам по прежнему было нечего делать на Конгрессе: их приглашали только на некоторые торжественные приемы. Николай Сергеевич успел написать несколько статей о Германии для петербургской газеты. Он писал их подозрительно легко: обзавелся даже полосками бумаги, на которых число букв соответствовало газетной строке; такими полосками пользовались в редакции, в которой он побывал в последний свой приезд в Петербург. Теперь Мамонтов работал над серьезной статьей, предназначавшейся для журнала. Она называлась «Князь Бисмарк и граф Биконсфильд, опыт сравнительной характеристики». Продолжал он заниматься живописью,—

но не слишком себя утомлял. Вставал довольно поздно и работал только «если работалось» (это было удобное правило). В четыре часа дня он в кофейне узнавал новости от журналистов. Иногда, по приглашению, «подсаживался» к столику Софьи Яковлевны с ея неизменной Эллой. В номер Дюммлеров он почти никогда не заходил, так как не бывал у них при Юрии Павловиче, неловко было перед горничными. Николай Сергеевич, вначале возлагавшей надежды на переезд Дюммлера в лечебницу, убедился, что дело почти не подвинулось и после того, хотя теперь он встречал Софью Яковлевну чаще. Она бывала с ним то очень любезна, то очень холодна, и он никак не мог понять, чем объясняются перемены.

Для своих газетных статей Мамонтов изучал Берлин, посещал музеи, концерты, театры. Как всегда, в Германии происходила художественная революция, — в музыке самобытная и глубокая, в других искусствах срочно привезенная из Парижа (революции русского, американского, скандинавского происхождения еще были впереди). После рано оканчивавшихся спектаклей Николай Сергеевич, из-за нестерпимой жары, стоявшей в Берлине во все время Конгресса, заходил в «биргартены» и пил превосходное баварское пиво, вступившее, по заключении таможенного союза, в гражданскую войну с берлинской «Кюлэ Блондэ». Оркестрики играли Schlachtmusik. Николай Сергеевич читал и слышал, что в Германии идет «серьезное внутреннее брожение на почве широкого недовольства рабочих масс». Он даже сам как-то написал что-то такое в статье. Однако, никакого «брожения» он не замечал. Напротив, все в Берлине были, повидимому, чрезвычайно довольны жизнью, пивом и победой над французами. Несмотря на то, что после победы прошло восемь лет, Германия дышала радостью, благоденствием и благодушным снисхождением к менее одаренным и менее храбрым народам. Правда, канцлер начинал гонения на социалистов, которых его печать, после покушения Нобилинга, срав-

нивала с «петролейщиками» Парижской Коммуны. Но это никого особенно не интересовало; все знали, что немецкие социалисты ничего не жгут, и что лучше всех это знает сам Бисмарк. Впрочем, в радикальных Биргартенах с эстрады пелись враждебные парвительству куплеты, и публика прокуренными, но верными голосами ,после нескольких репетиций, подтягивали на известный мотив из «Мадам Анго»: «**Hier Petroleum, da Petroleum, — Petroleum um und um. — Lass die Humpen frisch voll pumpen,—Dreimal Hoch Petroleum!..**» Но и пение было до изумления нестрашным; в нем нутряное удовольствие по поводу «ум-ум-ум» заглушало все остальное. Победой над Францией были очень горды даже Фрейденмэдхен-ы, с любопытством расспрашивавшие Николая Сергеевича о красотах и ужасах «П-пульмиша». Были у него и случайные похождения, после которых он терзался раскаяньем и страхом.

В магазинах на Фридрихштрассе все приятно радовало глаз дешевизной. Нельзя было воздержаться от покупки, когда в витрине за четыре марки девяносто пять пфеннигов предлагали письменный прибор — «эхт» что-то такое («Эхт-дрянь», — потом с досадой говорил он себе) — или шеститомное «полное собрание» в новеньких, чистеньких, дешево и мило раззолоченных переплетах. Книги он теперь приобретал с таким же удовольствием, с каким лет десять тому назад покупал галстухи. Мамонтов и не думал, что покупка книг доставляет столько радости. «Правда, некуда их сейчас деть, но не всегда же я буду жить кочевой жизнью»... Почему-то слова «**Sämmtliche Werke**» увеличивали добротность приобретаемого, хотя порою у Николая Сергеевича мелькали сомнения, так ли уж ему необходимо «полное собрание» Лессинга и заглянет ли он когда-нибудь в «Минну фон Барнгельм» или в «Эмилию Галотти». Однажды, вблизи Кранцлера, он наткнулся на магазин, продававший издания, «строжайше запрещен-

ные в России». Николай Сергеевич не без неловкого чувства купил какие-то «разоблачения», касавшиеся царей и Достоевского, купил старые выпуски «Набата», «Общего Дела», «Полярной Звезды». Рядом с этими необыкновенно серыми, запыленными, потертыми изданиями «полные собрания» особенно сверкали золотом переплетов. Мамонтов с наслаждением прочел Герцена. Увидев имя Бакунина, он только вздохнул.

С Бакуниным ему так больше и не пришлось встретиться. Николай Сергеевич нередко думал, что следовало бы, очень следовало, написать Бакунину, но не написал. Случайно, из письма кого-то к кому-то, узнал об его кончине и почувствовал душевную боль, точно навсегда упустил что-то важное. «Сколько мог от него услышать! Мог написать его портрет!» Бакунин скончался в одиночестве, почти в нищете. Знакомый знакомого сообщал подробность: швейцарские власти не знали, как обозначить в погребальных записях профессию скончавшегося революционера, неудобную для официальных бумаг. Кто-то вспомнил, что за Бакуниным значилась вилла Бароната, — никогда ему не принадлежавшая. Власти записали: «Michel Bakounine, rentier».

Иногда Николай Сергеевич говорил себе, что есть какая-то поэзия в его бестолковой жизни, и почти бессознательно включал в поэзию радости «Кайзергофа» и дорогих ресторанов. Несмотря на приближавшуюся бедность, он широко тратил деньги: просто не мог жить иначе, пока что-то еще оставалось. Утешал он себя также тем, что никому не делает зла, что работает, читает. Читал он, действительно, очень много, все что попадалось под руку от Платона до Варфоломея Зайцева. Но «запойным» его чтение никогда не было, — впрочем, он и в беспрерывном чтении не находил ни малейшего сходства с запоем. Казалось ему иногда, что думает он значительно меньше. Умственный аппарат, по его мнению, у него работал недурно, но приводил он в движение этот аппарат недостаточно часто: настолько проще и приятнее было жить без этого, — без этого

можно было и читать книги, и даже заниматься искусством. Думать о себе всегда бывало тяжело: ему казалось, что он запутался во всем в жизни, в любви, во взглядах, в карьере. Николай Сергеевич все чаще думал, что он вышел неудачником и что репутация даровитого неудачника за ним мало-по-малу укрепляется. Некоторым, хоть небольшим, утешением было то, что и его сверстники старились вместе с ним, мира также не перевернули и большой известности не приобрели. В последние же недели он все чего-то ждал и сам не знал, чего именно: конца ли Конгресса, из-за которого он будто бы жил в Берлине, возвращения ли Кати — или смерти Юрия Павловича.

В этот день было написано всего две страницы статьи для журнала. Оне были, пожалуй, недурны. С должной скромностью, Николай Сергеевич признавал, что в журналах нередко печатались статьи ничуть не лучше, иногда подписанные очень известными именами. Правда, его «опыт сравнительной характеристики» походил на все статьи с «железным канцлером» и с «Сент-Джемским кабинетом». Быть может, не вполне ясно было также, почему о Бисмарке и Дизраэли надо было говорить параллельно и в чем между ними сходство. Но Николай Сергеевич знал, что в конце, как всегда, идея появится непременно. «Что-ж, моей последней статьей они были очень довольны... Кажется, редакторы бывают двух родов: одни боятся испортить сотрудников похвалами и потому никогда их не хвалят, другие, напротив, половину гонорара платят комплиментами. Мой теперешний, кажется, второго разряда, а уж лучше ругался бы, но платил, как следует», — подумал Мамонтов не совсем искренне: из первого журнала он ушел именно из за какого-то колкого замечания редакции, да еще из за произведенных в его статье сокращений и добавлений: редактор в письме нагло называл добавления «необходимыми связующими фразами».

Николай Сергеевич не знал, полезны ли его статьи

читателям, но чувствовал, что оне нужны ему самому: именно при работе над ними приходилось н а п р а в л я т ь умственный аппарат. «Мировоззрение! Вот книжное слово, вдобавок всегда чисто-политическое,— особенно тогда, когда оно выдает себя за философское, — книжное слово, вытаскиваемое на свет Божий лишь по большим оказиям, совершенно необходимое только за письменным столом. И какое несчастье, что оно т а к зависит от требований публики, моды, редакций! Я пишу тем увереннее, чем меньше верю в то, что пишу, я на каждый свой довод имею доводы противные, а когда читаю полемические статьи, обычно соглашаюсь с обоими переругивающимися авторами, потому, что «некоторая доля правды» есть у обоих. Это несчастная порода людей: те кто интересуются «долей правды» у противника. А кроме мыслей, нужных лишь тогда, когда садишься писать статью, ведь дожны быть г л а в н ы е мысли, мысли о жизни и смерти, о том, для чего жить, как жить, за что умереть и именно этим главным мыслям люди отводят всего меньше времени, — за письменным столом потому, что это «старо», это «само собой», а не за письменным столом потому, что просто некогда: «когда-нибудь позже». Не оттого ли люди цепляются за соломинку бессмертия души, что бессмертная душа все потом на досуге разберет, en pleine connaissance de cause? И разве у одного человека из ста бывает то повышение в человеческом чине, которое называется «душевным кризисом». Да может быть, и сам этот душевный кризис иногда лишь один из способов человеческого самоутешения, если не самолюбования? И не связаны ли иные формы верности правде вообще с тайной бессознательной склонностью говорить неприятности людям, с желанием говорить их не просто, а по принципу? У меня же периодический «цинизм» бывает просто удобным выходом из неудобных положений, линией наименьшего сопротивления, ключем, который, как отмычка в руках вора, открывает в практической жизни все — кроме того, чего он н е открывает. Я

в погоне за глубокомыслием рискую превратиться в Кифу Мокиевича», — с усмешкой думал он. — «Боюсь, что перемена профессии оказалась ни к чему».

Ему хотелось вернуться к живописи. «Это малоспособные или косные люди выдумали, будто у человека должна быть непременно одна специальность. Человек средних способностей («смирение паче гордости»), имеющий хорошее общее образование, может в год-другой изучить любую специальность, и перемена работы превосходная школа», — неуверенно думал он. — «Правда, за двумя зайцами погонишься... Во всяком случае я и статьи пишу не хуже Варфоломея Зайцева»... У него в сознании еще промелькнула Варфоломеевская ночь; направить мысленный аппарат не удалось, и он почувствовал желание заняться картиной сейчас, сию минуту.

Эту внезапную жажду труда Николай Сергеевич полуиронически называл «вдохновением». Он положил костюм в коробку. Крышка очень легко снимавшаяся, теперь не надвигалась на борты. «Катя рассердилась бы, что я порвал шнурок, она обожает всякие коробочки с тесемочками... Кто это у них все так аккуратно складывает, завертывает, завязывает? Отчего у меня в жизни все так неаккуратно и нескладно?» Он достал мольберт, кисти, недоконченную картину, изображавшую смерть Карло. Эту картину он писал уже полгода, запираясь на ключ, тайком от Кати.

С вдохновением у него связывалось черное кофе. Мамонтов дернул звонок два раза, хотя надпись у звонка объясняла, что два раза надо звонить горничной, а лакею только раз. Пришел все-таки лакей, давно знавший, что горничную мужчины часто вызывают по ошибке. Мамонтов заказал целый кофейник и смутно подумал о чем-то, бывшем давно, в Петербурге. «Да, звонок, горничная, синий халат... «Таков ли был я?»... Сегодня тоже будет Патти... Нет, тогда я уже не расцветал... Ведь я в тот день, кажется, подумал, что она — «честная женщина, уставшая от своего ремесла».

Но это неправда! Она во многом на меня похожа, она так же любит жизнь, еще больше любит «поэзию удобной жизни», — сказал он себе, думая о Софье Яковлевне. «Да, да, вы спрашиваете, чего я хочу? Так вот, сейчас я всего больше хочу *ее*!» — неизвестно кому ответил он злобно. — «Да, да, а тогда, четыре года тому назад, больше всего хотел любви Кати, только тогда шансов было больше и дело легче, и я не виноват, что говорю, думаю, чувствую по *мещански*, и что любить сразу двух противоречит лучшим заветам русской интеллигенции и что мне противно стало решительно все, кроме правды, которая не противна даже тогда, когда она противна... И пускай Кифа Мокиевич!»

Лакей принес кофе. Николай Сергеевич налил себе чашку, отпил, взглянул на картину. «Положительно недурно, хоть немного под Гойа». Он стал работать с увлечением. Света в июльский день было в седьмом часу достаточно. «Все было вздор! Главное, чтобы шла работа!» Работа шла хорошо: что-то исчезло, что-то на картине стало гораздо лучше, что-то совсем ожило. Часа через два он положил кисти. «Если никуда не уеду и если буду один, к концу июля, быть может, кончу... Потом можно будет недельки на две уехать к Кате. Можно, впрочем, и не уезжать. Ну, это будет видно. А в сентябре вернемся в Россию»... В ту же секунду он опять вспомнил *то*, самое тревожное. «Если вернусь в Россию, то надо будет войти в революционное движение»...

Революционное движение разросталось. В январе Вера Засулич ранила генерала Трепова. В Одессе революционеры оказали вооруженное сопротивление полиции. В Киеве было произведено покушение на прокурора Котляревского. В Киеве же совсем недавно был убит барон Гейкинг. «Странная фамилия Гейкинг... Англичанин, что ли?» — думал Николай Сергеевич. — «Не стоило же его предкам переезжать в Россию. И уж будто так необходимо было убить какого-то Гейкинга? Что, если правы люди, верящие в мирный освобо-

дительный труд, верящие в реформы, в школы, в больницы — и как верящие! Ведь у того земца были слезы на глазах, когда он говорил обо всем этом: о недооценке молодежью культурного прогресса и их работы! А кроме того... Ну, хорошо, правдивость с собой, тогда уж полная, совсем полная правдивость! Чего же я хочу? Я знаю, что жизнь очень тяжела для обездоленных, для низших классов, и я искренне, всей душой, хочу улучшения их участи. Но я бесстыдно солгал бы, еслиб сказал, что без этого не могу жить, что ради этого с радостью отдам жизнь. Быть может, и отдам, но лишь обманув других и себя.... Я вижу, я чувствую, что еще никогда в истории не было такого счастливого и прекрасного времени, как нынешнее. Никогда не было такой свободы, какая есть в мире теперь. И никогда в истории люди так заслуженно не любили жизнь, не получали от нея так много, никогда так бодро не работали над ея улучшением, никогда так не верили в успех своего труда. Как же я уйду из этого мира в темный мир бомб и виселиц? И если кому-то нужно туда идти, то почему же именно мне? Почему именно я должен за что-то отдать жизнь? И если уж говорить себе в с ю правду, то ведь в самом деле мне моя нынешняя бытовая свобода дороже всякой другой, какой угодно другой. Пусть я «мещанин», но Герцен, так страстно обличавший то, что он назвал этим удобным словом, ни для чего не пожертвовал своей бытовой свободой, покоившейся на его богатстве. Я в свободных Соединенных Штатах только и думал, что о возвращении в Россию, которую принято называть рабской, хотя у нас крепостные были освобождены раньше, чем в Америке рабы. Почему же я мечтал о возвращении? Да, я обожаю Россию, но дело было не только в тоске по родине. Я могу представить себе такие условия жизни, при которых человек о возвращении на родину не мечтает. И не доказывает ли это еще и то, что людям политическая свобода не так уж необходима? Люди вполне уживаются с неполной свобо-

дой, с половинкой свободы, с ея четвертушкой. Для них невыносимо лишь настоящее рабство, в особенности же бытовое... А кроме того, разве была духовная свобода в том радикальном мирке, который я видел в Париже, в Нью-Иорке? Там были чиновники от социализма, спасавшие человечество по профессии, со входящими и исходящими статейками, вместо входящих и исходящих бумаг. Да и нельзя требовать ничего другого от людей, сделавших из гуманитарного энтузиазма ремесло: разве можно по настоящему волноваться из за каждой входящей и исходящей?.. Разве они не ненавидят друг друга гораздо сильнее, чем ненавидят свои правительства? Если же эти мои сомнения в сущности просто означают нежелание жертвовать собой, то и в этом не моя вина. Я не виноват в том, что так жадно люблю жизнь, что люблю э т у жизнь, пусть безнравственную, но вольную, разнообразную, ничем не связанную. Я не виноват, что, по моим наблюдениям, «беззаветная любовь к народу» — ведь любовь к народу всегда «беззаветная» — у девяти революционеров из десяти пустая фраза, а «больше той любви никто же имат» — или как-то так — просто литературная цитата, очень удобная для некрологов в революционных журналах, где она звучит так, точно ножом по стеклу дерут. Я не виноват, что во мне сознание долга (да, да, оно во мне есть) сочетается с неверием в себя и в других, что любовь к России, очень горячая, хоть я о ней не кричу, как многие другие, у меня сочетается со страхом перед бедностью, что я одновременно и люблю людей и прежде всего вижу в них вечный обман или самообман. Я не виноват, что родился со способностью к самоанализу, менее робкой, чем у других, не виноват и в том, что во мне один человек кое-как живет, а другой зачем-то всегда волнуется, достаточно ли им любуются. Я состою из слоев, тесно примыкающих один к другому, эти слои образованы и чертами характера, и занятиями, — быть может, есть и слой журналистики, и слой живописи, — но самый

глубокий основной слой, это честолюбие, скорее даже тщеславие... Вероятно, я дурной человек, моя жизнь пока — пока — решительно никому не нужна, но м н е она очень нужна, и я не могу отдавать ее без глубокого, совершенно искреннего убеждения в том, что нужно убивать ротмистров Гейкингов... Собственно, (опять «собственно») в политике нет и не может быть ничего совершенно верного. Кажется, это Свифт требовал, чтобы каждый политический деятель был по закону обязан очень подробно излагать в парламенте свое мнение, защищать его всеми доводами, а затем обязан был голосовать за мнение прямо противоположное: тогда дела будут идти гораздо лучше. И разве обман и «мещанство» не заключались бы скорее в том, чтобы уйти в революцию при таком настроении, о т такого настроения? Через Рубикон переходят, а не переползают! И уж лучше оставаться на безопасном — да, неприятно, но на безопасном — берегу Рубикона, чем обманывать себя и других»...

Мысли эти его смущали. Он потянулся, допил кофе, занес для статьи в карманную тетрадь: «переполз. чер. Руб.». «Что-ж, надо пойти пообедать. Затем, пожалуй, пора будет одеваться. В Берлине все начинается рано». В этот вечер он был приглашен на **Gesindeball** к восточному принцу, с которым его четыре года тому назад в Петербурге познакомила Софья Яковлевна.

II.

Юрий Павлович в средине июня был перевезен из «Кайзергофа» в лечебницу. Врачи не знали, какая у него болезнь. Каждый известный профессор имел свои предположения и свои способы лечения. Друзья Дюммлеров рекомендовали каждый свою знаменитость и с удовольствием рассказывали о неправильных диагнозах, ошибках и недостатках других врачей. Перепро-

бовано было решительно все, однако, больной чувствовал себя плохо.

Болезнь Юрия Павловича как будто имела мало общего с воспалением легких, которое было у него в Петербурге. Тем не менее он ясно чувствовал, что все пошло от того воспаления, очевидно подорвавшего его организм. Теперь на подозрении были печень, почки, желудок, кишечник, желчный пузырь. Считалась вероятным сочетание двух или трех болезней, и спор был отчасти о том, какая болезнь должна считаться главной. В конце концов Дюммлеры сконфуженно вернулись к первому профессору. Как умный человек, он сделал вид, будто ничего не знает об их обращении к другим; предложить ему консилиум, при его европейской известности, было бы невозможно. Профессор решил посадить больного на строгий режим. Так как гостиница для этого не годилась, он перевез Дюммлера в свою лечебницу. Там Юрий Павлович сначала почувствовал себя лучше и повеселел. Потом боли возобновились. Ему было трудно лежать, все хотелось сесть, возможно ниже опустить голову, так и сидеть скрюченным. Между тем врачи и сиделки требовали, чтобы больной лежал, как все больные. Он делал вывод, что они его болезни не понимают.

В первую ночь после возобновления болей Дюммлер подумал, что теперь прежде всего нужно было бы подать в отставку. «Этого требует элементарная честность. Министры должны подавать пример»... Но Юрий Павлович не чувствовал себя в силах навсегда бросить то, что, после жены, было ему дороже всего на свете. Только в лечебнице мысль о смерти представилась ему со своей страшной ясностью; в Петербурге он все-же т а к о ней не думал. Легко было ответить «всегда готов», «не все ли равно, немного раньше, немного позже», или что-либо в таком роде. Но теперь он видел, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов никто, кроме разве каких-либо отшельников, ведущих такую жизнь, о какой и жалеть не стоит. По

материалистическому миропониманию Дюммлера, все было ясно: «умрешь — лопух выростет». В свое время, читая Тургенева, он соглашался с Базаровым почти во всем, кроме тона и политических идей,—правда, это было очень большое «кроме». Теперь лопух приближался. Бессмертия души, по взглядам Юрия Павловича, не было и не могло быть. Химическое же бессмертие, прежде, за чтением ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоения ему не давало. В эту первую ночь он тайком от сестры принял снотворное. Мысли его смешались не сразу. Лопух, о котором он в былые времена думал раза два в год, обычно после чьих-либо похорон, теперь не выходил у него из головы.

Хотя Юрий Павлович был человек не трусливый, не очень помогало ему и то, что называлось мужественным подходом к смерти. Мужество тут заключалось в спокойном выполнении последних дел. Приготовления у Дюммлера были не вполне закончены. Он давно составил завещание, но хотел его изменить. Надо было разобрать кое-какие бумаги, кое-что дополнить в мемуарах. Юрий Павлович оставлял десять тысяч рублей в Государственном Банке с тем, чтобы через пятьдесят лет, в 1928 году, этот капитал со сложными процентами пошел на составление и издание подробной биографии графа Канкрина, бывшего министра финансов и его первого руководителя по службе. В последние годы Дюммлер стал еще богаче и хотел увеличить эту сумму до пятнадцати тысяч. Он оставлял также пожертвованья геральдическому обществу и разным русским благотворительным организациям. Юрий Павлович нисколько не презирал и не ненавидел Россию, как в этом принято было обвинять русских немцев. Он лишь стоял за то, чтобы основные правительственные идеи приходили в Петербург из Берлина: оттуда ничего дурного прийти не могло, тогда как Лондон и особенно Париж всегда вызывали у него сомнения. В пору, когда в Европе владычествовал Николай I, в Германии граф Ре-

дерн во всех трудных обстоятельствах знал только один выход: «Надо спросить русского императора. Сделаем так, как скажет русский император». У Юрия Павловича был сходный основной принцип: надо спросить Бисмарка. Мысль о необходимости вечного русско-германского союза он подробно разъяснял в своих мемуарах, которые тоже должны были появиться через пятьдесят лет. Их последние главы (часть пятая, 1874-1878) еще не были написаны. «Вот и надо закончить... Да, правильнее было бы подать в отставку», — думал он стараясь силой воли превозмочь боль (это не выходило: воля тут была ни при чем). — «Ну, что-ж, пора и честь знать». Его карьера была, если не ослепительной, то во всяком случае блестящей. «В сущности, в смысле всех этих внешних знаков успеха остается желать очень мало. Владимир I степени? Об Андрее нет речи... Чин действительного тайного советника? Переход в первые чины двора?» — рассеянно спрашивал себя он и отвечал себе, что это было ему совершенно не нужно: все свои чины и ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы прошла давящая боль в животе. Дюммлер был высокопревосходительством по должности; еслиб он вышел в отставку, не получив чин действительного тайного советника («хотя, вероятно, государь император при отставке пожалует»), он стал бы снова превосходительством. Теперь ему и это было почти безразлично. — «А вот мои реформы, коренные преобразования, которые я произвел в своем ведомстве, их люди забудут не скоро. В некоторых отношениях, скажу смело, их можно считать образцовыми. Ими интересовались и в Германии»,— говорил он себе. Юрия Павловича не успокоили и мысли об его преобразованиях. Зато подействовало снотворное; через час он задремал. «К несчастью, приходится быть материалистом», — думал он, засыпая. — «Какая-то крошечная пилюля дает то, чего не дают все эти Эпиктеты»...

Софья Яковлевна приезжала к мужу ежедневно по утрам и оставалась от одинадцати до двенадцати. В ле-

чебнице были и другие часы приема, но профессор, хорошо знавший людей, как все выдающиеся врачи, попросил Софью Яковлевну приезжать только раз в день и оставаться не более часа. Она протестовала, он поставил на своем, ссылаясь на усталость больного.

В вестибюле, с навощенным скользким паркетом, по углам стояли пальмы, на стенах висели «Урок анатомии» и «Дети Эдуарда IV в Тауере». Над лестницей тянулись портреты знаменитых врачей, от Гиппократа до Бильрота. В коридоре стоял легкий запах карболового тумана, вызывавший у Софьи Яковлевны острую тоску. Неслышно скользили сиделки в белых халатах и туфлях. Полуодетых людей несли на носилках или передвигали в креслах. Комната Юрия Павловича находилась в самом конце длинного коридора. Почти все выходившие в коридор двери были отворены. Из комнат на Софью Яковлевну всякий раз, с недоброжелательным, как ей казалось, любопытством, смотрели лежавшие на кроватях больные с бледными, измученными, худыми лицами. Она понимала, что появление незнакомых людей здесь единственное развлечение. По другую сторону коридора была операционная, склад белья, что-то еще. Здесь почти всегда стоял другой, легкий, сладковатый запах. Софья Яковлевна в этом месте коридора всякий раз ускоряла шаги.

В последнее время ей было все тяжелее с мужем. В этом году они для лечения Юрия Павловича выехали из Петербурга ранней весной. Теперь Софье Яковлевне стало уж совершенно ясно, что их добрая семейная жизнь держалась отчасти на Коле, еще больше на том, что в Петербурге Юрий Павлович целый день проводил на службе, а по вечерам они бывали в обществе. С болезнью Дюммлера сразу отпало все. Не было надежды на то, чтобы «в обозримом будущем», как говорил профессор, Юрий Павлович мог вернуться на службу. У Дюммлеров были в Берлине добрые знакомые, но с ними ей было скучно из-за отсутствия общего языка — больше в переносном, отчасти же и в прямом смысле:

она по-немецки говорила не свободно. Их берлинское общество было по рангу значительно ниже того, в котором она жила в Петербурге; она с трудом от себя скрывала, что это также имело для нея некоторое значение: точно она сама понизилась рангом. Всего же тяжелее для Софьи Яковлевны была разлука с сыном. Коля остался из-за гимназии в Петербурге и писал два раза в неделю письма, казавшиеся ей холодными, написанные разгонистым почерком, с широко расставленными строчками, точно он ставил себе задачей возможно скорее и легче заполнять обе стороны большого листа синеватой бумаги, в огромном количестве оставленной Юрием Павловичем в кабинете их петербургского дома.

В это утро письмо пришло из Сестрорецка. Коля, по своему обычаю, подтверждал получение последнего письма матери, в форме «ты пишешь, что», излагал его содержание, выражал радость по случаю улучшения в здоровьи отца. О себе он сообщал мало, говорил, что купается в море, что у них хороший пансион, и что дядя Миша Сестрорецком очень доволен. По настоянию Софьи Яковлевны, брат, на попечении которого был оставлен Коля, писал ей отдельно. Таким образом, она имела известия четыре раза в неделю. Заставить самого Колю писать чаще было невозможно. Сначала предполагалось, что Михаил Яковлевич и Коля летом приедут к ним заграницу. Но от этого плана пришлось отказаться, когда выяснилось, что Дюммлерам придется провести весь июль в душном Берлине.

В те дни, когда приходили письма Коли, свидания с Юрием Павловичем бывали легче: минут пятнадцать из обязательного часа уходило на чтение и обсуждение письма. Оставалось сорок пять минут. Софья Яковлевна каждый день привозила мужу немецкие газеты. Но однажды, к своему удивлению, она увидела их на столике неразвернутыми. Из всего э т о было едва ли не самым тревожным симптомом: Юрий Павлович не читает газет, да еще немецких, да еще в пору Конгрес-

са! Дюммлер смущенно объяснил, что накануне чувствовал себя очень усталым. В следующие дни он развертывал газеты и просматривал заголовки. Но она видела, что он это делает ради нея, для отвода глаз; видела, что человек, еще недавно всем интересовавшийся, теперь думает только о своей болезни и, вероятно, о близящейся смерти.

Недалеко от дверей операционной главный хирург разговаривал со своим ассистентом, — Софья Яковлевна теперь знала весь персонал лечебницы. Они были так увлечены разговором, что не обратили на нее внимания (это всегда чуть-чуть ее задевало). «...Разумеется, еслиб не это, он остался бы жив», — сказал хирург, оправляя воротник на халате своего собеседника. Ассистент что-то ответил и оба они негромко засмеялись. «Да, кладбищенского попа слезами не удивишь», — подумала Софья Яковлевна и сама удивилась: прежде ей едва ли пришла бы в голову столь вульгарная поговорка.

Сиделки в комнате не было, — Софья Яковлевна почти бессознательно об этом пожалела: при посторонних людях всегда бывало немного легче.

Первые вопросы были каждый раз одни и те же: как он провел ночь? была ли боль? что подали к ужину? принял ли он уже лекарство? Юрий Павлович отвечал усталым голосом, с усилием, точно не сразу мог вспомнить. Но лицо его, как всегда, просветлело при ея появлении. Узнав, что боль была только вечером, что температура нормальная, что за ужином он съел полную тарелку супа из овощей и полсухаря, Софья Яковлевна выразила удовлетворение, как будто лучше ничего и нельзя было желать.

— ...И вид у тебя свежее, значительно свежее... Сильная была боль? (О боли надо было высказаться раньше, чем об обеде).

— Нет, не очень. Средней силы, — ответил Юрий Павлович с подобием улыбки.

— Да, разумеется, сразу это пройти не может.

Этого никто из них и не ожидал. Нужно время и время! Но отчего же только полсухаря? Право, так нельзя, я ей это скажу.

— Она, бедная, не виновата, она очень старается. И все тут... Что же делать, не было аппетита.

— Ну, а я тебе принесла письмо Коли. И представь, пришло на третий день! Прочесть тебе?

Софья Яковлевна прочла письмо. Ей показалось, что оно не интересует Юрия Павловича. Желая скрыть недостаточно нежный тон сына, она при чтении что-то вставила от себя: так, вместо «я очень рад, что папа чувствует себя лучше», прочла: «я очень, очень рад». Но добавочное «очень» оказалось ненужным. Юрий Павлович слушал рассеянно, быть может даже вовсе не слушал.

— Ну, а ты что? Как провела вчерашний день? — в свою очередь задал он тоже никогда не менявшийся вопрос. Она ответила подробно: выигрывалось пять минут. Софья Яковлевна не сказала, что накануне днем пила кофе с Эллой и Мамонтовым. «Почему-то Юрий Павлович его не взлюбил. И незачем, конечно, раздражать»...

— Я так рад, что ты не скучаешь.

— Напротив, мне без тебя страшно скучно и тоскливо, — ответила она, чувствуя, что ея «страшно» было вроде дополнительного «очень» в письме Коли. Но по тому, как опять просветлело лицо Юрия Павловича, Софье Яковлевне стало ясно, что, несмотря на искренность его слов, он именно ждал опровержения. Они немного помолчали. Было только двадцать минут двенадцатого. Разговор вернулся к тому, с чего начался: к профессору, к лекарствам, к вчерашнему обеду в лечебнице, к отправлениям желудка (о них теперь говорилось без стеснений).

— Все-таки досадно, что сегодня он приехал так рано, — сказала Софья Яковлевна, разумея профессора. В действительности, немного опоздала она сама,

и Юрий Павлович это заметил. — Завтра я приду раньше, непременно хочу еще раз с ним поговорить.

— Совсем это не нужно, — медленно, точно нерешительно, сказал Юрий Павлович. — Он пока сам ничего не знает. Необходимо, как он и говорит, продолжительное наблюдение... Что такое п р о д о л ж и т е л ь н о е наблюдение? — спросил он и, немного помолчав, добавил: — А если это очень серьезно, то он, верно, и т е б е правды не скажет.

— Это не только не «очень серьезно», но и не серьезно-просто! Фрерих давно сказал совершенно ясно, что...

— Может, Фрерих и соврал, — сказал Дюммлер со слабой улыбкой.

— Какой вздор! Поверь, он т а к не говорил бы, еслиб была малейшая опасность («я сказал «серьезно», а не «опасно», — с тревогой отметил он). — И потом ты же сам говоришь, что боли стали меньше? — спросила она, подавляя в себе тоску. Юрий Павлович не говорил теперь о своем завещании, не делал распоряжений о том, чтобы его похоронили рядом с Канкриным, и именно это ей показывало, что он не как прежде, а по-настоящему думает о смерти.

— Да, боли меньше... Может быть, в самом деле все окажется пустяками... Ну, поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он, взглянув на стенные часы. Она тоже украдкой бросала на часы взгляды. — Так ты была в банке и получила деньги? Не забудь кстати, что надо заплатить извозчику за карету.

Когда часовые стрелки слились, Софья Яковлевна выразила желание посидеть еще, а он попросил ее уйти и погулять перед завтраком. Так бывало каждый раз.

— Значит, завтра я буду без четверти одиннадцать. Ах, как жаль, что ничего нельзя тебе приносить. Ну, что-ж делать, потерпи еще немного на этих кашках. Вот мы скоро возвращаемся в Петербург, Семен для тебя постарается. Для Миши и Коли, я думаю, он старался не слишком. Хотя Миша знает толк в еде.

— Кланяйся ему, пожалуйста. И Колю поцелуй письменно, — улыбаясь, сказа Юрий Павлович и вдруг добавил. — Ну, а этот, как его? Первой гильдии купеческий сын? Все еще живет в «Кайзергофе»? — Ей показалось, что в его глазах мелькнула тревожная злоба. Улыбка на его лице исчезла неприятно-быстро.

— Кто это? Мамонтов? — весело спросила она. — Я знаю, ты его терпеть не можешь, кажется, оттого, что он в Эмсе пришел к нам как раз в тот день, когда у тебя начались боли? Не понимаю, как с твоими взглядами ты можешь быть суеверен? Да, он еще в «Кайзергофе». По крайней мере, я вчера издали его видела в «Винер Кафе». Ты знаешь, я теперь ежедневно в четыре бываю в кофейне. У них очень недурное кофе, хотя, говорят, в Отель де Ром еще лучше...

— Ты бываешь в кофейне одна? — изумленно спросил Юрий Павлович.

— По твоим понятиям это, разумеется, последний предел человеческого падения. Не было бы ничего странного, еслиб я бывала и одна, в Берлине это очень принято, но мне слишком скучно одной, без тебя. Нет, Элла так мила, что ежедневно за мной заходит. Съедает по два Apfelkuchen mit Schlagsahne и, кажется, очень рада, что ей не надо платить, — смеясь, сказала она и вспомнила, что ея муж не любит шуток о немцах. — Как ты знаешь, мы иногда с ней выходим и по вечерам. Слушали Вагнера, он теперь самый модный человек в Германии, о нем говорят больше, чем о Бисмарке. — Софья Яковлевне было решительно все равно, о чем говорить, лишь бы не о желчном пузыре и не о желудке. Юрий Павлович поднял брови. Все-таки было не совсем прилично сравнивать с Бисмарком какого-то музыканта. «Сказать, что иду на Gesindeball? Нет, не надо, он будет очень недоволен».

— Я помню этого Вагнера... Я его видел у покойной великой княгини Елены Павловны. Он тогда приезжал в Петербург. Великая княгиня была к нему очень милостива и дала ему много денег. Потом он уже из

заграницы писал ей и просил еще. Как это у людей нет достоинства?

— Артистам все можно. Меценаты для того и созданы, чтобы им помогать.

— Может быть, но я просто не мог бы, — сказал Дюммлер. Софья Яковлевна знала, что это правда: Юрий Павлович действительно был бы не в состоянии просить не только о подарке, но даже о займе. — Он тогда играл у великой княгини и, как потом говорили, очень плохо играл. Помнится, наши меломаны очень его чествовали.

— Здесь меломаны, кажется, разделились на две партии: одни за него, другие за Брамса. Муж Эллы за Брамса, а она за Вагнера... Кстати, мы с ней теперь говорим только по-немецки... Не с Вагнером, а с мужем Эллы. И я сделала громадные успехи, так, по крайней мере, они говорят.

— Пожалуйста, очень поблагодари их от моего имени за внимание к тебе, — сказал Юрий Павлович. — Ну, до свиданья, до завтра. И спасибо, моя милая... За в с е, — добавил он и устало закрыл глаза.

Софья Яковлевна вышла в коридор. Ей хотелось возможно скорее покинуть это чистенькое, так хорошо оборудованное зданье. «Лишь бы не разреветься здесь, лишь бы на свежий воздух!..» Она не считала болезнь мужа о ч е н ь опасной, но ей было мучительно его жаль. Ей было жаль и самой себя. Теперь, казалось, уже не могло быть сомнения в том, что ея жизнь кончена. Впереди не было решительно ничего. «Да, быть сиделкой при тяжело больном... Коле я больше совершенно не нужна», — думала она, с ненавистью глядя на детей Эдуарда IV. «И почему они здесь повесили эту несчастную картину!»

Вернувшись в «Кайзергоф», она села у отворенного окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она и сюда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преследовавший. «Господи, что делать? Что же мне делать? Как ему по-

мочь?» Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имела сил всецело отдать ему жизнь. «Уж не покраснела ли я, когда он спросил о Николае Сергеевиче?» — с негодованием на себя — и на Мамонтова — подумала она. Краснеть было не от чего. Но прошлой ночью Николай Сергеевич ей приснился. Сон был нелепый, непонятный, о указанием на двойную жизнь, как столь многие сны. Ей снился человек, которого она никогда не видала, он что-то ей о себе рассказывал. Потом внезапно оказывалось, что это Мамонтов. Однако, все, что этот человек ей до того о себе сообщил, очень к Мамонтову и подходило. «Точно какая-то повесть, кто-то заранее сочинил фабулу и подготовил развязку! Как это происходит? В чем дело? Непонятно... И почему он вообще мне снился?.. Но мне и Элла снилась, у меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаические, вроде того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками, — именно с двадцатью двумя!»

Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрия Павловича, вскользь, в разговоре, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодные ванны, хотя она ни на что не жаловалась и ни о каком совете не просила. Почему-то его совет был неприятен Софье Яковлевне. Но после ванн она действительно чувствовала себя лучше. Одеваясь, она думала о письме к Коле и к брату. «Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованьем. Нельзя ли найти в Сестрорецке учителя? Еслиб я была там, я нашла бы»... Неожиданно у нея скользнула мысль, что несчастья имеют особенность: они всегда приходят необычайно некстати. «То есть главное, конечно, что они — несчастья, но»... Ей, впрочем, было бы нелегко объяснить, в каком смысле «некстати» случилась болезнь Юрия Павловича.

Они были женаты семнадцать лет.Софья Яковлевна

неохотно вспоминала о том, как вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находит себе женихов большинство девушек, — «иных способов, к сожалению, мало». Она была не хуже других, читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровского, была раз влюблена в одного бедного молодого человека. Но молодой человек был влюблен в другую, богатую, барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ея операций внезапно и случайно попал Дюмлер, дело решилось — отчасти потому, что она хотела показать молодому человеку (с которым,впрочем, больше никогда не встречалась). В ход были пущены все стратегические приемы, кампания продолжалась не более месяца и кончилась полной ея победой. Дюммлер, точно зачарованный, пошел на «мезаллианс», — самая мысль об этом за месяц до того показалась бы ему нелепой.

Он нисколько не был противен Софье Яковлевне, — этой формулой «нет, он нисколько мне не противен, он не безобразен, в нем есть большие достоинства» она мысленно и пользовалась в пору кампании; все-же формула начиналась со слова «нет». Софья Яковлевна своего добилась. Правда для некоторых кругов Петербурга сам Дюммлер был homo novus, а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама, в присутствии некоторых общих приятелей, называла ее выскочкой и говорила, что «не пустит ее к себе на порог». Это вскоре дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смеялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было известно, что кое-кто, тоже с известным правом, считает «выскочкой» эту даму, что равенства нет нигде, что его нет даже между великокняжескими дворами, так как существуют великие князья очень богатые и менее богатые, очень близкие и менее близкие к Зимнему дворцу, вокруг которого, как планеты вокруг солнца, расположены были их дворцы. Над всеми, на необычайной высоте, находился государь, совершенно не интересовавшийся равенствами и нера-

венствами. «У меня он был, а у некоторых великих княгинь годами не бывает, у Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу», — думала Софья Яковлевна, разумея под дурой даму, которая «не пускала ее на порог». «Если бы в России и сейчас, как при Павле, аристократом был лишь тот, с кем разговаривает государь и пока он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да он таков и в общении с монархами: с Франц-Иосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалого принца чуть не сделал себе друга!»

Теперь ея положение было прочно, но отчасти держалось на должности Юрия Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа: кто-то в ней об этом думал, — откуда-то всплывали гадкие и страшные мысли, мгновенно загонявшиеся ею на дно сознания. «Что тогда?.. Стать дамой-патронессой? Совсем перейти на положение «старухи Дюммлер». Или»...

Со своим холодным, ясным практическим умом она могла на мгновенье представить себе что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так в последние годы иногда, очень редко, думала, что в восемнадцать лет — «самый поэтический возраст» — ея главной, чуть ли не единственной, целью стало богатство и общество Юрия Павловича. Да и теперь, основным, после Коли, интересом ее жизни были все-таки светские отношения, как они ни были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны.

Незадолго до болезни мужа, у нея возникла мысль о придании нового характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ея доме министры и сановники встречались со «сливками интеллигенции», — слово интеллигенция уже привилось в России, как позднее во всем мире. Софья Яковлевна не сомневалась, что наиболее либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербурге уже раза два бывали периоды паники, когда дарование государем коституции считалось делом ближайших недель. «Более порядочные будут приез-

жать бескорыстно, из любопытства, а другие — с расчетом, на всякий случай: «сегодня интеллигенция, а завтра кто-нибудь из них да первый министр!» Относительно интеллигенции она была не совсем уверена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, приятель известных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ея верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнения. Она раза два в год считала себя обязанной посещать вечеринки Чернякова и незаметно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный и идеалистический лад. Однако, Софья Яковлевна не была уверена, что люди, бывавшие у ея брата, действительно составляют сливки интеллигенции. К ея удивлению, их разговор не так уж блестел умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже суждения часто бывали сходные (Черняков, считаясь с возможностью появления Юрия Павловича, впрочем маловероятной, особенно радикальных людей в эти дни к себе не звал). Все-же Софья Яковлевна возлагала на брата большие надежды в деле создания конституционалистского салона. «Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она делает английскую политику. А кто такая Новикова!»... Главным препятствием была политическая репутация Юрия Павловича, — он считался очень консервативным человеком. Однако, Софья Яковлевна знала, что в случае дарования конституции заставит мужа примкнуть к умеренным конституционалистам. «Еслиб не этот его пунктик: генеалогия», — думала она. Для Юрия Павловича действительно существовали дворяне и люди-просто. Против людей-просто он ничего не имел, но, несмотря на свои познания в генеалогии, считал дворянство высшей человеческой породой, столь же бесспорной, как высшие породы лошадей. Между дворянами существовали конечно, подразделения, они его основного взгляда не подрывали: Романовы были дворяне, и он был дворя-

нин. Впрочем, в присутствии не-дворян Юрий Павлович о сословиях не говорил. Он был как тот английский герцог, который совершенно не помнил о своем происхождении —если только о нем не забывали другие. Несмотря на подробные объяснения мужа, Софья Яковлевна весьма сомневалась в древности и знатности рода Дюммлеров.

Теперь же мысли обо всем этом только мелькнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. «Неужели я серьезно могла придавать значение этому вздору? Да, так бывает постоянно: думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как верны все общие места! Действительно нет ничего, что шло бы в сравнение с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти!»

В час дня лакей принес ей завтрак, — по-берлински обед. К неудовольствию прислуги «Кайзергофа», она не спускалась в ресторан; так повелось с той поры, как Юрий Павлович жил в гостинице. Когда лакей постучал в дверь Софья Яковлевна поспешно прикрыла чем-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совестно даже перед прислугой.

II.

Вестибюль был полон Фаустов и Маргарит, Гамлетов и Офелий, средневековых рыцарей и Валленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок; они перебрасывались радостными восклицаниями на простонародном берлинском диа-
восклицаниями на простонародном берлинском диалекте. Еще на лестнице Мамонтов услышал и «Knorke!» и «Ach Jott!», и что-то такое еще. Николая Сергеевича раздражало, что вилла, построенная верно Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нечто живописное было в маскарадной толпе, — к этим крупным тяжелым рубенсовским людям шли латы, мечи и копья. «Да, порода не изменилась, они в латах

чувствуют себя так же хорошо, как их предки». Сверху доносился гул.

Под Gesindeball первоначально разумелись именно балы для прислуги. Позднее по их образцу стали устраиваться балы в обществе; потом они еще както изменились, превратились в грубовато-веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейский секретарь принца, быстро богатевший на своей должности, рискнул на Gesindeball, — этого развлечения не было ни в Париже, ни в Лондоне, — и добавил музыкальное отделение; Патти как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, т. е. самое дорогое.

Секретарь встречал гостей на верхней площадке лестницы. Он приветливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европе просто: охотно принимал писателей, актеров, журналистов, не спрашивая об их происхождении: все они были нечистые твари, не лучше и не хуже королевы Виктории. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, — лишь бы было занятнее. Однако, гости, очевидно, думали, что в доме восточного дикаря особенно церемониться нечего. Доносившийся из дальних комнат шум становился неприличным. Где-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всем мешает.

Гостиные шли одна за другой — их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его длинный, шитый золотом кафтан, с белой лентой через правое плечо, длинные белые брюки, белый тюрбан. В левой руке он держал белые перчатки, а правой опирался на кривую саблю в белых ножнах. Все на принце сверкало драгоценными камнями. Проходившие гости, независимо от своей воли, больше смотрели на его бриллианты и изумруды, чем на самого принца. Все знали, что он несметно богат; говорили, что он богаче Ротшильда, богаче коммодора Вандербильта, богаче русского царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычаи своей страны: если гость при нем хвалил какую-

либо из его вещей, принц произносил слова: «Думара ке бас хаи» («Пусть же это будет твое») и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его приезды в Европу. С годами он стал благоразумнее. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбане, принц не расслышал похвалы и больше к себе этого гостя не звал.

У принца были дома в Париже и Лондоне, виллы на модных курортах. В Берлине он ничего не имел. Между тем в лето Конгресса Берлин стал центром Европы и туда без всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим ,так как в нем прожило жизнь несколько поколений тупых, невежественных, но богатых, титулованных и потому делавших историю людей.

Несмотря на летнее время, приемы не прекращались в германской столице. Бережливые берлинцы точно ошалели от небывалого съезда иностранцев. Самым блестящим праздником был обед и бал в доме Блейхредера. Банкира посетили все члены Конгресса, и по городу ходили почтительные рассказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот прием. Принц не гонялся за высокопоставлеными людьми и начинал скучать в Берлине. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначале принц еще говорил дамам свои цветистые комплименты, теперь только кивал в ответ на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выделялась в гостиной. В этой комнате и в следовавшем за ней готическом салоне все приглашенные еще вели себя сравнительно прилично, но уже в третьей зале, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и несерьезный, совершенно переставали стесняться. На Gesindeball они считали себя обязанными изображать шумное веселье.

В готической гостиной поток гостей разделялся: часть их направлялась в параллельную гостиным длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Нико-

лай Сергеевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в зале не было. «Может и лучше, что ея нет? Ох, надо бы от нея подальше! Ведь это неправда, будто я в нее в л ю б л е н. Еслиб был влюблен, то не видел бы морщинок у глаз и не говорил бы себе, что она «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Впрочем, я все замечал и в восемнадцать лет, когда был влюблен по уши... Да, вероятно, с ней будет петля. Но ведь я как будто поставил себе правилом всегда слушать «голос благоразумия» и всегда поступать наоборот... Посмотрим, там будет видно! Я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать, и уж если она меня покарает, то скорее всего за недоверие к ней». Ему было досадно и то, что «философские» мысли лезли ему в голову в самое неподходящее время.

Николай Сергеевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивлением заметил, что на него как будто подействовал надетый им костюм. Теперь в нем уже сидело три человека: он сам, дешевый бутафорский Мефистофель и наблюдатель, внимательно следивший за Мефистофелем и за ним. Гостиные были уставленылены всевозможными предметами в стилях Gotik и Spätgotik, Hochrenaissance и Spätrenaissance, Frühbarok, Hochbarok и Spätbarok. По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели: он видел, что в большинстве это хорошие, дорогие вещи, — и раздражался. «Верно, тот барон или банкир, которому все это принадлежит, в душе любит только добрый честный Бидермейер. Да, есть что-то особенное в этой толпе, в этих упитанных перепившихся людях, нисколько не безобразное, — это о них говорят неправду — но вызывающее, почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и Седан... Это Иорданс, переделанный Менцелем... Из дам особенно шумят те, что переоделись горничными. Голубушки, вам и играть не надо... Куда же она делась?» — думал Николай Сергеевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистофелем. Они криво улыбнулись друг другу.

В последней гостиной было столпотворение. «Вот здесь уж совсем сумасшедший дом!» — радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшийся определить а т м о с ф е р у бала. Вдоль стен комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядеть было невозможно: так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ландскнехты шумно пробивались к столам, хватали бокалы, мороженное, бутерброды для себя и для Офелий, которые, впрочем, сами о себе не забывали. Николай Сергеевич тоже стал проталкиваться к столу. Лакеи не успевали разливать напитки. Некоторые гости хватали и уносили с собой бутылку. Хотя ему не хотелось есть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцию паюсной икры, выпил один за другим несколько бокалов шампанского и прорвался назад. «Кажется, лучше было не пить так много. Я ведь и за обедом выпил бутылку вина»... Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше, — как Стравинский в сцене с Мартой Швертлейн.

— Арестую вас именем закона! — сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергеевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помешала. Перед ним был венгерский журналист.

— Наконец-то вы! Я вас искал. Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем доме.

— Как будто и вы тоже не проявили большой фантазии.

— Надел к фраку черный галстух и стал лакеем. Очень дешево. Этим и объясняется успех «балов прислуги».

— Да еще тем, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеям.

— Что кстати необыкновенно тактично в отношении настоящих лакеев. Настоящие лакеи здесь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как все русские, вы почему-то привыкли ирони-

зировать над немцами. Но не судите о немцах по сегодняшнему обществу.

— Как же у принца оказалось такое общество?

— Очевидно, вышло какое-то недоразумение. К тому же, все сразу перепились. Я первый. — Он засмеялся. — Знаете, тут психология вроде Шейлоковской: как же не выпить шампанского за счет расточительного дикаря? Буфет у него превосходный, я давно такого не видел, со времени раута у герцога... Ну, как его? Отчего вы так редко бываете на Конгрессе? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лет.

— Где это «на Конгрессе»? В передней министерства? Там нечего делать.

— Делать там, конечно, нечего, но можно сплетничать, а это величайшая радость в жизни. Если не считать шампанского... Впрочем, пить большой грех. Египтяне в жертву Вакху приносили только нечистую свинью, — сказал венгр. — Слышали, на Конгрессе достигнуто соглашение. Вы получаете Карс, Ардаган и Батум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Диззи не подвергся личному насилию в Палате. Франц-Иосиф берет себе Боснию! Воображаю физиономию бедных турок! Сначала Кипр, теперь Босния! А они были так благодарны своим благодетелям! — сказал он, захохотав. — Главное же, Болгария делится на части. Северная...

Он изложил предположительные условия договора. Николай Сергеевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерский журналист говорил в своем обычном утомительном тоне балагура.

— Бловиц сегодня уезжает. Как вы верно слышали, он добился своего: был принят Бисмарком и даже у него обедал. Это гениальный человек. Ему уже известны секреты богов. За гений Бловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он верно никого никогда не топил. Ох, много стали люди врать... Диззи готовится триумфальная встреча на Чаринг-Кросском вокзале. Я боюсь, что Гладстон

и Горчаков умрут от разрыва сердца... Но что же Pattina mia, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англии в Италию, не то из Италии в Англию. У нее, у бедненькой, вышла в Лондоне большая неприятность: антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двухсот фунтов за спектакль! Подумайте, какой наглец! Разумеется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало известно кому следует. С Патти сделалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по двести гиней.

— Двести гиней это больше, чем двести фунтов?

— Больше на пять процентов, но дело не в лишнем шиллинге. Вы, надеюсь, понимаете, что Патти должна получать больше, чем Нильсон, иначе ей остается повеситься. Антрепренер в отчаяньи. Если он согласится, Нильсон выцарапает ему глаза: вы, надеюсь, понимаете, что и Нильсон должна получать больше, чем Патти, иначе ей остается повеситься.

— Что же будет?

— Повесится антрепренер. Впрочем, они очень любят друг друга. Я их слышал вместе в Париже в церкви Тринитэ, когда отпевали Россини. Патти, Нильсон и Альбани пели Stabat mater, это было божественно и бесплатно... Вот ваша знакомая, — многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цветами. К ее черным косам было приколото несколько красных роз. Она опиралась на высокую тонкую раззолоченную трость. С ней были Элла в костюме Гретхен и ее муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли, король Лир, как будто, с сожалением. — Какая красавица! Она Клеопатра, что ли?

— Не знаю. Так договор будет скоро опубликован?

— Сегодня ходят глухие слухи, будто Бловиц у

кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Таймс»! Это будет величайший шедевр репортажа в истории... Пойдем выпьем еще шампанского за здоровье всех жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете, а я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и бесплатно, я всегда стервенею, — объяснил венгр и отошел, напевая марш Ракоци. «Нет, нет, я не пьян!» — заверил себя Николай Сергеевич. Он быстро пошел по гостиным, делая грациозные жесты правой рукой. «Все-таки очень странно, что костюм так действует на человека? Особенно эта идиотская шпага!.. Кажется, я наговорю глупостей!» В готической гостиной, в которой по прежнему было сравнительно тихо, сидели Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лице короля Лира была легкая тоска. «Не подходить!» — сказал себе Мамонтов и скользнул к ним уж совсем развязно.

Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ее друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крепко пожал руку Мамонтову, пододвинул ему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусский чиновник, тоже забавлялся тем, что говорил на берлинском простонародном наречии:

— Jott, reseviert‍e Plätze det jibt's ja heute nich, — сказал он о чем-то Софье Яковлевне. Николай Сергеевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову, с обычным почтением иностранцев к французскому языку.

— Все-таки человек должен есть и пить. Нет, здесь право очень мило, — тоже по-французски весело сказал он. — Элла находит, что дурной тон и похоже на Бедлам, а по-моему просто богема. Пусть молодежь веселится как умеет... Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите пример с Эллы. Ни шампанского, ни портвейна, ни икры?

— Какие волшебные слова! Я пойду с тобой! — воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу.

— N-na, bisken höflich jejen den ormen König, — сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софье Яковлевне.

— Поскучайте пока без нас, нам понадобится время, там Бог знает, что творится! — прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор! Не знаю какой, но такой, какого у нас еще никогда не было», — радостно подумал Мамонтов. «Кажется, у меня заплетается язык!»

— Вы Клеопатра?

— Нет, еще глупее: я Семирамида... Мне хотелось послушать Патти и принц очень просил...

— Платье изумительное и идет к вам необыкновенно, — сказал он, шаря у себя в мозгу, в поисках каких-либо сведений о Семирамиде: «От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору», — подумал Николай Сргевич. «Кажется, была такая ассирийская царица и с кем-то воевала. Очень хорошо воевала. Это мне ни к чему... И еще, кажется, там была какая-то голубица? Голубица тоже ни к чему... Постой, дурак!» — радостно сказал он себе, — ведь у покойной Семирамиды покончил с собой муж? Вот это «к чему»! Хотя почему? Почему — к чему. Я пьян? Если и пьян, то не только от вина, но и «от страсти» — подумал он и в ту же секунду начал трезветь. — Я ожидал, что здесь сегодня будет «весь Берлин», — сказал Мамонтов.

— Нет, императора Вильгельма здесь нет.

— Благо его подстрелили.

— J'aime le «благо». А вы как сюда попали?

— Церемониймейстер вашего принца пригласил всех иностранных журналистов... Я, впрочем, знал, что вы здесь будете.

— Я вам сказала? — спросила она, чуть подняв брови. — Все-таки я не думала, что здесь будет, как она говорит, Бедлам. Это мне, разумеется, все равно и даже скорее было бы занимательно, но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр, что-то уж

очень плохой для Германии... Мы собираемся уехать после Патти. Впрочем, Элла веселится как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и много выпили. Вы, кажется, не столуетесь в «Кайзергофе»?

— Только завтракаю. Обедаю я то у Люттера-Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так, чтобы уж очень любезно, но от начаев очень смягчились, — сказал, смеясь, Николай Сергеевич, старательно за собой следя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нет, нет, я не пьян, но это очень приятно, когда развязывается язык».. — Хабеля облюбовала прусская аристократия. К абендброту туда приходит сам Мольтке, есть Кальбснирен-братен мит пфлаумен и пьет Мозельское вино с земляникой («ни к чему это»). А вот вчера я попытал счастье в ресторане Золотой Колбасы. Вы не слышали? Этот ресторатор каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок «Эрбсвурст гарнирт», ваше счастье. У него каждый вечер сотни немцев с надеждой осторожно жуют свою порцию. Гениально, неправда-ли?— спросил Мамонтов, смеясь веселее, чем требовал рассказ. Софья Яковлевна улыбнулась, с некоторым удивлением на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чем нужно», — подумала она. — Однако, я вам даю какое-то гастрономическое интервью («еще глупее»)... Вы очень много выезжаете?

— Выезжаю? Напротив, очень мало. Иногда бываю в опере.

— Непременно пойдите на «Militaria». Это прелесть. Изображается вступление немецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон... Забыл какой фон... Курт покоряет сердце юной дочери эльзасского мэра, в глубине души, конечно, желающего победы немцам. Но французские изверги узнают о тайных симпатиях мэра и уже ведут несчастного на расстрел. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сцене появляется отряд прусских егерей. Рев в зале невообразимый. Особенный восторг вызывает еврейка-балерина

Давид. Она в егерском мундире идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль! Я давно ничем так не восторгался. Все заканчивается Валгаллой немецких героев, с Фридрихом Барбароссой в качестве флангового гренадера.

— Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигде не играют так благоговейно как здесь.

— Я почему-то уверен, что Шекспиром здесь восхищаются те же самые люди, которые беснуются от восторга при освобождении эльзасского мэра. Странный народ немцы! А как здоровье Юрия Павловича? — спросил он и увидел, что его связь мыслей ей не понравилась.

— Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше. Юрий Павлович убедил меня поехать на этот маскарад. — Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. — Обыкновенно я по вечерам дома. Очень рано ложусь. Читаю... Сейчас читаю во второй раз «Анну Каренину». Перечла все, кроме того, что о сельском хозяйстве: оно меня не интересует, да и сам Левин менее интересен, чем остальные. Я многому научилась в этой книге. «Вот что мы используем!» — подумал Николай Сергеевич, — «тут-то и распустить перышки». — По моему, она значительно лучше «Войны и Мира».

— О, не говорите этого! — сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал, что и «о!», и горячая интонация были полезны. — Разумеется, это тот же великий талант. Но ему, повидимому, стало скучно. Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабления у художника интереса к своему творчеству, — пояснил он, уже не совсем зная, имеет ли он в виду Толстого или себя. — Жег море и не зажег, потерял не только надежду, но и желание зажечь. Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее

приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай, опишу хоть Туровцына. Некуда деваться Левину и не о чем ему высказываться, — дай, пошлю его на какие-то дворянские выборы в какую-то Кашинскую губернию. Половина романа состоит из гениальных пустяков. А уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсем запутался бы в своих «отмщениях». Помните, «мне отмщение и аз воздам», — сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна заметила его движенье, оно ее позабавило. — Очевидно, измена Анны старику-мужу кажется графу Толстому последним пределом преступления и позора! Согласитесь, что это очень наивно. Вы не находите?

— Нет, я не нахожу. Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, которого вы не любите? Государь сам мне это рассказывал. Он каким-то образом еще в корректуре прочел что-то Толстого, да, «Севастопольские рассказы», и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом Кургане, и велел тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом Кургане граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает.

— Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю?

— Уж я не знаю, как, но, поверьте, что если я это слышала от государя, то это правда.

— Отдаю должное. За это царю можно многое простить.

— Как вы добры.

По готической гостиной теперь движение шло только в одну сторону к концертному залу; туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившие и старавшиеся подтянуться перед концертом. Оркестр перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они всем надоели.

— Я, кстати, замечаю, что вы при каждом разговоре со мной стараетесь меня обратить в монархическую веру или, точнее, в веру в Александра II, — сказал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измене Анны мужу. — Скажу вам прямо: это бесполезно. — Николай Сергеевич становился все тверже в выражении своих революционных взглядов, по мере того, как они в нем слабели.

— А если бы и так? Мне в самом деле жаль, что ваши блестящие способности, быть может, пойдут на службу дурному делу. Да и нигде никакой пользы от революции никогда не было... Вот я на-днях взяла в читальне «Кайзергофа» книгу... Я всегда читаю наудачу, поэтому и вышла невежественная... — Оказалось, воспоминания Мунго-Парка! — «Кто такой Мунго Парк? Кажется, какой-то путешественник?... Но она нарочно ведет т а к о й разговор!» — подумал Николай Сергеевич. — Я надеялась, что засну от скуки, оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волненья. Он описывает, как рабовладельцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладельцы были даже не злые люди. А сам Мунго Парк был просто добрый человек. Между тем рассказывает он об этом, как о самом почтенном деле. Это просто нельзя читать: стыдно и страшно за человека.

— Так только говорится. «Страшно за человека», «ум человеческий этого не приемлет», «человеческая совесть с этим не мирится». Все они приемлют и со всем они мирятся, и никому ни за кого не страшно.

Софья Яковлевна на него посмотрела, опять чуть приподняв брови.

— Да? Однако, все это понемногу исчезает. То, что описывает Мунго Парк, было еще недавно, но этого уже нет и никогда больше не будет. Я и хочу сказать: как ни как, мир и без революций идет вперед.

— Именно как ни как. Ему, очевидно, не к спеху.

Она засмеялась.

— Вы говорите тоном Робеспьера. Я вижу, что заграницей вы жили в дурной среде.

— Я не очень поддаюсь влиянию среды, — сказал он сердито. — «Вероятно, она хорошей средой считает своего немца и его зверинец!» И только он опять подумал о путях к *настоящему* разговору, как, к его изумлению, этот разговор начала она. Для нее это было столь же неожиданно: еще за минуту до того она в мыслях не имела говорить с ним об его интимных делах.

— Отчего вы не возвращаетесь в Петербург?

— Ведь я два раза туда наезжал, но ненадолго, по журнальным делам. Осенью, должно быть, вернусь совсем.

— Вот как... А вы теперь один? — спросила она. Хотя она улыбнулась так же равнодушно-благожелательно, ему показалось, будто что-то враждебное скользнуло в ея глазах.

— Один.

— Да что вы со мной в прятки играете? Ведь я знаю о вашем романе. Где же ваша артистка?

— Моя артистка? — повторил он с восторгом. — Моя артистка на море.

— Одна?

— С ней один артист, большой ее друг. Кажется, он ее родственник, — сказал Николай Сергеевич. Ему самому было бы трудно объяснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. — Она стала полнеть, а в их деле это не полагается. Я и послал ее на море. — Он почувствовал, что «послал» прозвучало как «сплавил», что Софья Яковлевна именно так это приняла и что он уже предал Катю.

— Брат говорил мне, что вы страстно влюблены в нее?

— «Страстно»? Может быть... Уж если говорить такие слова. Но умный человек был пророк Мормон.

— Какой пророк Мормон?

— Это, кажется, пророк секты многоженцев, — сказал он. Его слова показались ей странными и неостроумными. «Все в нем неестественно, и особенно это желание всегда говорить «блестяще». Почему он не может быть простым?.. Это глупо «купеческий сын», но в нем действительно что-то такое есть»... Она вспомнила, что, после их новой встречи в Берлине, Юрий Павлович сказал ей, улыбаясь не совсем естественно: «Все-таки тебе, быть может, будет приятно с ним встречаться при отсутствии интересных знакомств. На безлюдьи и Фома дворянин».

— Отчего же не говорить «такие слова»? Нет ничего хорошего в придирчивости к словам.

— Я знаю, что нет ничего хорошего, — сказал он и вспыхнул, точно угадав ея мысли. — Во мне и вообще нет ничего хорошего. Или, если хотите, есть одно: я умею лгать, но не люблю, терпеть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду... Никакого циника я не изображаю, и мне было бы вообще поздновато забавляться какой бы то ни было ролью: я не юноша. Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись, — все больше раздражаясь, говорил он. — Впрочем, сомневаюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По моему...

— Я никогда ничего такого не говорила, и не понимаю, почему вы сердитесь... Брат говорил мне, что у нее был какой-то друг или покровитель, тоже акробат? Впрочем, оставим это, извините меня.

— Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось... Этот акробат погиб вскоре после нашего приезда в Соединенные Штаты. Он был замечательный человек, человек тройного сальтомортале... Нет, это было бы долго объяснять, я так определяю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был специалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америке он три раза проделал фокус удач-

но, а в четвертый раз — разбился на смерть, на ее и моих глазах.

Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Нью-Иорке, крик Кати, выделившийся из протяжного нароставшего крика многотысячной толпы, то, что последовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарский запах. И навсегда в его память, вместе с этим запахом, врезалось то страшное отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наедине с собой старался отрицать. «Как не было? Конечно, была радость»... Софья Яковлевна с любопытством на него смотрела.

— И после этого вы заняли место акробата?

— Нет, — уж совсем грубым тоном ответил он. — Акробат этого места не занимал, он был просто ее другом. — Я был первым человеком, которого она полюбила. — Мамонтов хотел сказать, что сошелся с Катей через неделю после смерти Карло, но не сказал. «По ее понятиям, это, разумеется, цинично. И со стороны это действительно так. Катя и цинизм!»

— Вот как... Но что же это Элла? — спросила она. Ему показалось, что она краснеет. Он не сводил с нее глаз.

— Ведь вы им сказали, что не хотите шампанского. Принести вам?

— Нет, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал... Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здесь?

Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость. «Что это со мной? С ума сошла, старая дура!»

— Как изменились нравы! — сказала она. — Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Париже и Лондоне, когда Малибран или Рубини или Мошелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лестнице: им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это переделали мы, рус-

ские. У нас этого никогда не было, даже при Николае. То же самое и с так называемыми цветными людьми. Я думаю, в Лондоне нашего милого хозяина все-таки не считают настоящим человеком... Да вот пример. Можете ли вы себе представить, что в какой-либо западной стране король приблизил к себе негра, что сын этого негра породнился со знатью страны, а его правнук оказался ея величайшим человеком. А ведь это подлинная история Пушкина, — говорила она, меньше всего на свете интересуясь сейчас историей Пушкина или цветными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, что надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту.

— Послушайте, — сказал он, наклонившись вперед в кресле и глядя на нее блестящими глазами. — У нас сегодня вышел с вами странный разговор... Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынешним днем? Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли... Одним словом, простите, если я что не так говорю. Вот я старался говорить умно, и, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может выйдет умнее? Вам не приходило в голову, что можно жить т а к, просто, ни над чем не задумываясь: так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет!.. Одним словом, без Мунго-Парков! И вдруг будет хорошо, будет чудно? — сказал он. Язык у него заплетался. В концертном зале раздались рукоплесканья. Еще несколько ландскнехтов на цыпочках пробежали через гостиную. — Патти! — с бешенством сказал он.

— Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль! Я люблю смотреть, как она ходит. Это целое искусство. Точно плывет богиня! Жаль, что отсюда ея не видно, но мы потом подойдем к ней. Верно она в этом ожерелье Марии-Антуанетты? Ей нью-иоркские дамы поднесли ожерелье, принадлежавшее Марии-Антуанетте. Впрочем, у нью-иоркских ювелиров, верно, все ожерелья принадлежали Марии-Антуанетте, если они не

принадлежали Марии Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств «старой дуры». Рукоплесканья в концертной зале все росли, стали слабеть и оборвались. Как всегда, кто-то еще отдельно раза два хлопнул, послышалось негодующе «ш-ш-ш-!» и рояль заиграл «Серенаду» Шуберта.

— «Lei-se fle-hen mei-ne Lie-der durch die Nacht zu dir»,— раздалась первая фраза, Патти выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на мало знакомом языке. Николай Сергеевич вначале не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю! Знаю, что это будет особенно гадко: ведь Катю так легко обманывать, знаю, но обману!.. Ах, как пошло я говорил, особенно вначале!» — Он с ужасом вспомнил о «Мормоне». — Но, может, и она немного ошалела от своего костюма, от Семирамиды, от всего этого дома умалишенных... И разве я не вижу, что она в меня не влюблена... Ну и что же? Пусть «голос благоразумия» и несет свой вздор!» Он не сознавал, что уже с полминуты с л ы ш и т музыку. «Теперь все кончено, все!»...

III.

Музыка доносилась через отворенные окна в каморку верхнего этажа, в которой лежал больной старик, сопровождавший принца в его путешествиях. Европейцы, путавшиеся в восточных вероучениях, называли его то «великим факиром», то «иогом», то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесятилетний, худой как щепка факир почти никогда не выходил из дому, питался овощами, спал на голых досках. В тех редких случаях, когда они останавливались в гостиницах, он не впускал к себе в комнату никого из прислуги. В Париже лакеи смотрели на него испуганно и слова «maboul», «piqué», «marteau» произносили с теми смешанными чувствами страха, лю-

бопытства и насмешки, какие у здоровых людей вызывают сумасшествие, а у сумасшедших — здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смысле жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей собственно его сочинением: великий факир не отделял своих мыслей от трудов учителей и законодателей: важно было не новое, а мудрое. Задачей своей он ставил определение чистого в мире греха и зла. Ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящийся во время работы, самка, кормящая детеныша, собака, защищающая хозяина.

Факиру с утра было известно, что вечером весь дом заполнят нечистые твари, что оне будут плясать, пить вино и выть. Под вечер он наглухо затворил двери. Но человек его касты, утром принесший ему на весь день тарелку овощей, нечаянно разбил стекло в окне, и в каморке было слышно все, что происходило внизу.

В этот день великий факир уже без всякого страха думал о близком конце своей земной жизни. Он накануне заснул незадолго до зари. Ему приснилось, что он умрет здесь, на нечистой земле, что он уже умирает. Великий факир проснулся, трясясь. Он не прикоснулся к еде и под вечер был очень слаб. Лежа на досках, трясясь в лихорадке, он все читал свою рукопись. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Когда стемнело, он понял, что не страшно умереть и на нечистой земле: значит, и это было нужно.

Было уже совсем темно, когда в окно стали доноситься гул и визг. В этот вечер и нечистые твари были ему менее противны, чем обычно. Гул все рос и вдруг оборвался. Настала совершенная тишина, — точно нечистые твари опомнились и раскаялись. Затем послышалась музыка.

Великий факир у себя на родине иногда останавливался, слушая флейту, и этим навлекал на себя гнев отшельников. Теперь внизу выла нечистая тварь. Че-

рез минуту у факира раскрылся беззубый рот. Он хотел было приподняться на досках, но не мог и только повернулся к окну левым ухом, которым слышал лучше. Так он пролежал минуты две. Вдруг ему пришло в голову: что если и э т о чисто? Мысль была странная, неправдоподобная. Но уже не оставалось времени ее обдумать.

IV.

Люди из лечебницы на носилках несли Дюммлера вверх по лестнице вокзала. Он лежал почти неподвижно и, едва поворачивая голову, робко озирался по сторонам, стыдясь своей болезни и бессилия. Софья Яковлевна шла рядом с носилками, стараясь держать зонтик над головой мужа. Шел дождь. Она испытывала такое чувство, будто на них свалилось что-то позорное. По лестнице торопливо спускались к извозчикам люди; несмотря на спешку, они на мгновенье останавливались и испуганно смотрели на больного. Наверху под навесом толпа расступилась. «Господи, хоть бы скорее оказаться в вагоне!» — подумала Софья Яковлевна. У нее на глазах показались слезы. Она отстала на шаг, чтобы муж ее не видел, наклонила зонтик, ветер рвал его из рук. «Эта погода точно на зло! Всю неделю были солнечные дни!» Горничная взволнованно бежала за носилками, с какой-то коробкой, которую нельзя было доверить носильщикам. Дюммлеры по обычаю ездили заграницу со слугами, хотя тем было нечего делать и в дороге, и в гостиницах.

В конце июля профессор сказал Софье Яковлевне, что в состоянии ея мужа произошло некоторое улучшение, хотя пока незначительное, и посоветовал увезти больного в Петербург. Это было совершенно неожиданное предложение.

— Конечно, ваш климат не очень хорош, — бодрым и убедительным тоном говорил профессор, — но ведь и в Берлине август томительно душен. Я тоже

скоро уезжаю. Между тем в пользу Петербурга: привычка именно к русскому климату, привычные условия жизни, близость сына, родные, друзья. Одним словом, я никак теперь не возражал бы против вашего возвращения на родину.

В первую минуту этот совет очень обрадовал Софью Яковлевну: ничто не могло ей быть приятнее чем возвращение в Петербург. Но после того, как профес-
может быть, он просто хочет теперь от них избавиться,
как иные адвокаты стараются освободиться от заведо-
сор ушел, ей пришли в голову очень тревожные мысли:
мо безнадежных дел. «Если дело в городской духоте, почему он советует ехать в Петербург? Он мог бы нас отправить куда-нибудь в Шварцвальд или в Швейцарию?.. Нет, это странно, надо с ним поговорить по настоящему». Сама она не находила никакого улучшения в состоянии мужа. Боли у него продолжались и иногда бывали чрезвычайно сильны; он плохо спал, почти ничего не ел. Ассистенты профессора, обходившие пациентов лечебницы по два раза в день, объясняли это июльской жарой, но вид у них бывал смущенный и говорили они довольно уклончиво.

На следующий же день Софья Яковлевна обратилась к профессору за объяснениями и настойчиво просила сообщить ей всю правду. Профессор внимательно ее выслушал и слегка развел руками.

— Я от вас не скрывал и не скрываю, что болезнь серьезна, — сказал он видимо неохотно. — При всех наших стараньях, мы настоящего диагноза поставить не можем. Скорее всего это камни в желчном пузыре, но возможны разные предположения... Я не знаю точно, чем болен ваш муж, — решительно заявил профессор. Он был так знаменит, что мог себе позволить столь необычное для врача замечание. — И если вам другой врач скажет, что он это знает, я только выражу ему восхищенье. Мы не боги, и медицина, к несчастью, не всесильна. Вы сами видели, что в последние две недели лечение сводилось к диэте и к успокоительным сред-

ствам. Это вы можете иметь где угодно!.. Однако, я нисколько не считаю положение безнадежным, — тотчас прибавил он, впервые, хотя бы и в такой полуотрицательной форме, употребляя страшное слово.— Организм сопротивляется очень упорно. Я надеюсь, что ваш муж выздоровеет.

Мужу Софья Яковлевна сообщила о совете профессора чрезвычайно радостно. Юрий Павлович тоже обрадовался, несмотря на свою веру в немецкую медицину и некоторое недоверие к русской. В последнее время ему чаще казалось, что это берлинская лечебница, с ея узким двором-колодцем, — последнее здание, которое ему суждено видеть в жизни.

— Я страшно рад, Софи... Когда же мы поедем?

— Я думаю, в середине августа, числа пятнадцатого? Дом только что перекрасили, боюсь, еще остался запах краски. Я напишу Мише... Но слава Богу! Я так счастлива! Он прямо сказал, что находит значительное улучшение.

Софья Яковлевна, никогда ни с кем не советовавшаяся в житейских делах, написала брату и спросила его мнение. Через три дня от Чернякова пришла телеграмма. Он советовал вернуться, в несколько более радостном тоне, чем следовало. Впрочем, телеграмма была составлена Михаилом Яковлевичем так, чтобы ее можно было показать больному. Юрий Павлович ничего не сказал, хотя видимо был доволен.

Тотчас начались хлопоты. Помогала Элла, очень огорченная отъездом Дюммлеров. Добрые знакомые, давно не дававшие о себе знать, теперь предлагали помощь, советами, услугами, заботами; лишь немногие ничего не делали, ссылаясь на то, что Дюммлерам теперь верно не до знаков внимания. Впрочем, Софья Яковлевна не беспокоила добрых знакомых и удивлялась тому, как люди любят оказывать не стоящие денег услуги. В работе, в хлопотах она находила облегчение; энергии у нея всегда было больше, чем нужно. Кто-то посоветовал ей пригласить врача для сопровождения

их в Петербург. Софья Яковлевна сначала было с этим согласилась, тем более, что ей было приятно тратить деньги на больного. Но это напугало бы Юрия Павловича. Профессор заверил ее, что ни малейшей опасностью поездка больному не грозит.

Элла достала им особое отделение в вагоне. В лечебнице обещали изготовить диэтетическую еду на двое суток, все лекарства были приготовлены, все указания на дорогу получены. В последний день Софья Яковлевна еще ездила по Берлину за подарками для Коли: купила собрание сочинений Гете и ящик с красками: «Вот жаль, что нет Николая Сергеевича. Это можно было бы ему поручить», — накануне сказала она мужу, чуть презрительно улыбаясь. — «Как какого Николая Сергеевича? Мамонтова, которого ты почему-то не взлюбил. Ведь он художник и должен все это знать, а я красок отроду не покупала. Между тем, он уже давно уехал на море». — «Обойдется и без него. Ты узнай у Эллы или хотя бы у швейцара в «Кайзергофе», — ответил Юрий Павлович. «Зачем я сказала «уже давно?» — спросила себя Софья Яковлевна. Мамонтов снова уехал в Герингсдорф, должен был вернуться 12-го и не вернулся.

15-го, в день отъезда, Софья Яковлевна встала раньше обычного, но дела было уже не так много. Уплата по счетам в гостинице и в лечебнице, прощанье с врачами и сиделками, раздача начаев заняли мало времени. С Эллой Софья Яковлевна простилась накануне, взяв с нея слово, что она на вокзал не приедет. Все шло по расписанию, в порядке, как всегда у Дюммлеров. Быстрый, правильный ход приготовлений к отъезду привел ее в бодрое настроение. Но когда в дверях комнаты Юрия Павловича появились рослые люди с носилками, у Софьи Яковлевны на лице выступили красные пятна. Так она никогда в жизни не путешествовала.

Отделение в вагоне оказалось удобным, постель для больного была приготовлена, окна отворены и завешены. Носильщики уложили Дюммлера, получили на-

чай и удалились с пожеланиями здоровья и счастливого пути. Горничная ушла в свой вагон. Софья Яковлевна вздохнула, наконец, свободней. Юрий Павлович был совершенно измучен. Он слабо тронул жену за рукав, поднес ея руку к губам и поцеловал.

— Ну, слава Богу... Теперь три дня будем спокойны... И вместе, Софи, — прошептал он. — Воображаю, как ты, бедная, устала!

— Ты хочешь сказать, что я стала рожей? Верю тебе, — ответила она и, чуть наклонившись, взглянула в зеркальце. Вид у нее, действительно, был плохой. Она вздохнула.

— Напротив...

— Я видела, на перроне продаются газеты. Буду в дороге тебе читать... Нет, не беспокойся, время есть, до отхода поезда еще четверть часа, — сказала Софья Яковлевна и вышла.

Вероятно, из-за дурной погоды провожавших было мало; уезжавшие заняли места в поезде задолго до его отхода. Софья Яковлевна заметила место своего вагона, — как раз против киоска, — закурила папиросу, хоть дамам курить вне дома считалось совершенно неприличным, и пошла по перрону к краю вокзала. Дождь только что кончился. «Именно теперь, когда может идти сколько ему угодно! Всегда и во всем невезенье!... Неужели больше ничего счастливого в жизни не будет?»

Она постояла у локомотива, рассеянно глядя на медленно приближавшийся к вокзалу товарный поезд, бросила папиросу и пошла назад, думая то о предстоящем путешествии, — кажется, ничего не забыто? — то о Коле, — так ли он обрадуется? — то об их будущей жизни в Петербурге. «Да, будет та незаметная, никого не трогающая, каторга, которая всегда выпадает на долю жен при тяжело больных мужьях». Тоска ея росла с каждой секундой, как будто смерть была тут, перед ней. Она чувствовала, что ей сейчас, сию минуту, нужно общество, нужен человек. «Бывают ми-

нуты, когда одиночества не может вынести никто», — подумала она и вдруг в конце перрона увидела Мамонтова. Сердце у нее остановилось. Он быстро, странно быстро, шел ей навстречу с букетом в руке. Она инстинктивно ускорила шаги. Но встретились они как раз у киоска. Она сделала еще несколько шагов, уже с ним.

— ...Мне только что сказали в «Кайзергофе»... Я утром приехал, я так рад, что поспел! Но как же вы не дали знать, что уезжаете?

— Вот не ожидала, — негромко сказала она и отошла еще от их вагона. «Эти красные пятна... Даже не попудрилась»... Он говорил что-то слишком быстро и взволнованно. От него немного пахло вином.

— Я никогда не простил бы себе, если бы не простился с вами: ведь, может быть, мы расстаемся надолго... Хотя нет, едва ли. Я думаю, что осенью мы... я возвращаюсь в Петербург. Я так рад, — бессвязно говорил он. Софья Яковлевна уже совершенно овладела собой. Его тон и даже слова казались ей не совсем приличным. И уж просто неприлично было то, что он не спрашивал о здоровьи Юрия Павловича. Впрочем, мниуты через три он догадался и спросил. Говорить им было не о чем.

— Все благополучно, спасибо. Он очень оценит ваше внимание, — почти вызывающе сказала она и тотчас заговорила о другом, опасаясь его ответа. — Так вы получили ту же комнату в «Кайзергофе»? Да, теперь это гораздо легче, город опустел. Элла с мужем тоже послезавтра уезжают куда-то на море, — говорила Софья Яковлевна, улыбаясь. Он смотрел на нее с недоумением: какое ему было дело до Эллы с мужем?

Когда кондуктор закричал «Einsteigen!», Николай Сергеевич взял ее за руку. «Позвольте поцеловать, хоть через перчатку», — сказал он почти шопотом, глядя на нее снизу вверх. Ее вагон был шагах в десяти. Она поднялась по ступенькам и кивнула ему головой с приветливой улыбкой, точно для каких-то

невидимых свидетелей. Мамонтов не последовал за ней и это было тоже неприлично, — еще неприличнее, чем его беспомощно-глупые слова о перчатке и то выражение, с каким он их произнес, — как будто между ними состоялось тайное соглашение скрыть его приезд на вокзал от Юрия Павловича. Софья Яковлевна вошла в вагон. Она положила букет на стоявший в проходе чемодан, подумала, что не надо подходить к окну, и вошла в отделение. «Зачем он так много пьет?»

— Извини, я не купила газеты. Твоей любимой «Норддейтше» не было.

— И не надо... Я едва ли...

— Постой, одну минуту, — вдруг сказала она и вышла в коридор. Софья Яковлевна взяла букет и отошла к самому дальнему окну вагона. Мамонтов, с шляпой в руке, стоял все на том же месте. Он хотел было что-то сказать и не сказал ничего. Поезд отошел. Вдоль полотна замелькали дома, теперь освещенные выплывавшим из туч солнцем. «Да, «без Мунго-Парков»!.. А может быть, в самом деле все будет хорошо?.. То есть н и ч е г о не будет»... Софья Яковлевна приложила букет к лицу. — «Дивный запах!» — подумала она, — для невидимых свидѣтелей, — и бросила букет под откос.

Она вернулась в купэ.

— Ну, дай Бог, дай Бог! — взволнованно сказал Юрий Павлович, глядя на нее нежным, благодарным взглядом. — Дай Бог... Впереди Россия...

— Да, впереди Россия, — рассеянно повторила она.

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.